САИН МУРАТБЕКОВ

Дикая яблоня

Annotation

Саин Муратбеков — казахский писатель, известен как автор повестей и рассказов на современную тему. Герои его произведений — сельская интеллигенция, чабаны, школьники. В книгу «Дикая яблоня» вошли одноименная повесть и ряд рассказов. В рассказах автор обращается к нашим дням, а в повести он изображает казахский аул в годы Великой Отечественной войны. Повествование ведется от лица мальчика Каната. То светлые, то драматические истории тех суровых дней, происшедшие в ауле, узнаем мы от юного Каната.

- Дикая яблоня
  -
  - РАССКАЗЫ
    -
    - В ГОСТЯХ У СВАТА
    - НА ВЕРШИНЕ УШКАРА
    - КУСЕН-КУСЕКЕ
    - УЛТУГАН
    - НЕКИЙ
    - ДОРОГА ТУДА И ОБРАТНО
    - СТУЖА
  - ДИКАЯ ЯБЛОНЯ
    -
    - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Дикая яблоня

САИН МУРАТБЕКОВ

Дикая яблоня

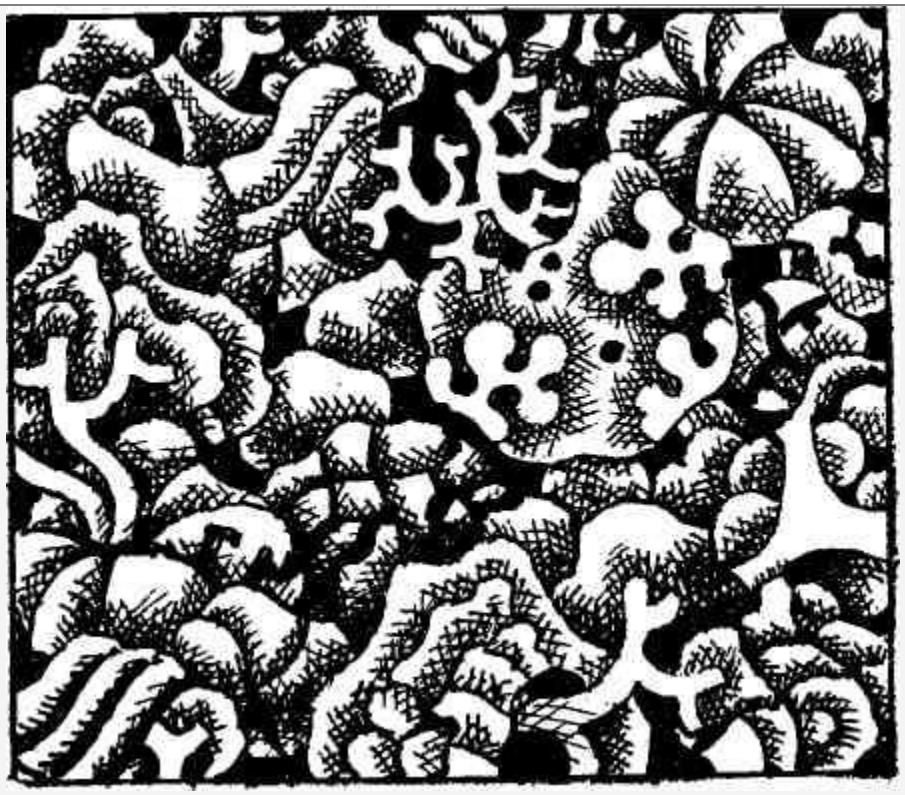
*

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТЬ

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД С КАЗАХСКОГО Г. САДОВНИКОВА

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1979

РАССКАЗЫ



В ГОСТЯХ У СВАТА

Тортай только что вернулся с ночной смены и даже не успел умыться, как пришли с почты, принесли срочный вызов на телефонные переговоры. И Тортай, как был, весь перепачканный, обсыпанный пылью, со свалявшимися в клочья и торчавшими в разные стороны волосами, придававшими ему всполошенный вид, побежал на почту. Но пробыл он там не долго, скоро вернулся, сказал матери с порога:

— Тебя сват в гости зовет. Просит приехать.

И по его голосу Катша поняла, что сын ее не в духе, не очень хороший, видимо, получился разговор.

— Ну, а невестка что? Когда думает возвращаться? — осторожно спросила Катша.

— А никогда не вернется она, — пробурчал Тортай и злой как черт направился в свою комнату.

— Ты что говоришь? — не поверила Катша. — Как это — не вернется? Почему?

— А я откуда знаю? Вот и поезжай к ней и спроси сама «почему».

Катша недоуменно покачала головой. Нет, тут что-то не так. Саукентай славный человечек.

— Ээ… а ты сам-то ничего не натворил? — спросила она с подозрением.

Тортай молча ушел в комнату и повалился на тахту, давая понять, что этот разговор ему неприятен и он не хочет его продолжать. А Катша стояла в дверях и смотрела на сына, словно на его лице был записан этот загадочный телефонный разговор, испортивший всем настроение. Сама она только что вернулась от соседки, вдоволь наговорившись и напившись чаю, и к приходу сына поправила волосы перед зеркалом, повязала новый платок. Пусть Тортай посмотрит, какая у него еще молодая мать. И вот эта повестка с почты…

Вскоре с тахты донесся мерный храп. Катша подошла к сыну, стащила с него сапоги и присела на краешек-тахты.

«Что случилось в доме свата и сватьи? — подумала Катша. — Вот и в гости зовут, в рабочие-то дни. И у невестки как будто нет своей

семьи. Уезжала к отцу и матери всего на денек, проведать и вернуться, а живет у них уже недели две. И будто бы и сейчас домой не собирается. Видно, придется поехать да разобраться самой. А то и гляди, разведутся. Теперь у молодых с этим просто. Словно бы нет никакого позора».

Она посмотрела на сына и решила: «Что-то мой баловень сказал не так. Обидел жену. Ведь он у меня известный насмешник».

Спал Тортай долго, до обеда, а проснулся бодрым, веселым, каким она его знала всегда. Он пулей слетел с тахты, разделся по пояс и, выбежав во двор, умылся холодной водой. А потом бросился к столу, разом выпил большую чашку айрана — кислого молока — и умял пол-батона хлеба. Поставив чашку на стол, Тортай широко улыбнулся и подмигнул, будто она вместе с ним что-то задумала.

— Ты что мне подмигиваешь? Будто я не мать тебе, а девчонка? — спросила Катша с нарочитой строгостью.

А у самой на сердце немного отлегло. Сын смеется, и матери легче.

Тортай опять улыбнулся и подмигнул.

— Вот я тебя скалкой! Будешь с матерью играть, — и она сделала вид, будто тянется за скалкой.

— Все, все. Больше не буду, — заверил Тортай. — Ну а ты как? Поедешь в гости к свату? — И в глазах его сверкнули озорные огоньки.

«Да что с ним? Утром был сам не свой, а теперь радуется неизвестно чему? Жена не хочет возвращаться домой, а ему веселье», — забеспокоилась Катша, а вслух сказала:

— Поеду. Что же делать.

— Поезжай, поезжай, — лукаво сказал Тортай. — Пойдем со мной на ток. Там я тебя на попутную машину устрою.

— А ну выкладывай: что случилось? Может, ты обидел кого? — не выдержала Катша.

— Я? Да разве я могу обидеть? Это фокусы твоего свата. Говорит, пока не приедет Катша, дочку не отпущу. Дело у него к тебе есть, очень важное. Вот ты с ним и поговори. Поговори, как ты умеешь. Смотри, и вернешься с невесткой, — и Тортай загадочно улыбнулся.

Да, пока она не увидит все собственными глазами, с ней так и будут говорить сплошными загадками.

— Я готова, — сказала она, вздохнув.

— Ты что? Так и собираешься ехать? — удивился сын.

— А что? Не к чужим еду, — в свою очередь удивилась Катша.

— И все же к своим сватам! Пусть увидят, какая ты нарядная. Не бедная родственница, в общем. Это очень важно, поверь мне.

Она послушалась, надела любимое платье с блестками, на голову повязала японский яркий платок и обула новые, очень неудобные, лакированные туфли.

— Ну вот теперь ты у меня самая молодая и красивая. — И этот негодник, конечно, опять не обошелся без шутки: — А если ты еще накрасишься да брови подведешь, сваты и вовсе попадают.

— Ну довольно. Попридержи язык, с чего это ты разошелся?

Возле тока в ожидании погрузки выстроилась вереница грузовых машин; в кабину одной из них Тортай и усадил свою мать.

— Влюбится в тебя какой-нибудь старикашка, вези в аул. Мы его тут пристроим сторожем на ток, — даже сейчас не унимался Тортай.

«Нервничает, вот и несет всякую чепуху», — отметила Катша и вздохнула.

— Неужели ты разучилась понимать шутки, мама? Честное слово, больше не буду. В общем, всем привет… Ну, а если невестка твоя заупрямится, не уговаривай, ладно? Как-нибудь проживем.

В кабину вернулся шофер, и Тортай захлопнул дверцу со своей стороны. Машина тронулась, переваливаясь на ухабах. Под колесами заклубилась рыжая едкая пыль. Она устилала дорогу толстым ковром, мягкая, точно пудра.

«Ишь ты, словно черти специально протирали ее на жерновах», — осуждающе подумала Катша, глядя, как поднятая пыль невесомо поднимается над степью, застилая горизонт. Заполняет собой все, набивается в ноздри, оседает на лице и руках. А было время, когда председатель колхоза Сырым, — светлая ему память, — взялся за эту проклятую дорогу. При нем и щебень завезли, и грейдер было пригнали. Да только погиб Сырым в автомобильной аварии, и о дороге словно забыли. Пошатнулись дела в колхозе, и новому председателю было уже не до нее. Думал, как бы заштопать дыры в колхозном хозяйстве. А уж дорога — бог с ней. Нового сменил второй председатель, этого — третий. И всем им было невдомек, что без хорошей дороги нельзя наладить колхоз. Теперь другие времена, большие запросы у людей. Им подавай и светлые дома из камня, и

улицы, покрытые асфальтом. И ровное шоссе, как это, на которое после тряски наконец-то выбрался грузовик.

Но здесь уже хозяйничал другой колхоз. Тот, где работал и жил ее сват Бектемир. Катша и не заметила, как машина пролетела по гладкому шоссе и въехала в аул, где проживала родня невестки. Шофер подвез Катшу прямо к дому Бектемира и помог выйти из кабины.

Первой ее увидела невестка, сидевшая во дворе, в тенечке под деревом, и с радостным криком «Апа-а!» бросилась к ней и повисла на шее. Саукентай ласкалась, словно дитя, обнимала, тыкалась губами в лоб и щеки. Она любила, она скучала. Катша поняла это сразу, и у нее отлегло на душе.

— Солнышко ты мое, солнышко… Я тоже соскучилась по тебе, а ты почему-то не приезжаешь. Что с тобой? Может, Тортай обидел? — спросила она, поглаживая волнистые, коротко стриженные волосы Саукентай.

Краем глаза заметила она, как выпукло торчит теперь живот у невестки. И осунулось круглое и прежде румяное лицо.

— Тортай? Что вы? Папа меня не пускает, — потупившись, прошептала Саукентай и покраснела.

Из дома появилась сватья Мунила и, приветливо поздоровавшись, стала расспрашивать Катшу о ее здоровье. И спрашивала она не только потому, что так положено, а сразу видно — с искренним беспокойством за нее, Катшу. С полного лица сватьи не сходила мягкая, сердечная улыбка. Потом Мунила окликнула соседского мальчишку, попросила сбегать на ток за Бектемиром. Сват, несмотря на седьмой десяток, сохранил строгую осанку, которую, видно, обрел, будучи долгое время бригадиром. Он и сейчас держался с достоинством, как и пристало не последнему в колхозе человеку, и все же, когда Бектемир обнял ее, прикоснулся щекой к щеке, Катша поняла, что и сват душевно рад ее приезду. И это окончательно сбило ее с толку. Теперь уж совсем не понять, почему сваты не отпускают дочь в свой новый дом. В их поведении не было и тени недовольства ею Катшой, и ее сыном Тортаем. «Наверное, они это устроили для того, чтобы заманить меня в гости», — решила Катша и растрогалась.

В ее честь Бектемир зарезал барашка.

— Да зачем тратиться из-за меня? — смутилась Катша.

— Катеке, ты для нас дорогой и близкий человек. Самому богу было угодно породнить нас с тобой. Так для кого же еще, как не для тебя, я должен зарезать барашка?

Бектемир сказал это с такой твердостью, что Катше стало неловко за свои слова и сомнения. Сват и раньше выказывал ей уважение, но сейчас он был особенно почтителен. Он пригласил в ее честь соседей и друзей и, открыв за дастарханом бутылку шампанского, сказал Катше:

— Мы знаем: ты не пьешь. И все же я наполню и твой бокал. Пусть жизнь у тебя будет такой же сладкой и веселой, как это вино.

И было в доме Бектемира в тот вечер большое торжество. Хозяева и гости говорили Катше всякие добрые слова, а она жалела, что не приехала раньше. Когда же застолье подошло к концу, друзья Бектемира и Мунилы, уходя и прощаясь, приглашали ее к себе. И среди них выделялась настойчивостью одна пожилая толстуха, которая, как сказали Катше, приходилась родной теткой самому председателю здешнего колхоза.

— Ничего с твоим домом и скотиной не случится, — говорила она, решительно отвергая все ссылки Катши на оставленные дома дела. — Сын твой — человек самостоятельный, присмотрит. А то что же получается? Приедешь к родне на денек, и тут же бежишь домой, как будто все остальные чужие тебе. Который раз ты в нашем ауле, а? А до сих пор ни с кем даже не познакомилась. За что нас обижаешь? Или мы что-нибудь сделали не так? Так вот завтра приходи ко мне. И никаких отговорок!

Что делать, пришлось Катше дать обещание. И по этому поводу посыпались шутки.

— И правильно ты сделала, Катеке, — сказал, смеясь, старик Шакар, двоюродный брат Бектемира. — С ней лучше сдаться сразу. Уж если она сказала, то обязательно добьется своего. Ну, а если всерьез, то она, конечно, права. Пренебрегаешь ты нами. Так что мы со старухой ждем тебя.

На другой день Катша в сопровождении сватьи Мунилы отправилась в гости к председательской тетке. А жила та на другом конце улицы, так что Катше пришлось идти через весь аул. Что и говорить, друзья Бектемира были правы, она и в самом деле не ходила дальше дома своей родни. И теперь шла и дивилась. По обе стороны

улицы стояли красивые каменные дома в два этажа. Господи, не аул, а настоящий город.

Мунила, от которой обычно и слова-то не добьешься, видя ее восхищение, вдруг оживилась и затараторила, стала расхваливать на все лады центральную усадьбу колхоза.

— Катеке, посмотри-ка на этот дом, — она указала на двухэтажный дом, украшенный ярким орнаментом. — Его построили в прошлом году. А знаешь кто там живет? — И взгляд у Мунилы почему-то стал лукавым. — Живут молодые механизаторы со своими семьями. И скоро будет готов еще один дом, точно такой, а может, и лучше. Только на другом конце аула. И тоже, говорят, для механизаторов. Как приедет новый механизатор, ему, пожалуйста, сразу квартиру. А что за квартиры, что за квартиры! Зайдешь — и выходить не хочешь. Так бы век и жила. На первом этаже гостиная, а наверху спальные комнаты. И не надо с печью возиться, воду таскать. Богатый у нас, Катеке, колхоз. Ой, богатый!

— А этот дом! Ты подумай, целых три этажа! Не иначе как школа! — продолжала восторгаться Катша.

— Школа, десятилетняя школа. И тоже недавно построена, — подхватила Мунила. — Старую с ней не сравнишь. Вон она, за домами… А вон детский сад… А там магазин… Это контора… А дальше тоже магазин, только книжный…

Такие поселки Катша видела по телевизору у соседей. Но то было по телевизору, а теперь она сама шла по такому поселку.

В доме у председательской тетки уже был накрыт стол, и вокруг него сидели люди, незнакомые Катше. Когда она вошла в комнату, гости умолкли и потеснились, уступая почетное место, самое дальнее от дверей. Катша смутилась, попыталась присесть тут же у ближнего края стола, но люди все же настояли на своем.

— Мы здесь все свои и специально пришли, чтобы познакомиться с вами. Значит, вы наш почетный гость, и это место ваше, — пояснил один из присутствующих.

Гости председательской тетки в основном были людьми пожилыми, солидными по виду, и Катше пришлось покориться. «Чем уж я так их заинтересовала, если они и вправду собрались только из-за меня?» — удивилась Катша, усаживаясь во главе дастархана, рядом с высокой худой старухой.

Как оказалось, это была младшая сестра хозяйки и мать председателя колхоза. И в каждую свою фразу, часто без надобности, она вставляла русское слово «подумаешь». Вот и сейчас женщина весело крикнула в сторону кухни:

— Эй, хозяйка! Что же наша гостья, подумаешь, так и будет сидеть? А ну-ка подавай чай на стол!

— Сейчас, несу! — откликнулась старшая сестра.

Вскоре на столе появился излучающий жар, сверкающий, как медное солнце, огромный самовар. За ним принесли кумыс в большой глубокой чашке.

Сегодняшнее застолье было богаче и веселее вчерашнего. Кумыс сделал свое дело — за столом стало шумно. А одна маленькая старушка, слегка захмелев, предложила спеть.

— Пусть дорогая Катша послушает, как поют в нашем ауле, — сказала она.

— Верно, пусть послушает, — поддержала мать председателя и затянула старинную грустную песню о том, как быстротечна человеческая жизнь.

Голос у нее был молодой, высокий, мягкий. Видно, в молодые годы мать председателя была заводилой на вечеринках и свадьбах. В ее темных глазах и теперь поблескивал озорной огонек, а движения были быстры и легки. Да и по одежде было заметно, что женщина не хочет поддаваться возрасту. «Ну и чертовка», — с невольной завистью подумала Катша.

Певунья, доведя последний куплет до конца, пригубила чашку с чаем и завела новую песню. А потом и третью. И Катша догадалась, что у матери председателя по этой части здесь нет достойных соперниц. Гости только слушали да похваливали ее между песнями.

— Ну, подумаешь, с меня хватит. Пусть продолжит кто-нибудь другой, — сказала мать председателя, прервав песню на половине. — Иначе гостья решит, будто, кроме меня, у нас никто не поет.

И тогда две пожилые женщины, сидевшие в углу, не ожидая приглашения, затянули протяжными голосами:

Эх, милый мой,
Где мне крылья взять, чтоб поспеть за тобой…

— Наконец-то подружки дождались своего часа. Теперь их никак не остановишь, — пояснила хозяйка Катше под добродушный смех присутствующих.

Подружки оборвали свою песню, засмеялись вместе со всеми.

Катша, улыбаясь, смотрела на веселящихся гостей, ловила на себе ревнивый, обеспокоенный взгляд сватьи Мунилы, как бы спрашивающий ее: «Ну как, нравится тебе в нашем ауле?» — «Не волнуйся, мне очень нравится», — так же взглядом успокаивала она добрую Мунилу, и вдруг к сердцу Катши прихлынула какая-то непонятная печаль. То ли это была зависть оттого, что сама она уже давно не радовалась, как эти люди. То ли сожаление о том, что нет за столом кого-то ей очень дорогого.

Она почувствовала себя зрительницей, которая смотрит со стороны кино из чужой, счастливой жизни. «Скорее бы уйти», — подумала Катша…

Когда они, расставшись с остальными гостями, оказались одни на улице, сватья Мунила предложила зайти на ток.

— Он отсюда недалеко. Давайте-ка заглянем к Бектемиру.

Катша согласилась, подумав: «Надо было самой поинтересоваться, какой у них колхоз, как здесь люди работают. А то уже гуляю два дня. Даже стыдно».

Ток поразил ее своей чистотой — на земле ни сориночки. Бектемир с метлой в руках ходил вокруг кучи зерна, подравнивал края. Заметив приближающихся женщин, сват обрадовался, закричал Муниле:

— Вот и хорошо, что ты ее привела! Здесь есть что показать. Проходите, дорогая сватья, посмотрите, где мы работаем… Механизмы самые новые. Тортай таких и не видел.

Сват бросил метлу, взял Катшу под руку и стал водить по току, показывая хозяйство, словно она была уполномоченной из района, и он отчитывался перед ней.

— У нас всё машины делают. Мы уж и забыли, как лопатой махать, — хвастался Бектемир.

Из-за угла на улицу вывернул зеленый «уазик», покатил в сторону тока.

— Это председатель наш! — воскликнул Бектемир и засуетился. — Лучше бы вам не показываться ему на глаза. Горячий он

человек, очень не любит, если кто-то без дела во время работы ходит. Как увидит — сразу кричать. Ну-ка идите сюда, спрячьтесь, пока он не уедет.

Сват открыл двери сарайчика с разными инструментами, впустил туда женщин и запер их снаружи.

Шум мотора приближался к сараю, совсем близко, шагах в трех от дверей заскрипели тормоза.

— Ассаламагалейкум! — громко произнес сват, но на приветствие не ответили.

Вместо этого раздался чей-то грозный голос:

— У ворот в кювете зерно? Почему до сих пор не собрали?

— Зерно? В кювете? — поразился Бектемир. — Ах, сукин сын! Никак рассыпал автобазовский шофер. Он тут недавно приезжал. Ах, черт, ах, ротозей!

— Я с ним разберусь, а вы соберите зерно и перевейте.

— А много ль его там? — усомнился Бектемир.

Катша подумала: «Наверное, несколько зерен». Она ничего не заметила, когда входили на ток.

— Да хоть одно зерно! — еще сильней рассердился невидимый председатель. — Ну что стоите? Я же сказал: соберите немедленно!

— Сейчас, сейчас соберу. Все, до единого зернышка, — торопливо заверил сват.

Звякнуло ведро, шаги Бектемира удалялись к воротам. Потом снова взревел мотор, машина медленно развернулась вокруг сарая и поехала к воротам. Когда ее шум затих, Мунила подняла прутиком щеколду, и женщины вышли из своего убежища.

Бектемир, уже вернувшись, сидел на корточках над ведром и пересыпал из ладони в ладонь зерно, смешанное с пылью.

— Ну и злой у вас председатель! — сказала Катша, невольно поеживаясь.

— Бог с вами, он еще никому не сделал зла, — возразил сват, поднимаясь. — А что кричит, так это для пользы старается. За колхоз болеет. Мы ведь там одно зерно подберем, там другому упасть не дадим. И, глядишь, немалый урожай собрали.

Вечером напомнил о своем приглашении старик Шакар, двоюродный брат Бектемира, и снова пришлось идти, родня родни как-

никак. Шакар в честь Катши зарезал индюка и, пока мясо варилось, повел с гостьей беседу.

— Вы уж не обижайтесь, что так скромно угощаю. Бог даст, переедете в наш аул, и тогда уж по такому случаю я не пожалею и трех баранов, — сказал старик Шакар, хитро улыбаясь.

«Какой переезд? О чем он? Никак что-то путает Шакар, стар уже, видно, стал», — подумала Катша.

— Говорят, вам показали весь аул? — спросил Шакар, но не просто так, а с каким-то скрытым значением.

— Ну не весь. Аул у вас большой.

— Очень большой. Как город, — уточнил Шакар. — А дома? Понравились наши двухэтажные дома?

— Хорошие дома. Удобные.

— Вот-вот, вы правильно сказали: очень удобные. В таких домах счастливая жизнь. Всем, кто переезжает в наш аул, дают там квартиры. Ну, может, не сразу. Кому через три месяца, а кому даже через один. А Тортай и вовсе человек, нужный колхозу. Представьте, вам уже никогда не придется печь топить и воду носить издалека. В этих домах есть такие удобства, о каких мы еще не знаем. А люди у нас? Вам понравились наши люди? Веселый народ!

Несдержан был на язык старик Шакар, выдал он, может быть, раньше срока затею брата своего Бектемира. Теперь Катша поняла, зачем ее заманили сват и сватья. Почему так настойчиво расхваливают свой аул. Но Катша ничем не выдала себя, решила пока промолчать. Дождаться, что скажет сам сват Бектемир.

Вернувшись к сватам, Катша сообщила родне, что утром уезжает домой.

— Солнышко мое, — сказала она невестке, — и ты собирайся. Поедешь вместе со мной.

Невестка промолчала, только растерянно посмотрела на отца и мать.

— Катеке, никуда не денется твоя Саукентай, вернется она к вам, — сказал сват Бектемир. — Я о другом хотел с вами поговорить. Обсудить одно дело, важное и для нас всех. Признаться, для того и в гости зазвал. И вам спасибо за то, что приехали… Мы надеялись, что вы побудете еще день-другой. Но если уж так получилось… придется сейчас сказать, хоть и время позднее, вы устали.

— Ничего, ничего, я слушаю, — сказала Катша и, хоть и знала, о чем будет речь, все равно насторожилась.

— Дорогая сватья, — начал Бектемир, подбирая подходящие слова, — нас, конечно, интересует, как идут дела в вашем колхозе. Все-таки там не чужие нам люди живут… Так вот и дочь наша Саукентай, да и другие люди говорят… да и сам я не слепой, бывал у вас, видел… В общем, трудно молодой семье в вашем ауле. Да к тому же скоро маленький родится у них. Жизнь сейчас, слава богу, хорошая, и даже обидно, что есть такие колхозы, как ваш, где молодой человек не может обеспечить свою семью. Ведь у вас даже телевизора нет. Ходите смотреть к соседям. И разве вы одни такие в ауле? Ну если бы еще Тортай лентяем был, а то ведь…

— Сват! — перебила его Катша. — Не надо. Не оскорбляйте наш аул!

— Катеке! Да разве я оскорбляю? — возразил Бектемир. — У меня и в мыслях такого нет. Я говорю, что есть. И зря вы обижаетесь на мои слова. Колхоз у вас и вправду плохой. И с каждым годом становится все хуже и хуже. Э, да вы это знаете лучше меня.

Катша смущенно помалкивала, теребила в растерянности край платка. Да и что она могла сказать, если это было чистейшей правдой. Горькие, но верные слова говорил сват Бектемир.

— К чему же ты клонишь, сват? — спросила она наконец.

— А к тому, чтобы вы переехали к нам. Вернетесь домой, поговорите с сыном. Объясните ему, меня он не хочет слушать. Скажите, так и так. И у нас ему найдется работа по душе. Не обидим. Вы были у нас на току, видели новую технику. Вот переедет Тортай, и возьмут его на ток механиком. И заработок приличный, и квартира. Чего же еще?.. Подумайте! Об этом я и хотел сказать, дорогая сватья… А Саукентай, ей, как видите, уже трудновато ходить. Так зачем же дочке ездить туда-сюда, из аула в аул?

— Вы хотите сказать: она со мной не поедет? Вы не отпустите ее? — переспросила Катша; ей все-таки не верилось, чтобы сват ее всерьез решился на такой поступок.

— Я же говорил: никуда от вас не денется Саукентай. Просто она вас здесь подождет, — ухмыльнулся Бектемир.

Катша взглянула на Саукентай, все еще надеясь, что невестка все-таки взбунтуется, скажет и свое слово. Но та стояла опустив голову,

всем своим видом показывая, что безропотно подчиняется отцу. А может, и сама думает, как отец.

— Ну что ж, видно, ничего не поделаешь, — устало произнесла Катша. — Если Саукентай сама не хочет ехать, силком я ее не увезу. Ладно, приеду домой, посоветуюсь с Тортаем. А там уж посмотрим, как быть.

В эту ночь Катше не спалось, до утра ворочалась в мягкой постели. Думала о родном колхозе. О людях, живущих в ее ауле. И чаще всех ей почему-то виделся давний председатель колхоза Сырым, тот самый, что разбился в автомобиле. Такое случается только во сне, когда к тебе помимо твоего желания и воли приходят чужие, а то и вовсе незнакомые люди, и ты только гадаешь: почему именно они?

Да, с тех пор пролетело три года… Страда пришла горячая, как и в нынешнее лето. В те дни все аульчане — и стар, и млад — трудились с восхода солнца дотемна, а многие даже спать и то оставались в степи. Председатель Сырым сам ходил по дворам и отправлял на работу всех тех, кто хоть чем-то мог помочь колхозу. Крутой он был мужчина, прости его бог, не смотрел на отговорки. А если уж кого-нибудь ругал, то бедняга вертелся так, словно сам был готов добровольно провалиться под землю, лишь бы не слышать, как честит его Сырым. Но и в обиду своих покойный председатель не давал, голову мог заложить ради родного аула. И людей знал Сырым, видел их радости и горе. И дело колхозное знал.

Сама она, Катша, в то лето работала уборщицей в колхозной конторе. Правленческий народ целыми сутками пропадал в степи, в конторе не было ни души, и председатель поручил ей дежурить у телефона — отвечать на звонки. А звонили и днем и ночью из района, из области… Катша, боясь пропустить какой-нибудь очень важный телефонный разговор, почти не спала. И вот однажды сон ее сморил, она прилегла на диван здесь же, в председательском кабинете, и заснула, да так крепко, что не слышала, как в кабинет вошел председатель. Увидев безмятежно, как ему показалось, спящую Катшу, Сырым возмущенно ударил кулаком по столу. От этого стука она и проснулась.

— Ты что? Спать сюда пришла?! — закричал Сырым. — Я тебе что поручил? Дежурить у телефона! Ответственное задание доверил тебе!

— Да я только на минутку прилегла, — пролепетала Катша; ей и в самом деле казалось, что она спала всего мгновение, только прикоснулась щекой к жесткому валику дивана, и тут этот стук.

— Ты утверждаешь — минуту?! И не стыдно тебе? Я сюда битый час звонил, уже думал черт знает что: не померла ли, часом, старуха! А ты? Полюбуйтесь на нее, врет и не краснеет. Да лучше бы ты померла, только не позорила свои седины этим бессовестным враньем!

Пожелание Сырыма, сказанное, конечно, сгоряча, тогда больно задело ее. Она чуть не заплакала от обиды. Да не такой у нее характер, при случае она всегда могла постоять за себя.

— Умри сам! — ответила Катша, задрожав от возмущения. — Мальчишка, ты даже не научился старость уважать. Я тебе в матери гожусь. Да только кому нужен такой сын?! Тьфу! И мы еще выбирали его председателем!

Катша дала полную волю словам, и на голову председателя посыпались, точно град, всяческие проклятья. Никто еще не смел так говорить с гордым Сырымом. Он разъярился вконец, снова двинул по столу кулаком.

— Ну ты меня еще узнаешь, старая ведьма! Я тебе покажу, как с председателем разговаривать!

Этим бедный Сырым толкнул ее на самый крайний шаг, она обратилась за помощью к богу и предкам, которые пока нейтрально взирали на ее ссору с председателем.

— Что ты сказал? Да пропади ты пропадом!.. О духи предков моих! О аллах! Если вы есть на самом деле, куда же вы смотрите? Пошлите этому носителю бесчестья скорую смерть! Ойбай! Ойбай!.. — взывала она, глядя на серый от пыли потолок кабинета.

Сырым отступил первым, то ли понял, что ему не перекричать Катшу, то ли не располагал больше временем. Только он выскочил из кабинета, из конторы, бросился в машину и укатил. А Катша, стоя перед открытым окном, все еще посылала ему вслед свои ужасные пожелания.

Вечером того же дня по колхозным полям, по аулу пронеслась черная весть… По дороге в райцентр газик Сырыма врезался в тяжелый грузовик, возвращавшийся с элеватора. Оба водителя, видимо, очень спешили, потому что машины мчались почти на предельной скорости. От страшного удара бензобак председательского

газика взорвался, и Сырым, и его шофер сгорели вместе с автомобилем. Мужчины, побывавшие на месте катастрофы, рассказывали аульчанам:

— Ничего от бедолаг не осталось. Лишь пепел один. — И переходили на таинственный шепот: — Правду говорят: ни в каком огне не горит сердце хорошего человека. Вот и сердце Сырыма так и лежало среди пепла и углей. Огонь его даже не тронул.

Узнав о гибели Сырыма, Катша тотчас вспомнила утреннюю ссору с председателем, свои проклятья и едва не лишилась чувств. В глазах у нее потемнело, ноги подкосились, и она опустилась на крыльцо, куда выскочила, услышав голос всадника, принесшего весть. «О аллах, никак это я и навела на Сырыма эту беду», — думала она, трясясь от страха. Она пожелала председателю смерти, и аллах, и духи предков исполнили ее просьбу.

И до сих пор она считала себя причастной к гибели Сырыма. Уже не так впрямую, тогда она в ужасе наговорила на себя. Да и существуют ли на самом деле аллах и духи предков? И все же считала себя причастной. Потому что в порыве гнева желала смерти Сырыму. А если так, то она виновата и в том, что стало потом с колхозом. Ведь после того, как погиб Сырым, колхозное хозяйство начало хиреть. И может ли она после этого оставить свой аул и уехать туда, где сытней и спокойней? Нет, она не имеет права. А сын Тортай? Ему-то за что пропадать в таком колхозе? И сын никуда не уедет. Он уже решил для себя. И сваты об этом знают. Вот почему они пригласили ее. Думали, будет сговорчивей. Да не вышло.

Утром за чаем Катша высказала то главное, о чем думала всю ночь.

— Сват, — заговорила она негромко, — вы показали мне свой красивый аул, с хорошими людьми познакомили. Спасибо вам за это… Видела я и вашего председателя. Хозяйственный он человек. Надежный… Да только останемся мы с Тортаем в своем незавидном колхозе. А если бы и послушались вас, переехали, все равно бы сын не смог у вас работать. Каким бы ни был родной аул, он — наш. Мы здесь родились, видели вместе с аульчанами и светлые, счастливые дни. Но что же подумают о нас честные люди, если в трудную пору мы сбежим от них туда, где меньше забот. Нет, дорогой сват и дорогая сватья. Не может мой аул так и остаться отсталым. Он будет таким же красивым,

как ваш. Но кто же сделает его таким, если жители все разбегутся по теплым, по чужим местам? Вот мой ответ на ваши слова, которые вы вчера говорили. Ну а ты, Саукентай, — она повернулась к невестке, а та, как и накануне, сидела, низко опустив голову. — Ну а ты, если хочешь еще погостить у родителей, так и быть, оставайся. Я разрешаю…

Говорят, если ты занят мыслями, дорога сокращается вдвое-втрое. Но Катше обратный путь казался нестерпимо долгим. Ее вновь обступили прежние ночные думы, крепко взяли в тиски, но, когда она бросала взгляд за боковое окно кабины, ей виделась все та же степь и все те же телеграфные столбы. Молодой, загоревший дочерна шофер пытался завести с Катшой разговор, обычный в дороге между попутчиками, но она отрешенно молчала. В окно кабины дул упругий раскаленный ветер, пропитанный смешанным запахом пыли и полыни. По обе стороны от дороги тянулись невысокие холмы, на их пологих склонах изредка маячили стога. Низкое бесцветное небо и выжженная солнцем земля словно устали от вечного зноя… И наконец вдали появились первые дома родного аула.

«Ну и проказник мой сын, — подумала Катша. — Ведь знал же, что ничего не выйдет у Бектемира, найдет коса на камень. Характер-то у меня ой-ей-ей. Не повезло свату, не повезло. Да теперь ясно, почему улыбался Тортай, когда я собиралась в дорогу. Ну и мошенник!»

Она засмеялась, и шофер удивленно посмотрел на нее: что это с пассажиркой, уж не спятила ли старуха?

НА ВЕРШИНЕ УШКАРА

Акиму Тарази

1

На этой станции поезд остановился на рассвете, когда солнце еще не взошло и платформа, и здание станции, и пристанционные пристройки, и даже самый воздух были пропитаны блеклым, серым цветом.

Асет спрыгнул на гравий, рассыпанный вдоль полотна, поставил чемодан и осмотрелся: он сошел с поезда один. Да и вообще здесь, на станции, их было вроде бы всего двое — он да мужчина в железнодорожной форме. Только на площадках вагона стояли проводницы с желтыми флажками. Лица их были бледны от бессонной ночи. Проводницы зевали и посматривали на него с безразличием, которое могло задеть кого угодно, только не его. Потому что одна из них помахала ему ладошкой. А та, что помахала ему на прощание, была сейчас самым понятным ему человеком. Так ему казалось, по крайней мере.

После уютного, покачивающегося, точно колыбель, вагона земля показалась ему жесткой, неподвижной, а утренняя прохлада сразу же заползла к нему под пиджак и разогнала по телу полчища щекочущих мурашек.

Асет еще раз взглянул на проводницу. Блеклое предрассветное освещение размыло черты ее лица, и оттого оно казалось еще миловиднее.

Колеса дернулись, дрожь прошла по всем вагонам, и поезд пополз мимо Асета. Когда перед его глазами промелькнул последний вагон, им овладело такое чувство, будто главное в жизни (которое он, правда, только предчувствовал и, говоря по совести, точно не знал, в чем оно заключается) пронеслось мимо и исчезло по ту сторону светофора.

С ним не раз так случалось: вдруг нежданно-негаданно поманит счастье, а когда кажется, что оно уже у тебя в руках, — его как и не бывало. Так и сегодня. Он сидел в купе проводницы, и она

рассказывала ему о своих сомнениях и надеждах, будто они были близки, как только могут быть близки два человека, оказавшиеся на необитаемом острове или какой-то пустынной планете. Он даже не знает, откуда она и как ее найти. А потом время и вовсе выветрит из воспоминаний все реальное, и они станут похожими на хороший добрый сон…

— Асет-ага?

— Это я, — ответил он, вздрогнув, хотя и знал, что его обязательно встретят.

Из-за белой будки путевого обходчика выходил коренастый парень в лихо заломленной к темени кепке и клетчатой рубашке с закатанными по локоть рукавами. По его большим, темным от масла кистям рук Асет догадался, что это шофер, и точно, парень сказал:

— С приездом, Асет-ага. Я приехал за вами.

Светлокожее лицо парня с узкими глазами показалось Асету знакомым. Показалась знакомой и его манера набычивать лоб, прежде чем он скажет хоть одно слово.

— Как тебя зовут? — спросил Асет.

— Абдибай, — сказал, точно выдавил из себя, парень.

— А чей ты? Кто твой отец?

— Шубар.

— Ах, вот как? Значит, ты и есть тот самый Абдибай? Да ты совсем большой!

Ну конечно же, это Абдибай, сын его родного дяди Шубара. Да и кто бы узнал после стольких лет в этом широкоплечем парне мальчугана-колобка, что каждое утро катил в школу, держа в одной руке сумку с учебниками, в другой — лепешку.

Асет растерялся, не зная, как держаться с Абдибаем: то ли обнять его как младшего родственника, то ли ограничиться рукопожатием. В конце концов он решил, что Абдибай уже взрослый парень и с ним можно не сентиментальничать. Вон и редкий пушок на подбородке, бреется небось.

— Бери чемодан! — сказал он, невольно любуясь крепким телосложением двоюродного брата.

А парень и в самом деле был хорош. Поднял чемодан, набитый подарками, словно тот ничего не весил. Только слегка напряглись мышцы на могучих руках.

— Машина там, — сказал Абдибай и пошагал к будке путевого обходчика.

— Значит, работаешь шофером, а учебу бросил, герой? — спросил Асет, шедший за ним.

У Абдибая покраснели уши. Парень пробурчал что-то невразумительное.

— Сколько же лет проучился?

— Семь.

— Пожалуй, не густо. Но все еще в твоих руках, — закончил Асет, стараясь не казаться слишком строгим.

Газик попетлял между глиняными домиками станции, выехал в степь и помчался по асфальтовой дороге навстречу рассвету.

В степи стояла ранняя весна. Снег сошел, но земля еще была вялой, заспанной. По сторонам от шоссе стояли коричневые лужи талой воды. А впереди шоссе упиралось в горы. Отсюда сквозь серую дымку казалось, будто лежит странное многогорбое животное, под брюхом которого обосновался аул, откуда он, Асет, уехал когда-то.

— Как дома-то? Все живы-здоровы? — спросил Асет.

— Да все.

— Машина-то чья?

— Парторга.

— Представляю, что творится дома. Вот уж, наверное, суета перед свадьбой?

— Суета.

— Свадьба сегодня вечером? Я не ошибся?

— Вечером.

Абдибай и в детстве не был речист, а теперь и вовсе приходится вытягивать из него каждое слово. Асет предпринял еще одну попытку растормошить парня, а потом оставил эту безнадежную затею и отдался собственным мыслям.

И тотчас перед его внутренним взором возникла темная лента поезда, тоненькая змейка в степи, вот она удаляется, удаляется… убегает, убегает. Что сейчас поделывает девушка-проводница? Может, выходит в тамбур с флажком, или будит беспечного пассажира, которому скоро сходить, или спит сама после смены. Или… Он представил, как она сидит в своем служебном купе и печально смотрит

в окно. «Я не верю в любовь, все это люди выдумали», — слышится Асету ее голос.

В эту ночь он так и не заснул. То ли не мог привыкнуть к своему покачивающемуся ложу, то ли спать не давало ожидание встречи с родным аулом, — только он намучился, отлежал оба бока, а затем не выдержал и, одевшись, вышел в коридор вагона. Тут-то он и разговорился с проводницей.

Он разоткровенничался первым, рассказал о том, что вот едет в гости на родину, где очень давно не был, что в городе осталась семья — жена и ребенок — и что сам он кандидат наук.

— А я-то думала, вы студент, — тихонько засмеялась девушка. — На вид вы очень молоды.

Потом наступила ее очередь, и она пожаловалась на судьбу. Он принялся уверять ее, что все еще впереди, что, может, ее ожидает великая любовь, но она твердила одно: «Не верю. Все это выдумки».

Ему подумалось, а не рано ли он вышел из поезда? Может, надо было ехать дальше и убедить девушку, что любовь живет среди людей. И прежде убедить самого себя, словом, что ему стоило остаться в поезде?

К тому же он катит сейчас в аул не с такой уж большой охотой. Жаль сестру, вот он и сидит в этом газике, рядом с Абдибаем. А что касается самого аула, так Асет забыл туда дорогу и сам, наверное, стал для него отрезанным ломтем. Восемь лет назад он ушел отсюда пешком и дал зарок никогда не возвращаться. И сдержал бы слово, не пришли сестра последнее письмо. Сестра сообщала о свадьбе старшей дочери и впервые просила приехать. Он догадался, что тут не обошлось без ее мужа. Тот, наверное, так и сказал: «Проси, пусть приедет. Шутка ли, на свадьбе сам кандидат наук».

Он было хотел сослаться на вечную занятость, но вспомнил, как рыдала сестра, когда ее выдавали замуж. То ли ее принуждали, то ли просто пугала новая жизнь, только когда уехали сваты, она уткнулась в подушки и заплакала навзрыд. Он вспомнил распростертое на постели худенькое тело сестры и протелеграфировал о приезде.

— Сестра-то как? Наверное, постарела? — спросил он Абдибая.

— Не знаю, — и парень пожал плечами.

— Почему не знаешь? Ты же не слепой?

— Не слепой, — подтвердил Абдибай. — А какой она была тогда, не помню. Был маленький.

«Ну и бирюк», — подумал Асет, отступаясь от него уже в который раз.

Вот уже солнце поднялось над горизонтом. В машине стало душно, запахло нагревшимся маслом. Монотонный гул мотора убаюкивал. Веки налились тяжестью, Асет затеял было с ней борьбу, но потом сдался и, сморенный, прикрыл глаза. Абдибай покосился на пассажира и молча приподнял ветровое стекло. Холодный воздух окатил лицо Асета, снял дрему.

Асет устроился поудобней на сиденье и посмотрел по сторонам. По этой степи он не раз проезжал на коне и шел пешком на станцию, чтобы навсегда расстаться с ней. Его не было восемь лет, но здесь ничто не изменилось. Разве осели, стали ниже холмы. А может, ему только почудилось, будто они осели? Сколько прошло минут с тех пор, как они отъехали от станции? Пятнадцать? Двадцать? И поди ты, до крайних домиков аула уже рукой подать. А когда он шел на станцию в тот памятный день, ему казалось, что идет он от края света и до цели уже никогда не дойти. Помнится, вон на том бугре он отдыхал. Рядом овраг; туда он спустился оттого, что горло его пересохло от жажды…

— Будь добр, поверни к оврагу. По-моему, там был родник.

Лицо Абдибая осталось непроницаемым. Он крутанул баранку и повел машину по кочкам, по прошлогоднему ковылю и полыни. Газик затрясло; запахло прелью, сырой землей.

У кромки оврага шофер заглушил мотор и замер, глядя перед собой.

— Подожди минуточку, — сказал Асет, вылез из машины и запрыгал по дну оврага.

Там, среди зарослей курая, среди мусора, нанесенного талыми водами, пробивался из земли слабенький прозрачный родничок. И так было каждую весну. Его заносило, а он пробивался и по-прежнему поил путников холодной чистой водой. Тогда Асет долго лежал возле родника, распластавшись на животе, думал о жестокости судьбы, выбивал гвоздь, торчащий в ботинке, от которого кровоточила нога, и тихо плакал. Вот здесь он лежал, ну да, на этом месте. Но, к его удивлению, воспоминания, хотя и печальные, сейчас совсем не

тронули душу. А тогда ему было горько. Он бежал из аула тайком, спасаясь от позора и мести, которых не заслужил…

Возле его ноги слегка пошевелилась длинная тень. Он поднял голову и увидел Абдибая, стоящего на краю оврага. Их взгляды встретились, и Асет заметил, как в темных глазах у невозмутимого родича мелькнули искорки любопытства.

— Бывало, как ни пойдешь на станцию, обязательно затянет сюда. Напьешься — и дальше, — пояснил Асет, выбираясь наверх.

Выйдя из оврага, он огляделся. В степи всюду кипела хлопотливая весенняя жизнь: под землей, между кочками, в ворохе сухой прошлогодней травы. Асет только теперь увидел, как много в степи птиц. Они и там и сям — одна отогревается на солнышке, другая скачет с куста на куст, с камня на камень, жаворонок взмывает в небо, и оттуда сыплется на степь его первая песня. И все это точно в старом знакомом доме, куда он теперь заявился как чужой.

Степь, ранее поражавшая его своим простором, показалась ему тесной. Только подумать, его дедам и прадедам было достаточно этого лоскутка, здесь для них сосредоточивалась вся человеческая история, а тот мир, что начинался за горизонтом, был им совершенно не интересен.

— Поехали, — сказал Асет и решительно полез в машину.

Аул надвигался на машину, точно из миража. Дрожащее марево расступилось, линии домиков, поначалу зыбкие, колеблющиеся, стали обретать реальные очертания.

Справа от дороги показалось кладбище. Когда появились белые купола, Асет удивился и подумал, что это что-то новое. Как он помнит, раньше здесь вокруг могил ставились четыре стены. Такие окружали и последнее пристанище его отца и матери. Как-то теперь их могилы? Осели небось.

— Останови, дорогой, — попросил Асет.

Кладбище разрослось. Асет побрел мимо старинных полуразвалившихся могильных стен, мимо железных и деревянных оград, что окружали могилы поновее. Особняком среди них белели три купола, украшенных орнаментом.

— Красиво, правда? Теперь у нас так хоронить стали, — сообщил Абдибай, разразившись необычно длинной для себя тирадой.

«Ну что же, раз так, значит, живете зажиточно», — подумал Асет. Абдибай отстал, видимо, сообразил, что здесь человек нуждается в тишине и одиночестве.

Асет пошел к центру кладбища, туда, где рядышком лежали отец и мать. Годы почти сровняли с землей могильные стены, холмики поросли кураем и чием, провалились, особенно тот, что был насыпан над отцом. Асетом овладела робость. Он стоял с колотящимся сердцем, не в силах ступить еще полшага. Он чувствовал себя виноватым оттого, что у могилок вид был заброшенный, и оттого, что нужно было сейчас что-то сказать, что-нибудь сделать, а он не знал что. Ему захотелось поскорее уйти отсюда.

Асет бросил последний взгляд на родные могилы и быстро зашагал к машине, стараясь не смотреть по сторонам. У самого края, там, где кладбище подходит к обочине дороги, едва не налетел на цементированный столбик с жестяной звездочкой. На столбике, под слюдой, желтела фотография. Асет невольно всмотрелся и узнал своего бывшего учителя математики.

Он был самым строгим учителем, и даже здесь, на снимке, взгляд его сохранил былую суровость. Ученики его боялись: за малейшее непослушание он гнал из класса и ставил двойки. А вечером, когда в колхозный клуб привозили кинофильм, учитель шел в кинобудку и выяснял у механика, нет ли на ленте кадров, где парень целуется с девушкой. Если ему отвечали утвердительно, он становился в дверях и не пускал школьников.

Железным казался мужчиной. Даже не верилось что с ним может что-то случиться.

— Когда же это с ним?

— В прошлом году, — сказал Абдибай, пробуя ногой автомобильные баллоны.

— Пусть земля станет ему пухом. А рядом кто? — уже машинально спросил Асет и кивнул в сторону соседней стены, сложенной из булыжника.

— Здесь-то? Баглан и Айнаш.

Асету эти имена ничего не говорили, поэтому он вопросительно взглянул на Абдибая. Тот, поняв, что сказанным не ограничишься, добавил:

— А те, что застрелились.

— Застрелились? Сами?

— Ага, обнявшись.

«Узнаю родной аул. Разве тут без происшествий обойдется!» — подумал Асет и хотел было выяснить подробности, но решил повременить до поры, пока найдется более подходящий собеседник.

Аул встретил его совершенно незнакомой улицей, Там, где раньше гоняли футбольный мяч, возвышалось двухэтажное здание.

— Новая школа? — спросил Асет с невольным восхищением.

— Угу, — буркнул Абдибай.

— А здесь что?

— Сад. Детский.

— Больница?

— Ага.

Сестра уже писала ему о том, что аул разрастается, что построены школа и больница. Но ему не верилось, будто в ауле, оставившем в его сердце горькую память по себе, может случиться что-то хорошее. В других аулах — да, а в этом — нет. Поэтому увиденное его приятно поразило.

Еще издали Асет увидел дом сестры на бугре и саму сестру. Не дав ему даже выйти из машины, сестра кинулась к Асету, уткнула нос в его плечо и заплакала. Со всех сторон набежали женщины со знакомыми, но уже позабытыми лицами, начали его тормошить, и от их галдежа у него заложило уши. Только и слышалось:

— Голубчик! Да ты уже совсем взрослый!..

— Вы только полюбуйтесь на него!..

— Весь в отца! Вот что значит след хорошего человека!

Женщины умиленно смотрели на него, смахивали слезы уголками платков, будто он явился с того света.

Потом они уступили очередь молодой поросли. Едва Асет выбрался из машины, как его окружили юные восторженные лица бесчисленных братьев и сестер, племянников и племянниц. И, глядя на них, он, пожалуй, впервые понял, что молодость его осталась позади.

Он пробирался к дому через толпу родичей и соседей. К нему тянулись руки, каждый норовил дотронуться до него, будто желал проверить, а действительно ли он настоящий, живой Асет. И неожиданно для себя Асет разволновался, услышал свой голос, бормочущий: «Дорогие… милые…»

Едва он разделся и присел на стул, устав от впечатлений, как пришел зять во главе группы мужчин.

— А вот и наш дорогой гость прибыл! — объявил зять, обнялся с Асетом, и тот окунулся в очередную волну приветствий: мужчины хлопали его по плечу, жали руку.

Его приезд взбудоражил и семью и весь аул; стар и мал считали своим долгом зайти в этот дом и по традиции поприветствовать Асета. Его немедля усадили за стол, застеленный новой скатертью, приготовили чай и поставили миски с горячими баурсаками[1] и лепешками. Он пил чай в окружении людей, которые следили за каждым его движением, и на их лицах было написано такое сочувствие, точно он не ел целый месяц.

И все же от его острого глаза не укрылось, что приготовления к свадьбе идут полным ходом, не остановившись ни на минуту. Среди людей, набившихся в дом и торчащих во дворе, проворно сновали озабоченные молодухи.

Откуда-то появлялась сестра, присаживалась рядом, гладила по руке, шептала растроганно:

— Родной мой… Светик мой… Солнышко мое… Ну, вот мы и увиделись…

И, видно, больше не хватало ей слов, чтобы выразить накопившуюся любовь к нему. В эти минуты она походила на мать. Такая же ласковая и такая же теряющаяся от нахлынувшей нежности.

Сестра казалась старше своих сорока лет. Шутка ли быть матерью девяти ребятишек! Асет понимал это и, все же она постарела более, чем он ожидал. И одета сестра в плюшевый камзол с длинными полами, какие обычно носят пожилые женщины. А талия ее опоясана цветным платком. Знать, уже мучается сестра поясницей — признак наступающей старости.

Он поймал себя на том, что и сам чертовски растроган, до того растроган, что даже сжало горло и он не в силах что-нибудь сказать, только накрыл ладонь сестры своей ладонью и мягко пожал ее.

Молодуха, что собирала на стол, не выдержала и напустилась на сестру:

— Будет тебе! Брат приехал родной? Приехал! Ну чего слезы льешь? Дай ему напиться чаю!

— Больше не буду, — испугалась сестра, проведя пальцем по влажным глазам, — пей, мой родненький, пей!

И, посидев около него, убегала туда, где шли пока еще не видимые приготовления, и немного погодя возвращалась опять. И опять присаживалась рядом, и опять шептала.

«Как это славно, что у меня такая сестра. Как это здорово, когда тебя есть кому встретить», — подумал Асет.

Он разомлел от горячего чая, от вкусной пищи. Давала о себе знать и бессонная ночь. Когда ему сказали, что в соседней комнате его ждет приготовленная постель, он не стал упираться. К тому же впереди предстояла свадьба — не легкое испытание и для свежего человека.

2

Разбудил его шум голосов за окном. Кто-то поминал его имя. Асет взглянул на часы. На сон ушло два часа с небольшим, но этого было достаточно. Он чувствовал, что тело его обрело привычную гибкость и легкость. И лишь из головы еще не ушла тяжесть, обычная для дневного сна.

А со двора донесся смех, и голос сестры произнес:

— Ба, кто идет?! Уж не Загипа ли пожаловала к нам?

Асет встрепенулся, поднял голову.

— Здравствуйте, тетя Кульшар! — ответил мягкий голос.

— Здравствуй, здравствуй, Загипа! Как твои дети? Живы-здоровы? Как ты здесь появилась, милая? Разве вы уже не на песках? Я-то думала, вы еще там, — сказала сестра.

— Да нет уж, мы перекочевали к горам. Дня три, как перебрались. А я вот приехала на мельницу — надо помолоть зерно.

Они еще долго говорили о том о сем, и потом Загипа спросила:

— Говорят, приехал Асет?

— Приехал голубчик, приехал. Намаялся в дороге, всю ночь ехал поездом. Я уложила его отдыхать.

— Хотелось бы взглянуть на него. Какой он теперь? Поди, уж лет двенадцать прошло, как я его не видела. В детстве-то, тетя Кульшар, мы бегали вместе. А то на конях наперегонки.

— Подожди немножко. Он скоро, наверное, встанет.

«Ну да, это же Загипа! Та самая маленькая Загипа! В самом деле, мы не виделись лет двенадцать. Так и есть, после восьмого класса», — сказал себе Асет.

В то время его отец пас колхозных коней, и часто случалось так, что по соседству кочевал отец Загипы с отарой овец. Вот тогда они вместе с Загипой и носились на конях: то заворачивали отбившуюся от стада скотину, то просто скакали наперегонки.

Именно об этом и говорила Загипа. Но помнит ли она, как они ездили однажды в школу? Что касается его, когда он думает о детстве, в его памяти непременно всплывает это событие, и у него возникает ощущение трогательной чистоты.

Помнится, они заканчивали учебу в шестом классе и вместе ездили на экзамены. В тот раз их семьи расположились по ту сторону горы Ешкиульмес, у самого подножия, и он и Загипа поутру выезжали в аул. В этот памятный день с ночи сеял мелкий дождь, унялся он только к полудню. На смену ему пришел густой туман, такой тяжелый, что плечи ощущали его тяжесть. Высокая горная трава набухла от влаги, словно губка; она, казалось, только и ждала опрометчивого путешественника, чтобы вымочить его от пят до головы.

Отец им выделил крупного гнедка, отличающегося особо спокойным нравом. Загипа устроилась в седле, Асет подстелил себе стеганое одеяло и сел за ее спиной. Гнедок послушно зашагал по извилистой скользкой после дождя тропе, ведущей через вершину перевала в родной аул. Он был опытной горной лошадью и не раз, не два переносил на себе и груз и людей по самым рискованным тропам. И сейчас он взбирался по раскисшему подъему с ловкостью кошки.

Тропа попетляла по мокрому кустарнику и поползла вверх до того круто, что Асет, опасаясь свалиться со спины гнедка, крепко уцепился за талию Загипы.

— Ой-ей-ей, щекотно, — запищала Загипа, дергаясь, — убери сейчас же руки, отпусти!

— Но тогда я скачусь с лошади! — возмутился он.

— Мне-то какое дело! Только не держись за меня. Ну, тебе говорят!

Гнедок уже пробился сквозь туман и вынес их на вершину перевала под голубое небо, ясное, точно промытое стекло. Низко над

горизонтом висело ослепительно багровое солнце, похожее на огромную ракету, уходящую к неведомым звездам. Никогда потом Асет не видел такого неба и такого солнца, как в тот памятный день, когда ехал на экзамены в школу, сидя на стеганом одеяле позади Загипы.

— Асет, ты только посмотри, как здорово! Правда, здорово, правда?! — закричала Загипа.

Под ними волнами бродил туман. Местами он лежал неподвижно, будто распущенная шерсть. То бело-серый, то темный и алый там, где его окрасило в свой цвет солнце.

— Нет, ты только взгляни, Асет! Ну посмотри же! Эй, горы! — кричала Загипа, а скалы разделили ее восхищение, откликнулись эхом.

А он молчал, потрясенный зрелищем, даже забыл, что до сих пор его пальцы лежат на талии девочки. И Загипа первая вспомнила об этом.

— Ой, щекотно! Ну сколько раз тебе говорить? Ты что? Глухой?

А он в восторге прижал к себе Загипу, потому что в самом деле все было здорово: и небо, и туман, колышущийся внизу, и Загипа.

— Ой-ей-ей! — заверещала девочка и покатилась с лошади в густую траву, он скатился вместо с ней, и над ними поднялись сверкающие брызги.

Они хохотали, катались по траве, тузили друг дружку, а гнедой стоял в сторонке, смотрел на них большим красноватым глазом и никак не мог понять своей лошадиной башкой, что это происходит с людьми.

И только когда солнце зашло, они спохватились, заметили, что уже потянуло вечерней прохладой, что они оба промокли насквозь и что вообще уже поздно. Они поднялись на ноги растрепанные, немного уставшие.

— Ой, поехали, Асет! Скоро появятся джинны, шайтаны, — всполошилась Загипа.

Асет поправил наскоро потник, седло и свое одеяло, помог девочке взобраться на гнедого, потом подвел его к выступу скалы и взгромоздился сам.

— Асет, ты только взгляни, сколько вокруг острых камней. Только подумай: мы же могли разбиться, — сказала притихшая Загипа.

Асет погнал гнедого мелкой иноходью. Тропа побежала, виляя между камнями, вниз, в сгущающиеся сумерки. По пути мелькали развалины заброшенных зимовок, и, оттого что они были давно заброшены, зимовки внушали суеверный трепет.

— Асет, ты только подумай, когда-то здесь жили люди и ничего не боялись, — прошептала Загипа.

А он, совсем оробев перед сумерками, крепко обнял Загипу. На этот раз девочка забыла про щекотку, приникла к нему. Он слышал, как гулко и быстро стучит ее маленькое сердце, и колотил гнедого пятками по выпуклым бокам. Тот, будто понял их состояние, затрусил побойчей.

В аул они приехали поздно вечером, вымокшие, разбитые. Сестра Кульшар переодела их в одежонку своих детей, поставила перед ними лапшу, к которой они почти не притронулись, и уложила спать рядышком в переднем углу комнаты.

Он проснулся первым и тут же подумал о предстоящем экзамене, о том, что нужно еще полистать учебник. В комнате было уже светло. Он шевельнулся, и сейчас же что-то приятно щекочущее коснулось его шеи. Он осторожно повернулся и увидел, что это коса спящей Загипы. Конец косы расплелся, пушистая кисточка слегка касалась его щеки. От ее волос исходил прохладный, чуточку кисловатый запах айрана.

Асет прикрыл глаза и, прикидываясь спящим, осторожно приблизил свою голову к голове Загипы, еще раз вдохнул запах ее волос.

Потом он приподнялся на локтях, долго смотрел на сладко спящую девочку. Ему очень хотелось притронуться губами к ее теплой щеке, но он не осмелился и только поцеловал кисточку косы.

Когда они перешли в восьмой класс, родители Загипы поселили ее у одинокой вдовы. А весной к вдове приехал племянник и надолго задержался в гостях. Что и говорить, это был видный парень. Он только вернулся из армии, нахватался всякого в больших городах, и они, одноклассники Загипы, конечно, не шли с ним ни в какое сравнение. С появлением этого парня Загипа стала меняться у всех на глазах. Да и потом, когда тот уехал, Загипу все равно уже было не узнать. Раньше лезла во все школьные проказы: если какая свалка на перемене, значит, там и Загипа. А сейчас ее и не вытащишь в коридор. Сидит за партой, мечтательно смотрит в окно. И внешне она

изменилась: располнела, стала такой красавицей, что можно смотреть на нее целый урок и все равно не наглядишься.

Пришло лето, ребята разъехались по домам. С этого года отец Загипы пас овец в иных местах, и впервые Асет и Загипа проводили каникулы врозь; а осенью, когда начался новый учебный год, она не вернулась в школу. Поговаривали, что ее отцу нужен был помощник, и отец настоял, чтобы Загипа бросила учебу. Потом, через пару лет, разнесся слух, будто она вышла замуж за молодого чабана.

И вот эта самая Загипа, девочка из его детства, сейчас стоит за окном и ждет его пробуждения.

Заволновавшись, Асет встал с постели, оделся, привел в порядок свой костюм, насколько это можно было сделать с помощью одежной щетки и ладони, с особой тщательностью причесался у зеркала. Правда, то же самое зеркало показало ему слегка отекшее лицо и красноватые от сна глаза. Но тут уж он ничего не мог поделать, только утешил себя тем, что на свежем воздухе все пройдет.

Он было направился к выходу, но в передней послышались голоса, и сестра и Загипа сами вошли ему навстречу. Вернее, с сестрой вошла смуглая женщина с сухими выцветшими губами на изможденном, раньше времени постаревшем лице. «Господи, неужели это Загипа?» — ужаснулся Асет.

— Он проснулся, наш соколик! — сказала сестра, озаряясь радостью.

— Здравствуйте! Как ваше здоровье? Как вы доехали? — учтиво осведомилась Загипа, протягивая ладонь о худыми, вздувшимися на суставах пальцами.

Он пожал эти пальцы, и, наверное, лицо его было растерянным, потому что Загипа рассмеялась и сказала его сестре:

— Тетя Кульшар, Асет не узнал меня, забыл уж совсем.

Он поглядел в лицо женщины и увидел, как засветились озорными огоньками ее темные глаза — все, что осталось от прежней Загипы.

— Что вы, Загипа, разве вас можно забыть? Я вас узнал сразу, — пролепетал Асет, смутившись, а про себя подумал: «Бог ты мой, в кого превратилась она?!»

Одежда, пошитая из дорогого шелка и плюша, сидит на ней мешком, голову туго стягивает нелепый красный платок. А куда подевались прежняя стать и легкость движений? Шаркая подошвами,

теперешняя Загипа прошла в комнату и как-то скованно села на краешек стула.

— Забросили наш аул. Не видать вас, не приезжаете, — сказала она.

— Работа, дела. Понимаете, некогда, — ответил он так, как всегда отвечают в подобных случаях.

— Э, дорогая Загипа, это у нас: когда захотел, взял и поехал. У них там, в городе, по-другому. Все по часам, — вступилась сестра.

Как и подобает по обычаю, Загипа расспросила его о делах, о том, как поживают его жена и дети. А потом рассказала о своем житье-бытье, и Асет узнал, что живут они с мужем хорошо, пасут отару овец в предгорьях, что у них уже шестеро детей, и кто из детишек учится в интернате, кто вместе с родителями живет в юрте. Потом она, в свою очередь, осведомилась, сколько детей у Асета, и он назвал своего единственного сына.

— У них в городе так заведено: один или двое ребят, а больше они не рожают, — опять вмешалась сестра, и он заметил по лицам женщин, что они не одобряют этого.

Загипа посидела еще для приличия — видно было, что говорить им уже не о чем. Потом поднялась со словами:

— Пожалуй, я пойду на мельницу. Как бы не прозевать очередь.

— Вечером приходи, ты же знаешь: у нас сегодня свадьба, — напомнила сестра, тоже поднимаясь.

— Придем, тетя Кульшар. Спасибо за приглашение.

Загипа ушла. Но и после ее ухода Асет не мог успокоиться и все думал, думал… Что же все-таки произошло? По годам она еще молода, его ровесница. И живет, говорит, с мужем душа в душу и заработки, говорит, неплохие. Так что же ее измытарило? Может, доля матери? Шестеро, говорит, детей, все ребятишки хорошие, но ведь каждого выкорми, научи уму-разуму…

Ему стало не по себе, будто он предал и сестру и Загипу и будто ищет себе легкую жизнь, хотя на самом деле его житейский путь извилист и труден.

Он вспомнил свою жену, цветущую, веселую женщину, вспомнил, как она временами ложится в больницу, чтобы избавиться от их будущего ребенка, и как ему это кажется привычным, будто так и следует поступать.

Он попытался представить жену многодетной, состарившейся от забот и подумал, с любопытством постороннего человека, как бы тогда он отнесся к жене. Но представить это было почти невозможно. «А если так, то ни к чему ломать голову, — сказал он себе в заключение, — у каждого своя высота, своя доля, может, судьба или как еще там…»

Он заглянул в соседнюю комнату, где сестра готовила стол.

— Может, ты проголодался? — спросила она с надеждой. — Хочешь, налью тебе сорпы?[2]

— Да что ты! Я сыт, — сказал он, уже в который раз тронутый ее заботами. — Пойду-ка лучше прогуляюсь по свежему воздуху.

Асет вышел во двор. Между кухней и очагом, сложенным во дворе, сновали женщины и помогающие им дети.

Он завернул за угол дома и увидел своего зятя. Тот сидел на скамеечке в компании мужчин. Мужчины подвинулись и усадили гостя в середине. Чуть погодя подошли еще трое. Вскоре на скамейке не осталось мест, и вновь приходящие мужчины здоровались с Асетом и усаживались на камень или просто опускались на корточки.

Солнце постепенно клонилось к вечеру. От нагретой земли поднималось дрожащее марево. Небо сияло неправдоподобной чистотой, казалось, вот-вот в его прозрачных глубинах возникнет сказочный мираж. Было тепло и тихо; словно зачарованные покоем, мужчины переговаривались не торопясь, негромко.

Беседа шла о колхозных делах, от которых Асет уже давно оторвался; он ловил вполуха ставшие для него посторонними слова, смотрел на новую школу, что виднелась в створе между двумя жилыми домами, и пытался пробудить в себе воспоминания о своем прошлом.

— Красивую школу построили, а? — спросил его Куракбай, с которым они давным-давно бегали в старую школу.

Теперь он еле узнавал своего сверстника в этом крупном уверенном в себе мужчине.

— Красивая. Большая, — кивнул Асет.

В самом деле, школа, хоть и стояла в низине, возвышалась над крышами аула.

— Большая, а вот двух этажей уже мало. Нужен третий, а где его взять? Директор бегает в слезах. Что, говорит, буду делать на

следующий год. Детей станет столько, что всех не вместишь, развалится школа, — сообщил Куракбай смеясь.

— Рано он паникует, — сказал Асет.

— Ты говоришь, рано? Посуди сам. В прошлом году он принял восемьдесят первоклассников. В этом году их будет более ста. А дальше… — Куракбай даже не нашел слов, только присвистнул.

Асет тоже удивился, покачал головой.

В школе тоненько — потому что далеко — прозвенел звонок, и на улицу высыпали дети. Видно, уже сейчас занятия шли в смены. Что же будет потом? Тут и вправду посочувствуешь директору.

А ребятам, видать, не до директорских мучений. Те, что побойчей, устроили шумную возню с беготней, с непременной борьбой на пыльной улице. Кто-то ударил гулко по футбольному мячу, и за мячом с грачиным гвалтом, толкаясь локтями, погналась орава мальчишек. А девочки и ребята посолидней чинно стояли вдоль стенки, жмурились на заходящее солнце и вели степенный разговор.

— Славная подрастает молодежь, — сказал Асет, обращаясь к Куракбаю, но его услышал один из пожилых мужчин и возразил, мол, нынешнее поколение не видало трудностей, живет на всем готовом, даже привередничает за столом, а одежду подавай только модную, и вообще молодым лишь бы хулиганить, а все серьезное они готовы осмеять.

— Что и говорить! Вот, к примеру, эти двое, которые застрелились. Можно подумать, такая уж была любовь! От баловства они застрелились, вот что я вам скажу, — поддержал его седоусый мужчина.

Асет вспомнил кладбище, скупое сообщение своего двоюродного брата Абдибая, что привез его на машине, и спросил, кто они такие, эти самоубийцы.

— Может, помнишь Курмана? Ну того, что был мельником? — спросил в свою очередь зять.

— Курмана-то? Помню, — сказал Асет.

— А дочь его помнишь? Ну, конечно, нет. Она была еще козявкой тогда.

— Такая большеглазенькая, Айнаш, — подсказал Куракбай и добавил: — Она в прошлом году закончила школу.

— Айнаш! Не помню, нет, не помню, — признался Асет, — сыновей Курмана помню хорошо. Вот уж забияки. А дочку не могу припомнить… Значит, она и застрелилась, Айнаш?

— Айнаш и Баглан, — сказал зять, а остальные закивали подтверждая.

— Баглан… Баглан, — пробормотал Асет, стараясь разбудить свою намять.

— Помнишь Камена? Худой такой ходил, вечно в старом чапане[3]. Он еще высадил деревья вон там, — и Куракбай махнул в сторону станции. — Помнишь, мы прозвали их рощей Камена, а потом там и на самом деле роща выросла.

— Как не помнить Камена, — обрадовался Асет. — И рощу его не забыл. Только сыновей-то у него больно много.

— Было семнадцать, — сказал зять, — было, это точно. Но ты позабыл: старшие не вернулись с войны. А младшие померли в то же время — кто от болезней, кто от голода. Сам понимаешь, все в руках судьбы. Но у Камена все же остался один. Так вот это и был Баглан.

— Длинный такой, белолицый, — добавил Куракбай.

— Этого парня я знаю, — сказал Асет. — Когда мы учились в десятом, он бегал в седьмой.

Он и вправду припомнил долговязого подростка, что ходил с сумкой, переброшенной через плечо.

— Он самый, — подтвердил Куракбай.

— Так что же случилось? — спросил Асет в нетерпении.

— Баглан решил жениться на Айнаш прошлой осенью. Но, видать, у Курмана были свои планы. Выгнал он Баглана. Не про тебя, говорит, такая красавица, — сообщил зять.

— А его сыновья, — горячо вмешался не знакомый Асету парень, — а его сыновья — точно сторожевые псы. Даже не подступиться к дому.

— И тогда Баглан решил выкрасть Айнаш. Раз не хотят добром, так вот дай, думает, выкраду, — сказал Куракбай. — Но ничего не вышло. Братья поймали их на улице. Его избили чуть ли не до смерти, а сестру увели обратно в дом.

— Но, думаете, Баглан отступился? — перебил Куракбая все тот же горячий парень. — Через месяц он сделал то же самое! И на этот раз братья Айнаш настигли их у родственников Баглана. Примчались

целой оравой на грузовике. Опять избили Баглана, а ее забрали с собой.

— А что же Айнаш? — спросил Асет. — В наше время девушка не вещь. Если уж захочет устроить свою судьбу, кто ей помешает?

— Айнаш и сказала отцу и братьям, мол, не могу без Баглана жить, и все! Как она плакала, Айнаш! — сказал Куракбай. — А те ни в какую!

— Глупые люди, что с них возьмешь, — заметил седоусый осторожно.

— Но есть же закон! — возмутился Асет. — Неужели у Баглана не было головы? Стоило сходить в милицию, дескать, так-то и так!

— Почему он не жаловался, этого теперь никто не знает. Наверное, потому что они родные любимой. И что уж потом за жизнь, если пойдешь жаловаться на ее родных, — вздохнул зять.

— И тогда Баглан этой зимой будто бы влез в окно к Айнаш, обнял ее, и так, обнявшись, они и застрелились из ружья, — тихо закончил Куракбай.

— А что с братьями Айнаш? Их наказали?

— Куда там! Вмешалась вся родня, замяла эту историю. Баглан и Айнаш оставили записку: мол, никто не виноват, сами так захотели, — сказал горячий парень и огорченно махнул рукой.

«Узнаю мой аул! Милые, славные люди… Но вот на их глазах случилась беда, и они смалодушничали перед старыми, ужасными традициями, хотя в их руках и власть и закон», — подумал Асет.

— Милок, ну-ка расскажи нам, что нового в Алма-Ате? Это правда, будто там построили гостиницу до самого неба, а? — спросил седоусый, стараясь перевести разговор на другую тему.

— Построили, построили, высокую гостиницу построили, — рассеянно ответил Асет, все еще находясь под впечатлением рассказа о недавней драме.

— Вот и хорошо! Теперь приедешь в Алма-Ату — и есть где остановиться.

Седоусый нервно засмеялся, и Асет понял, что тот чувствует свою вину, как и все, наверное, люди аула, стыдится и хочет спрятать подальше свой стыд.

— Ах как плывет! — воскликнул Куракбай, вытягивая шею, и остальные мужчины, точно по команде, повернули головы.

Асет последовал их примеру и увидел молодую женщину в белом свитере и короткой коричневой юбке. Она вышла из дверей почтового отделения и теперь шагала, приближаясь по той стороне улицы.

— Кто это? — спросил Асет.

— Заведующая почтой. Это же Саулетай! Неужели ее не помнишь? — удивился Куракбай, не сводя глаз с женщины.

Куракбай еще не закончил, а он уже узнал Саулетай. Внутри у него что-то вспыхнуло, обожгло огнем. А мужчины, заметив Саулетай, тотчас уставились на него. Он, желая скрыть растерянность, будто бы озабоченно зашарил по карманам, вытащил носовой платок, провел по лицу, пряча лицо в платке, засунул платок в карман. Затем ухватился за прут, что держал Куракбай, и отломал конец.

— Ай, какой испортил саженец! Еле его выпросил, хотел посадить в своем саду. А ты испортил, — расстроился Куракбай.

А Саулетай шагала, словно никого не замечая, высоко несла голову, глядя прямо перед собой. Асет подумал, что, подойдя поближе, она может поздороваться с ним, и растерялся совсем, оттого что не знал, как себя держать, — то ли подняться с места, то ли остаться на скамье.

Но волнения его оказались напрасными. Саулетай проследовала мимо, так и не повернув головы. Будто бы демонстрировала им всем свою неприступную гордость и красивый профиль.

И может, он один заметил, как она чуточку зарумянилась. Но и он не был твердо уверен в этом.

Асет был вынужден признать, что она похорошела. Он попробовал пробудить в себе давнишнее презрение к Саулетай, но из этого ничего не вышло. Его взгляд невольно потянулся за ней, а в груди поднялось черт знает что: и восхищение, и укор, и жажда мести, и страсть. И все это венчало сожаление о безвозвратно ушедшем прошлом.

Он знал из писем сестры, что после его отъезда Саулетай вышла замуж и родила двоих детей. Потом муж ее упал с коня и разбился насмерть, а она, повдовев около года, вышла замуж вторично. Но и тут ей не повезло: второй муж что-то натворил — что именно, сестра так и не объяснила толком, — и его упекли в тюрьму. Только вот ему не было известно, как поживает она сейчас. Но спросить об этом у

сидящих рядом у него не хватило смелости — еще подумают что-нибудь.

3

Дом хозяина заняли почетные гости: те, кто приехал на свадьбу из районного центра, руководство колхоза и сваты. Остальных гостей разместили по соседним домам. В один — стариков и старух и тех односельчан, что дожили до зрелого возраста, но еще не заслужили особого почета, а самый крайний дом отдали молодежи: пусть, мол, шумят себе на отшибе.

Асет праздновал среди почетных гостей. Поначалу он, как и все, пил и смеялся, а потом заскучал, загрустил. Такое с ним часто случалось за пиршественным столом. Вдруг ни с того ни с сего ему приходило в голову, что вот он сидит беспечно, а где-то стороной проходит самое главное для него.

Так вот и сейчас он опечалился, вспомнил проводницу и опять пожалел, что сошел с поезда. Он почти ощущал уютное покачивание вагона, обиженный голос девушки. Ему показалось, что и остальные гости тоже только притворяются, будто им весело, а на самом деле, как и он, думают тайком, беспокоятся каждый о своем сокровенном.

Он попытался утешить себя тем, что скоро гулянье утихнет и гости разойдутся спать, но когда взглянул на часы, то, к своему немалому удивлению и расстройству, обнаружил, что минуло всего лишь два часа и свадебному пиру еще нет конца и края.

И, как неизбежно бывает в подобных случаях, у него сразу же заболела голова, он потрогал лоб и откинулся на спинку стула.

Сестра была занята гостями, вместе с помогавшими ей женщинами подавала на стол то одно, то другое и все же в этих хлопотах умудрялась следить за каждым его движением. Так и сейчас она наклонилась над ним и шепотом спросила:

— Родненький, что с тобой?

— Ничего, все в порядке, — сказал он, стараясь ее успокоить: мало ли ей и без него забот.

— Может, пойдешь к молодежи?

— Не волнуйся, мне весело и здесь.

А сам подумал: «Наверное, у них то же самое».

— Идем, я тебя провожу.

Она почти силой вытащила его из-за стола.

Дом, отданный молодежи, гремел, подрагивая от топота, гудел, как улей.

В передней он наткнулся на пьяного Куракбая. Друг детства еле стоял на ногах и препирался с молодыми женщинами, которые пытались его утихомирить. Увидев Асета, Куракбай пьяно засмеялся, открыл объятия.

— Асет, дружище! Самой сладкой водки тебе! Почему ты не с нами? Зачем тебе начальство? Да плюнь ты на него, иди к нам гулять! — заорал друг детства и по-свойски ударил Асета по плечу.

Асет было поежился, но Куракбай поднял указательный палец и заявил заплетающимся языком:

— Ты наша гордость, и точка! Пойдем к нам!

Он ухватил Асета за локоть, и Асет вошел в гостиную, втащив на себе Куракбая, иначе бы тот упал.

Его появление встретили восторженным гвалтом. Со всех сторон протянулись руки:

— Асет, присаживайся к нам!

— Нет, нет, иди к нам, Асет!

От такого приема у него зарябило в глазах: он вертел головой, не зная, на чьем остановиться предложении. Признаться, он был польщен таким вниманием.

Порядок навел высокий парень с франтоватыми усиками. И по тому, как все затихли, едва этот парень открыл свой рот, Асет догадался, что слово взял тамада.

— Ти-хо! — гаркнул тамада. — Пусть наш дорогой гость займет место рядом с женихом и невестой!

Молодые застеснялись, встали и опустились на стулья, лишь когда Асет уселся рядом с ними. И еще долго невеста, его племянница, застенчиво прикрывала лицо рукавом, а жених улыбался смущенно.

Только Асет коснулся стула, как началось:

— Асету штрафную!

— Эй, налейте ему полный стакан!

Асет шутливо зажал уши, а сам подумал, что еще там, в доме сестры, выпил уже предостаточно, что уже гудит в голове, что ему,

пожалуй, на сегодня хватит. «Вот посижу чуточку, а когда они успокоятся, улизну незаметно», — утешил он себя.

Он открыл уши, и в уши ворвалось:

— Пусть Асет скажет тост!

— Асет, скажи что-нибудь!

«А что я вам скажу? — спросил он их мысленно. — Самые лучшие пожелания уже, разумеется, сказаны за вашим столом».

И все-таки он поднялся и произнес какие-то слова о любви, о молодости. Складно ли у него получилось, он не понял и сам. Сидевшие за столом закричали, захлопали, но они бы все равно кричали и хлопали, что им сейчас ни скажи, потому что были возбуждены.

— Товарищи, тишина! — подал голос тамада, поднимаясь.

Он снял галстук, подвернул рукава белой рубашки — что и говорить, парень трудился добросовестно, в поте лица, которое уже стало от выпитого и духоты малиновым.

— А ну-ка, споем Асету поздравительную! Раз!.. Два!.. Три! — скомандовал тамада и начал дирижировать.

И над столом зазвучал дружный хор:

Пусть будет счастлива сестренка твоя!
От всей души мы рады тебе, Асет…

Эту песенку, видать, они сочинили сами в его честь и разучили заранее. Куплеты, полные почтения к его особе, перемежались с шуточными, и безобидные шутки удваивали веселье.

«Молодцы, молодцы!» — похвалил Асет мысленно.

Он исподтишка вглядывался в их лица. С некоторыми из пирующих он когда-то бегал по улице, потом ходил в школу. Других, что помоложе, он едва помнил, а кое-кого не помнил, а может, и не знал вовсе.

«Молодцы, молодцы!» — повторил он. И все же ему было скучно и среди этих людей. Он был уверен, что они чересчур просты, не глубоки, что достаточно одного взгляда, и можно прочитать все, что написано в душе у любого из них. Терзания ума им не присущи. И

среди этих людей он начал путь в огромный сложный мир — в это даже не верится.

Он еще раз оглядел пирующих, проверяя свои выводы. Его взгляд наткнулся на все того же двоюродного братца Абдибая, сидевшего у дверей. Шофер и здесь был скуп на чувства. Сидел осоловевший, только изредка дул на длинный чуб, спадающий на глаза, да временами на его губах мелькала беглая ухмылка.

«Пора уходить. Как бы только отсюда выбраться?» — подумал Асет, и вдруг его взгляд остановился на молоденькой девушке с курносым веснушчатым личиком. Она пела вместе со всеми, задорно потряхивая короткой прической «под мальчика» и улыбалась Асету, будто предлагая разделить ее чудесное настроение. До красавицы ей было далеко, оттого, наверное, он поначалу и не обратил на нее внимания. Сидит себе средненькая девушка, ни красавица, ни дурнушка, и глазу не на чем задержаться. И нужно было ей запеть и улыбнуться, чтобы он как бы вдруг открыл ее для себя.

«Да нет же, и вовсе она не красивая», — сказал он себе и улыбнулся, глядя на ее веснушки, тоненькие брови полумесяцем, на темные искрящиеся озорством глаза, на всю ее милую курносую рожицу.

Он улыбнулся, и ему стало легко, словно чья-то ласковая рука сняла с него тяжесть своим прикосновением. Асет не заметил, как это произошло.

«Кто она? Чья это дочь?» — гадал он.

Время отныне превратилось в мгновенье. Асет уже не считал, сколько им спето песен и сколько он выпил, глядя при этом на удивительную девушку. Теперь ему казалось, будто никто на свете не умеет веселиться так естественно, вдохновенно, как веселятся в его родном ауле, и что нигде не найдешь таких богатых духовно людей, хоть объезди весь белый свет. Все вечеринки, что были там, в городе, вспомнились сплошь чем-то нудным, искусственным.

— Друзья! А сейчас танцы! — оповестил неутомимый тамада. — Базикен, возьми баян! Подайте баян Базикену!

Коротышка Базикен развернул мехи от плеча до плеча и тронул лады неверной рукой. Он напился до чертиков, пальцы его бегали наугад. Но это уже не имело значения. Стулья и стол сдвинули к стенке, и начались танцы.

Асет танцевал с веснушчатой незнакомкой. Теперь ее лицо проплывало перед его глазами, и вблизи оно было еще симпатичней. Асет сейчас же решил, что девушка очень красива и что такую прекрасную девушку он не встречал даже во сне.

Ему захотелось слегка подразнить ее, ласково, чтобы она не обиделась, поиграть с ней, точно с ребенком. Понимая, что школьницу сюда бы не пустили, значит, она уже закончила школу в этом или прошлом году, а может, и еще раньше, он шутливо спросил:

— Девочка, и в каком же ты учишься классе?

— В двенадцатом! — сказала она не поведя и бровью.

«Ого!» — удивился Асет, но отступать было поздно.

— Но в школе-то знают, что ты из седьмого класса. Завтра будут ругать, — продолжал он храбро.

— Ну, если будут ругать, я не пойду в школу.

— М-да, но если не пойдешь в школу, задаст взбучку мать.

— Вы думаете? — она прикинулась озабоченной.

— Еще какую взбучку!

— Ну если взбучку… Тогда я сбегу с джигитом.

— Кто этот счастливчик?

— Не скажу, — ответила девушка строго.

Она подняла лицо, и он увидел ее лукавые глаза.

К его досаде, танец прервался — коротышка Базикен заскучал по очередному стаканчику. Но вот он вытер губы, взялся вновь за баян, и веснушчатая девушка сама пригласила Асета. Она улыбалась ему.

— Милая, нельзя ли еще вопрос?

— Не лучше ли поставить точку?

«Ну и ну, да с ней держи ухо востро», — подумал Асет и, тщательно взвесив каждое слово, сказал:

— Но после точки можно начать новое предложение, не так ли?

— Разве что новое.

Тогда он, волнуясь, словно юноша, произнес:

— Ты еще не замужем?

— Нет! — ответила она вызывающе, и ее ответ почему-то доставил ему радость.

— А чья ты дочь?

— Шалгынбая!

Он помнил старика Шалгынбая, живущего на окраине аула, там, где начиналась дорога в предгорья, помнил его свирепых собак. Но вот дочь…

— А как тебя зовут, дочь Шалгынбая?

— Чинарой!

После танцев снова уселись за стол, снова посыпались тосты, но Асету хотелось увести отсюда Чинару, бродить с ней наедине по ночной улице. Он не знал, как это сделать, и боялся, что она не пойдет, вдобавок откажет при помощи своего острого язычка, и красней тогда от конфуза.

Наконец он решился и, когда глаза их встретились, указал взглядом на дверь. Чинара подняла брови, раздумывая, потом опустила глаза, и Асет понял, что она согласна. Они вышли поодиночке: он первым, она немного погодя; Асет тайком прихватил пальто, Чинара — свой плащик.

Он подождал девушку, прячась в тени за углом. Она появилась следом и сразу же нашла его. По ее тихому смеху он догадался, что она немножко захмелела.

Время перевалило за полночь. Их окружила загадочно молчаливая тьма. Со стороны гор дул ровный прохладный ветер.

Они побрели по пустынной улице, туда, где лежала невидимая, затаившаяся степь. Потом Асет остановился, взял за кисти рук Чинару и притянул к себе, вглядываясь сквозь темноту в ее лицо.

— Милая, сколько же тебе лет? — спросил Асет, он хотел продолжить игру, но сейчас, когда они очутились одни, голос его помимо воли прозвучал почти что серьезно.

— Милый, мне восемнадцать! — ответила она тоже почти серьезно.

— А мне двадцать семь, — произнес он с грустью, не потому что это было много, а потому что оказался значительно старше ее.

— Фи, меня это не интересует, — заявила Чинара, первой обретя прежний игривый тон.

Она откинула голову назад, ее глаза вызывающе мерцали.

— А зачем же ты вышла, когда я позвал? Может, я старый и хитрый волк?

— Я не боюсь! Я смелая!

— Ах, вот как! Тогда я тебя поцелую.

— Все равно не боюсь!

Асет наклонился над ее лицом, поцеловал в неподвижные прохладные губы. Она не ответила на поцелуй, только засмеялась, будто напоминая, что все, что сейчас происходит, нельзя принимать всерьез.

Они молча пошли по окраинным улицам. Иногда на них с оглашенным лаем бросались собаки, но, сообразив, что этим двоим не до них, отходили, и снова восстанавливалась тишина. Только слышно, как перетирают свою нескончаемую жвачку коровы.

— Милая, о чем ты думаешь? — спросил он наконец.

— О вас, дяденька!

— Хороший я или плохой?

— Ага!

— И какой же я, по-твоему?

— Плохой!

Асет остановился, заглянул в лицо девушки. На этот раз она не улыбалась, точно говорила всерьез. Это царапнуло по его самолюбию.

— Но почему тогда ты позволила себя целовать? Если я плохой? — спросил он уязвленно.

— Потому что вы мне понравились.

— Ты смеешься надо мной?

— Ага!

— А ну…

Девушка и вправду смеялась.

Они свернули в степь, поднялись на холм, что чернел, будто страж, на краю аула. У их ног лежали улицы, дома. Ветер донес неразборчивые слова песни, голоса пьяных.

— Ну вот, уже расходятся со свадьбы, — сказала девушка с сожалением.

— Ты хочешь домой? Если тебе пора, я провожу.

— А я не спешу, дяденька!

— Нет, отчего же! Я провожу.

— Все равно не пойду! Не хочу! Не пойду!

Она вдруг прильнула к его груди, прошептала:

— Дяденька, милый, мне холодно.

Асет обнял ее, стараясь согреть, долго целовал. Она закрыла глаза и отвечала неумело, беспомощно.

— Дяденька, расскажите что-нибудь, — попросила она потом.

— Что же тебе рассказать?

— Ну хотя бы спросите о чем-нибудь.

«О чем же ее спросить?» — подумал Асет.

— Ты хорошая или плохая?

— Не знаю сама… Наверное, хорошая.

«Милая, наверное, ты и в самом деле хорошая. Я совсем не знаю тебя. Но верю, что ты славная, даже очень славная девушка», — подумал Асет.

— Милая, а что скажут люди завтра? Ты не боишься?

— Мне-то какое дело. Но не будем об этом. Давайте поставим точку. Все!

— Голубушка, у тебя есть любимый?

— Нет, дяденька!

— Почему? Ты такая славная?

— Не знаю!

— А раньше ты целовалась?

— Только раз, когда училась в школе, с одним парнем. И вот теперь с вами.

Ни с того ни с сего Асет заревновал Чинару к тому, неизвестному парню, что однажды поцеловал ее.

— Где он сейчас? Этот «один парень»? — спросил он насупившись.

— Служит в армии.

— И вы, конечно, переписываетесь?

— Да, дяденька.

— И ты его любишь? — продолжал он придирчиво.

— Теперь не знаю… Раньше не любила точно, даже терпеть не могла, когда он был здесь. Ходит все, ходит, никак не отвяжешься. Потом он уехал, и я стала скучать. Наверное, так нужно: кого-нибудь ждать, скучать по ком-нибудь, — проговорила она задумчиво.

«Милая, ты нравишься мне все больше и больше. Увидел тебя, и все во мне будто перевернулось. Что и говорить, я влюбчивый человек — стоит появиться красивой девушке, и уже кругом идет голова. Но ты совсем другая, Чинара, особенная. Смелая, независимая», — произнес он мысленно.

— Дяденька, милый, я замерзла.

— Милая, но что же я могу поделать? У меня тоже зуб на зуб не попадает, — сказал он беспомощно.

— Погодите… Я придумала… Вон там, на крыше сарая, есть сено, я знаю. Давайте заберемся туда, а? — прошептала она заговорщически.

— Отличная идея! Пошли.

Он помог ей забраться на крышу, потом залез сам. Они зарылись в мягкое сухое сено. Сено шуршало, его горьковатые запахи щекотали ноздри. В горле запершило. Асет сморщился, чихнул, за ним чихнула девушка. Наконец они освоились, пригрелись.

— А здесь чудесно! — заявила Чинара. — Правда?

— Здесь великолепно!

— Представьте: открываются кавычки, а потом «бу-бу-бу», и кавычки закрываются. А теперь угадайте, что я сказала.

— Итак, кавычки открываются, и ты говоришь: «Дяденька, я никуда не пойду отсюда. Буду здесь спать». Кавычки закрываются. Не так ли?

— Вы просто читаете мысли… А в конце я поставила точку. Сейчас ваша очередь, начните с новой строчки. Вот вам тире, говорите!

— Милая, я тебя…

— Все ясно! Можете оставить многоточие.

Асет повернулся на спину, посмотрел на звезды. Они мигали, переливались. Чинара зашуршала сеном, прижалась к его плечу.

— Дяденька!

Он распахнул пальто и привлек девушку к себе. Около его лица поблескивали глаза Чинары, он угадывал в них страх и ожидание. Чинара замерла в его объятиях, он слышал ее неровное дыхание.

«Милая, где же ты была до сих пор? Почему ты опоздала на ярмарку, где раздают сердца? — подумал он в отчаянии. — Нет, опоздала не ты. У тебя все еще впереди. Это я ушел, не дождавшись тебя!»

Ему хотелось сказать ей что-нибудь особенно прекрасное. Он вспомнил слова: «Как нежен твой взгляд, милая…» Но это были чужие строки, чужие чувства. Он мог только позавидовать поэту.

— «Он совсем потерял голову, не знает, где явь, где сон», — произнесла Чинара.

— Что ты говоришь? — не понял Асет.

— Это я прочитала в одной книжке. В общем, там один герой влюбился и потерял голову, не знал, бедняга, где сон, где явь. Так в книжке и написано. Очень хорошая книжка! А моей подружке не нравится. Что это за герой, говорит, который теряет голову. А по-моему, это здорово! Потому что так бывает, когда много мыслей и голова трещит от них, разрывается. Правда, дяденька?

— Не знаю. Со мной этого не было.

— А со мной часто случается! Будто для меня написали. Ну и молодчина этот писатель!

Асет невольно позавидовал автору. Он как-то встречал его в Алма-Ате, и тот был для него человеком из плоти и крови. Наверно, поэтому ревность слегка кольнула Асета в сердце.

— Дяденька, милый! Вы чем-то расстроены?

— Я не расстроен. Просто задумался…

— Сказал мой дяденька расстроенно.

Они не выдержали, расхохотались разом, и Асет почувствовал, что напряженность, сковывавшая их, улетучилась. В сарае зафыркала, заржала растревоженная лошадь.

— Тише, — прошептала Чинара и приложила к его губам палец.

Они притихли, кажется, вовремя. Напротив, в окнах дома, вспыхнул яркий свет. Потом скрипнула дверь, и в полосе желтого света появился старик в нижнем белье, в чапане, наброшенном на плечи. Он осмотрелся, будто принюхиваясь, затем подошел к сараю, открыл дверь. Они услышали, как внизу чиркнула спичка и, приветствуя хозяина, заржал конь.

— Никого нет. Просто померещилось, — сказал старик самому себе и закрыл на засов двери сарая.

Он походил по двору, бормоча что-то под нос, и ушел в дом.

— Дяденька, уйдем отсюда. Я уже согрелась, — сказала Чинара.

Асет спрыгнул с крыши сарая и протянул руки. Девушка скользнула по сену вниз, он подхватил ее и, придержав на мгновенье ее тяжелое крепкое тело, опустил на землю.

Они еще отряхивались от сена, счищали его в темноте друг с друга, выйдя на середину улицы, когда надрывно прокричали первые петухи.

Небо на востоке стало чуть потемнее, а затем принялось светлеть, отгоняя ночь от горизонта. И ночь рассеивалась, отступала.

— Дяденька, постоим еще чуточку, а потом я побегу домой, ладно? — попросила девушка.

Они стояли посреди улицы, держась за руки. Блеклый предутренний свет смягчил черты ее лица, скрыл веснушки. Девушка посмотрела ему в глаза; взгляд ее был задумчивый и, как подумал с надеждой Асет, чуточку грустный.

— А о вас говорили, будто вы плохой человек.

— И что же? Каков я на самом деле? Неужели плохой?

Она покачала головой, словно отгоняя даже предположение, что он, Асет, может быть плохим.

— А вдруг они правы и вскоре ты разочаруешься?

Она опять покачала головой, затем спросила:

— Об этом вы уже, наверное, знаете. Ну, о том, что зимой застрелились парень и девушка?

— Мне рассказывали.

— Вы бы могли так поступить? — и она пристально взглянула ему в лицо.

— Не знаю, — сказал он, засмеявшись, и спросил себя мысленно: «В самом деле, а смог бы я?»

Он притянул ее к себе, прижался щекой к ее щеке, блаженно закрыл глаза. И опять в памяти всплыли чужие слова: «Какая чистая, какая чудесная…» Почему он сам не поэт?

Рука его задрожала, и девушка тотчас же вывернулась из его объятий.

— До свидания, дяденька! Мне пора!

Она побежала не оглядываясь.

«А что, возможно, и я бы мог застрелиться», — подумал он, глядя, как девушка спешит, спотыкаясь, по улице.

Чинара, словно услышала его мысли, вдруг обернулась и крикнула:

— Нет! Вы не сможете, дяденька! Вы уже взрослый!

Весь этот день Асет ходил в приподнятом настроении. Он знал, что по его лицу бродит глупая счастливая улыбка, ловил удивленные взгляды и зятя, и сестры, и соседей, но ничего не мог поделать с собой. У него было ощущение, будто его жизнь до сих пор протекала в каком-то сером, будничном сне, и вот он наконец проснулся и увидел то, ради чего можно жить по-настоящему, тяжело и самоотверженно.

Его то и дело тянуло на улицу, он подчинялся внутреннему зову, выходил на улицу и посматривал на дом со злыми собаками, что стоял на краю аула. Он ждал, что вот-вот мелькнет вдали ее фигурка.

«До чего же все удивительно в жизни, — размышлял Асет, — разве я мог представить лет десять назад, чем станет для меня дом Шалгынбая. И даже его собаки?»

Он проглядел все глаза, потому что Чинара не показывалась на улице, извелся, дожидаясь, когда повечереет, а день тянулся долго и нудно, можно подумать, что ему не будет конца. Он возлагал все надежды на вечер, потому что вечером жених поведет невесту в дом, а значит, вчерашние гости соберутся вновь, и, конечно, придет Чинара.

Торчать дома было сущей мукой, и после полудня он отправился гулять по аулу; на этот раз аул показался ему славным и в самом деле родным. Сначала он пошел к сараю, на крыше которого лежал с Чинарой, и увидел при дневном свете старую развалюху. Но не было сейчас, пожалуй, на земле более дорогого ему места. Этот сарайчик был единственным свидетелем счастья, которое пришло к нему, Асету, в эту ночь.

Потом он набрел на колхозный клуб и невольно вспомнил, как впервые в жизни целовался с девушкой. Они спрятались с Саулетай вон там, за клубом, у штабеля строительного камыша…

В ту зиму тяжело заболела мать, и он, окончив школу, остался в колхозе. Однажды он вез колхозное сено и увидел Саулетай. Она стояла возле своего дома, статная, румяная от мороза, и смеялась, глядя, как он приближается на санях. Ну что бы, казалось, из того, что Саулетай стоит на улице и смеется? Проезжай своей дорогой, потому что такая красавица не про тебя. Но в том-то и дело, что Саулетай сама остановила его.

— Асет, сбрось немного сена! Ну хотя бы пару вил! — крикнула красавица.

— Что ты?! Сено колхозное! Увидит бригадир — хлопот не оберешься, — ответил Асет растерянно.

— Асет, голубчик! Охапку всего, — взмолилась Саулетай.

Он не выдержал и сбросил вилами пласт сена к ее ногам.

— Спасибо! — сказала Саулетай, улыбаясь чарующе, и потом, когда он, отъехав, обернулся, помахала ему ладошкой, и после этого облик красавицы прочно обосновался в его еще не искушенной душе.

Вечером он залез в материнский сундук, стащил деньги и, сложившись с приятелями, купил бутылку водки. Выпив свою долю, он отправился в клуб на танцы. По правде говоря, доза была невелика, поэтому Асету пришлось прикидываться пьяным. Ему хотелось убедить девушек, что он уже стал вполне взрослым человеком.

Появившись в клубе, он сразу же подошел к Саулетай и, притворно покачиваясь, молча уставился на нее. Если бы кто-нибудь тогда заглянул в его душу, то обнаружил, что она трепещет, будто травинка на ветру.

— Ай-яй-яй, да никак он пьян! — воскликнула Саулетай, прикидываясь возмущенной.

— Пьян я или не пьян, тебя это не касается. Ну-ка, выйдем на улицу! — приказал он, храбрясь.

— Куда, куда? — удивилась она совершенно искренне.

— К штабелям! Поговорить надо, — объявил он, держась изо всех сил.

— Ишь, чего захотел. Ступай один, мне хорошо и здесь, — ответила она со смехом.

— Если не пойдешь, убью! Прямо сейчас и убью! — пригрозил он в отчаянии.

— Ты убьешь? Сам?

— А кто еще? Вот возьму и убью!

— Тогда пошли, — сказала она просто.

Когда они подошли к штабелям, от смелости Асета не осталось и следа. Он стоял перед Саулетай, беспомощно опустив руки, не зная, что говорить, что делать.

— Ты еще маленький. Тебе-то пить зачем? — заговорила Саулетай по-матерински.

— Кто это маленький? Я, что ли, маленький? — запетушился он вновь.

— Совсем ребенок, — сказала она.

— Тогда ты увидишь сейчас, какой я ребенок.

Он неумело обнял Саулетай, неуклюже ткнулся губами в ее щеку. Она оттолкнула его, тут они оба не устояли на ногах, повалились на камыши и захохотали…

С этого вечера менаду ними установились странные отношения. Не понять: вроде бы не пустое баловство и в то же время не назовешь любовью. Бывало, встретятся и ну дразнить друг дружку, будто смертельные враги, а потом заберутся в укромное место и целуются едва не до утра.

Весной в ауле появился студент, этакий франтоватый парень. Он приехал в колхоз на практику и в тот же вечер появился на танцах, смутив самых неприступных красавиц. Но студент отдал все внимание самой первой из них — Саулетай, и та мигом позабыла о существовании Асета. Бедняга долго переживал, не раз пытался о себе напомнить и даже написал душераздирающее письмо. Но девушка осталась непреклонной, и все его попытки кончились тем, что она запретила попадаться ей на глаза.

Всякой практике рано или поздно приходит конец, закончилась она и у студента. Он собрал свой тощий чемодан и укатил на станцию, оставив Саулетай с будущим ребенком в чреве. У Асета к этому времени случилось свое, теперь уже подлинное, несчастье — умерла его мать. Оправившись от горя, он подумал о своем житье-бытье и решил отправиться в город на учебу. И тут-то к нему подступила родня Саулетай. «Ты что же? Обесчестил доверчивую девушку и думаешь сбежать в город? Нет, мы заставим тебя жениться», — заявила родня Саулетай. А своя родня сказала так: «Женись, не позорь нас и не сей в ауле вражду». В райкоме комсомола его долго не снимали с учета, но потом добрые люди разобрались, что к чему, и он уехал из аула, пообещав никогда не возвращаться.

Сколько бед он хлебнул из-за Саулетай, но вот сегодня ему уже смешно, словно это случилось с кем-то другим. И он было подумал, а не отколоть ли такую штуку, — не зайти ли на почту, ну, скажем, для того, чтобы позвонить в Алма-Ату. А там, может, удастся поболтать с Саулетай и вполне по-дружески расспросить о том о сем, как, мол, сейчас поживает. Но пыл его быстро прошел. И к тому же эту не совсем серьезную идею вытеснили мысли о Чинаре.

А солнце засело на небе словно навсегда. Он исходил аул в ожидании вечера, ему надоело то и дело здороваться с людьми, которых он, в сущности, давно забыл и которые, в сущности, его уже не знали; его язык устал отвечать одно и то же: мол, так-то живу и столько-то получаю, а каждый встречный считал непременным долгом остановить Асета на улице и подступиться к нему с неизменными вопросами.

В конце концов он вернулся к дому сестры, сел на солнцепеке, и взгляд его тут же уперся в дом Шалгынбая.

«Что это со мной? — спросил он себя озадаченно. — Ну, если подумать серьезно? Солидный человек, женат, ребенок — и здрасьте! Люди узнают, засмеют так, что сгоришь от стыда. И все из-за девицы в конопушках».

Он пытался изгнать из себя облик Чинары и гнал его, точно беса. Но голос ее стоял в ушах: «Дяденька, милый…»

Губы его еще хранили память о ее губах, прохладных, неподатливых, а руки помнили прикосновение ее пальцев. Да что там говорить…

«Благо еще была бы красавица. Сплошные веснушки», — сказал он себе.

Он вызывал в памяти образы других женщин, что нравились ему когда-то, и бросил этот собранный наспех отряд против Чинары. Но те мигом слиняли, потускнели перед ее яркими веснушками и курносым носом. Тогда он сдался окончательно.

Наконец солнце все же закатилось, и вечер настал. Асет отправился вместе с Куракбаем в дом, куда его племянница вошла невесткой. Его пригласили к почетным гостям, но он решительно отказался и заявил, что намерен праздновать вместе с молодежью.

Вступив в дом, отданный самой буйной части гостей, он увидел почти весь вчерашний состав. Не хватало одной Чинары. Уж он оглядел сидящих за столом хорошенько — не скрылась ли она за чужой спиной. Но Чинары не было. Зато сегодня на свадьбе появилась Саулетай.

Асета усадили на почетное место, и он обнаружил, что сидит напротив Саулетай и что она пристально изучает его. Он заерзал на стуле, почувствовал себя стесненным, его щеки залило жаром.

Стараясь скрыть волнение, он помахал перед разгоряченным лицом ладонью и обратился к соседям:

— А в доме, кажется, жарко.

Он вертел головой каждый раз, когда кто-нибудь входил в комнату. У него уже заболела шея, и уже вчерашний тамада провозгласил первый тост, а Чинара так и не пришла.

За первым тостом последовал второй, за ним третий, так дошло, наверно, и до десятого. Когда коротышка Базикен вооружился баяном и наступил неизбежный черед песен и танцев, Асет сослался на духоту и вышел на улицу.

Как и вчера, ночь стояла темная, безлунная, с гор задувал будто бы все тот же вчерашний ветер. Асет засунул руки в карманы пальто и зашагал по улице. Только теперь он заметил, что выпил все-таки порядочно. Мысли в голове роились, путались. Вскоре он обнаружил, что стоит около дома старика Шалгынбая.

Асет сделал было шаг к дому и заколебался. Ну, допустим, он постучится, и его впустят внутрь, что он скажет хозяевам? Чем объяснит свое появление? Да и удастся ли увести девушку прямо на глазах у Шалгынбая? Если старик что-нибудь заподозрит, тогда только держись…

Во дворе сразу же до хрипа, яростно залаяли собаки. Сколько их там — в темноте не счесть. Асет подумал, что каждая из них во всяком случае размером с годовалого теленка. Слава богу, хоть еще привязаны.

«А, была не была!» — сказал себе Асет, выдернул кол из ограды, подошел к окну. Между занавесками оставалась узенькая щель, он заглянул через щель в комнату и увидел все семейство Шалгынбая. Старик, его жена, их дочь и двое мальчишек сидели за столом и пили чай.

Асет постучал, надеясь на то, что к окну подойдет Чинара, но вместо нее поднялся один из мальчишек. Асет отпрянул в сторону, прижался к стене.

— Кто там? — спросил мальчишка.

Он, наверное, прижался носом к стеклу, всматриваясь в темноту. Асет выждал немного и постучал снова.

На этот раз мальчишка выскочил на улицу. Асет успел спрятаться за углом.

— Эй, кто там? Что нужно? — рассердился мальчишка.

Он постоял, дожидаясь ответа, затем громко сказал, обращаясь в темноту:

— Ну, вот что: Чинара не выйдет! — И добавил, словно в раздумье: — Спустить, что ли, собак?

Асет так и замер, крепко сжимая кол.

— Ладно, но если еще будешь стучать, спущу собак обязательно! — предупредил мальчишка и ушел в дом.

Асет пошел назад. «Может, это к лучшему», — сказал он себе.

Над ним прямо-таки кишели бесчисленные звезды; точно пыль, клубился Млечный Путь. Будто кто-то недавно проехал, разделив небо надвое.

«Завтра уеду, и на этом все кончится. Прощай, аул, — подумал Асет, — как там сынок и жена?» Он вспомнил, как сын плакал на перроне, тянул к нему ручонки. Теперь-то он спит, вкусно причмокивая. А жена, наверное, тревожится — еще не привыкла к его поездкам, — ходит по комнате, прислушивается к каждому стуку. Надо было взять ее с собой: ей-то, городской женщине, все здесь в новинку.

Потом он вспомнил своих друзей. Может, сидят в эту минуту в ресторане, и кто-нибудь, подняв рюмку, говорит: «Давайте-ка выпьем за Асета». Ну разве не счастлив тот человек, о котором помнят другие люди?..

У дверей маячила рослая фигура. Вот она попала в полосу света, вырывающегося из прихожей, и он узнал своего братца Абдибая. Абдибай расхаживал, точно маятник, туда-сюда, сюда-туда, поджидая кого-то. Асет впервые видел его таким нетерпеливым. Заметив брата, Абдибай устремился навстречу.

— Машина на ходу? — спросил его Асет. — Завтра уезжаю. Отвези пораньше.

— Машина-то готова, — сказал братец и неожиданно добавил: — Чинара придет попозже. Вот только уснет отец.

Господи, откуда он знает? И это получилось так вдруг, словно мягкий удар в лицо. И удар ли? Асет промолчал, застигнутый врасплох, а Абдибай ничего не спрашивал. Сообщил и успокоился.

Они вошли в дом. Веселье было в разгаре, и Асет с первого же взгляда понял, что молодой народ занят игрой в «соседи».

— Иди-ка сюда, Асет! Подыщи себе соседку, — потребовал ведущий и поднял молодого парня, сидевшего рядом с Саулетай: — Лепешка, а ну-ка, освободи место для гостя.

Асет беспомощно потоптался и, не придумав ничего такого, что позволило бы ему увильнуть, сел возле Саулетай.

— Здравствуй, — прошептал он не своим голосом.

— Здравствуй, — так же, шепотом, ответила Саулетай, видимо, и ей было не по себе.

— Итак, — начал ведущий, — вначале отвечают девушки: дружат ли они со своими соседями. Та, что не дружит, может купить соседа по душе. Начнем, Лейла, с тебя… Дружишь ли с соседом?

— Что ты! Вечно в ссоре. Не дает житья, только и знает, что ругается, — заявила, смеясь, светлолицая девушка.

— А чей сосед тебе нравится?

— Сосед Битайки!

— Битай, и ты отдаешь своего соседа?

— Как бы не так!

— Битай не хочет расставаться с соседом. Лейла, какую казнь ты предлагаешь?

— Пусть споет.

И поползла игра по кругу. Асет и Саулетай сидели в напряженном молчании, точно подстерегали друг друга, ждали своей очереди. Временами его так и тянуло взглянуть на Саулетай, хотя бы краешком глаза, и он уступал своему желанию и косил глазом. Порой он замечал, что взгляд соседки тоже тянется в его сторону.

«Красивая, ах, какая красивая!» — сказал он себе.

— Саулетай! — раздался голос ведущего. — А вы с соседом дружны?

— Дружна, — быстро сказала Саулетай.

— Докажите.

Теперь Асет решился взглянуть на нее в упор, но глаза Саулетай были стыдливо опущены.

— В мире мы, — пробормотала она.

— Это на словах. А вы покажите нам на деле, какие вы дружные. Тогда мы поверим, — не унимался ведущий. — Мы ждем! — сказал он грозно.

Саулетай повернулась к Асету и слегка коснулась губами его щеки.

— Давно бы так, — одобрил ведущий.

— Ну что ты пристал? Ну, прямо душу вымотал, — засмеялась Саулетай, и Асет заметил в ее голосе ощущение свободы, точно она раскрепостилась от чего-то.

Асет и сам чувствовал, как проходит ощущение скованности, — теперь их взгляды встречались без прежнего стеснения. Он в открытую смотрел на нее, замечал следы пережитого и думал: «Вот бедняжка…»

Саулетай что-то прочла в его лице и спросила:

— Когда уезжаешь?

— Завтра.

— Почему так спешно?

— Дела… Работа…

— Ученым стал. Наверное, тебе скучно здесь.

Асет неопределенно пожал плечами.

Саулетай сказала что-то еще, но он уже не слушал, потому что в этот момент в комнату вошла улыбающаяся Чинара.

Она присела возле Абдибая, и они быстро-быстро зашептались, посмеиваясь то и дело. Ни дать ни взять — две кумушки.

Асет ждал, когда же она посмотрит на него, готовый тут же ответить ей самым красноречивым взглядом. Но Чинара непростительно долго не замечала его.

«Что случилось? Ведь она знает отлично, что я здесь», — подумал он, морщась от обиды.

— У тебя что-нибудь болит? — встревожилась Саулетай.

— Нет, нет. Не беспокойся.

— Друзья, а теперь соседи танцуют. Учтите: сосед с соседкой! — объявил ведущий.

Кто-то включил радиолу, на всю комнату загремел вальс, несколько пар закружились между столом и дальней стенкой, и среди них — Чинара с Абдибаем. Даже теперь она шепчет Абдибаю что-то и смеется, смеется счастливо.

Асет подумал, что нужно сейчас же вызвать ее на улицу. Но Чинара, точно ослепла, не замечала его. Он начал нервничать, не зная, как подать ей знак, чтобы никто не заметил.

Когда первый танец закончился, Асет решил, что пригласит ее на второй, но, пока он пробирался между стульями, она опять пошла танцевать с Абдибаем.

«Милая моя, я здесь, слышишь? Вот он я, перед твоими глазами! Ну взгляни хоть разок!» — взмолился он в отчаянии, но ее взгляд скользил мимо него, точно его, Асета, и не было вовсе.

И только когда он рассердился, пошел из комнаты и проходил мимо нее, она взглянула на него, улыбнулась и произнесла:

— Здравствуйте!

Он замер в ожидании, но она отвернулась, и Асет, еле удержав в себе возмущение, кивнул с достоинством и вышел из дома.

В него будто бы вселился дьявол, и подзуживал, и подзуживал, нашептывал о мужской чести, разжигал в нем ярость. Асет стоял посреди двора, сжимая кулаки, а мимо туда-сюда ходили люди, хлопотали у вереницы самоваров, и никому до него не было дела. Видать, аульчане привыкли к нему за один день.

Асет прошагал вдоль строя посвистывающих, посапывающих самоваров, вышел на улицу и направился к окраине аула, к тому холму, на который он вчера поднялся вместе с Чинарой.

Холм был открыт всем ветрам, и Асету стало холодно. Внизу горели, помигивали огни аула.

Асет вспомнил слова Чинары: «Он потерял голову, не знает, где явь, где сон…» Засмеялся, — глупенькая, что она понимает? И ему стало легче, он постепенно приходил в себя. Теперь уж он и не сказал бы толком, кто виноват и на кого следует обижаться.

Он еще долго стоял на холме, глядя на отходящий ко сну аул, на молчаливую, плотно укутавшуюся во мглу вершину Ешкиульмеса. Эти места уже давно не вызывали в нем сентиментального умиления. Они были просто дороги, как то, что напоминает нам о добром и ушедшем навсегда.

Он посмотрел на запад. Там, почти у горизонта, тянулась тонкая, словно живая, цепочка огней железнодорожной станции. Он подумал: где же сейчас проводница, по каким местам мчит ее поезд? Так бы и ехали они сейчас, оба грустные и счастливые, понимающие друг друга с полуслова. А впрочем, он правильно сделал, что сошел. Все равно где-то пришлось бы сойти, рано или поздно.

«Да что это происходит со мной? — спросил он, точно встряхнувшись. — От водки или от глупости? А ну-ка, брось валять дурака. Взрослый человек, возьми себя в руки. Сам же потом посмеешься над собой вместе с друзьями… И все-таки: «Как нежен твой взгляд, милая…» Черт побери, находят же слова эти поэты!»

От хмеля не осталось и следа — все выдул ветер. Дрожа от холода, Асет спустился в аул. Сейчас он возьмет пальто и отправится в дом сестры, ляжет спать, спать, спать… А утром — на станцию.

До ограды еще оставалось с полсотни шагов, когда его ухо уловило мелодию старинной песни. Женский голос тосковал по молодости, сожалел о красоте, к которым никогда не вернешься.

Асет застыл на месте, навострил уши, точно зверь. Песня гипнотизировала его, манила, и он, подчиняясь ее силе, пошел на голос.

Пели на кухне. Там, в дыму, за большим столом собрались женщины. Целый день они кормили, поили гостей и вот теперь постелили скатерть себе, решили поесть и выпить, да, видно, из-за песни забыли про еду.

Посреди их компании сидела Загипа в съехавшем набок платке и, закрыв глаза, раскачиваясь на стуле, запевала:

На выси Ушкары, как два барабана,
Бьют родники, вода течет широкой рекой.
Какие там красивые парни и девушки,
И зачем только я покинула этот желанный край?

Около нее крутился мальчик лет десяти, теребил ее за рукав, хныкал:

— Мама, пойдем домой! Я хочу спать!

А по изможденному лицу Загипы струились редкие слезы. Кто знает, может, она просто пьяна?

В душе Асета все перевернулось, будто в нее ворвался ураган, поднял все его прежние желания, мечты, закружил, бросил ему в лицо, словно хотел показать: вот о чем ты мечтал. «Господи, ради чего мы живем, — думал Асет, — для того, чтобы жалеть о своем прошлом? Почему мы уходим от того, что нам кажется прекрасным?»

Какие там красивые парни и девушки,
И зачем только я покинула этот желанный край?

И не случится ли и с ним подобное. Но где ты, Ушкара? Где то прекрасное племя смелых парней и чудесных девушек, о котором мечтал певец? Ах, если бы знать! Может, его собственная Ушкара останется здесь? Человек ненасытен, все-то ему мало. Мало ему одной Ушкары. Найдет ее — и дальше, дальше…

Асет незаметно вышел и направился к дому сестры. Пальто он возьмет утром, зайдет перед отъездом. А пока бы пораньше уснуть. Перед дальней дорогой.

КУСЕН-КУСЕКЕ

1

Выгонял он овец на выпасы еще до восхода солнца. Так было в течение многих лет и постепенно стало привычкой. Такой уж привычкой, что едва еще только пробивается через щели в юрту тусклый предутренний свет, а Кусену уже не спится.

К утру в юрте зябко, уже осень, понизу дует совсем остывший за ночь ветер. Кусен одевается, поеживаясь от холода, искоса поглядывая на сладко посапывающих детишек. Все трое малышей спят под одним одеялом, и порой лежащий с краю раскрывается во сне. Тогда Кусен осторожно укрывает его одеялом, подтыкает под бочок.

Обычно в это же время возвращается его жена Айша. Она всю ночь сторожит отару и входит в юрту совсем измученная от усталости, разбитая до того, что сразу валится на постель рядом с детьми, даже не раздевшись, успев только закутать голову телогрейкой.

Одевшись, Кусен подходит к деревянному сундуку, стоящему у двери, разворачивает старую шубу и добирается до кастрюли с айраном — кислым молоком. Бывает и так, что айран заквашивают только вечером, и оттого он еще тепловат. Но все равно это ни с чем не сравнимый айран, и Кусену в такие минуты нет ничего отрадней его кисло-сладкого привкуса во рту. Кусен наполняет айраном деревянную чашку и, помешав ложкой, жадно пьет до дна.

Потом он выходит из юрты, оглядывает степь, обрызганную росой, прислушивается к тишине — словом, изучает погоду. Его узкие серые глаза все еще красны после сна и слегка слезятся от прохлады. Он трет глаза кулаками и расчесывает бороду пальцами с темными обломанными ногтями. В бороде-то пять-шесть волосенок, а по щекам реденькая щетина, точно колючки, выросшие на такыре.

— Вот что, возьму-ка и побреюсь, — говорит себе Кусен.

Но тут же он вспоминает, что теплой воды нет, а холодная… брр… и от его решения не остается и следа.

— Ладно, побреюсь днем. Вот приеду на обед, тогда и побреюсь, — успокаивает он себя без особых усилий и направляется к

своему рыжему жеребцу.

Напоив жеребца, он седлает его, садится верхом и распахивает дверцы загона. Овцы обтекают его, будто пена, а он пересчитывает их, шевеля губами. Иногда у него плохое настроение, в этом случае он не утруждает себя счетом, говоря в оправдание:

— А, куда они денутся!

Он гонит отару по хребтовинам холмов и, если день намечается ясный, норовит, как и все чабаны, угнать овец подальше, приберегая ближние травы на худшие времена.

А проклятые овцы будто только тем и заняты, чтобы извести чабана по дороге. Вот одна ушла в сторону, за ней вторая. И Кусену приходится бренчать жестяной банкой, привязанной к шесту — куруку, и вопить во все горло:

— Эй, куда вас, леших, несет? Назад! Назад! — и так, пока непослушные овцы не вернутся в отару.

Рыжий конь под Кусеном обленился вконец, распознав покладистый нрав хозяина. Как ни шпорь его каблуками, трусит себе не торопясь. Кусен и сам постепенно привык к этому, не обижался на рыжего и временами даже обращался к нему, точно к приятелю:

— Ты только полюбуйся на эту безрогую! Вот чертова овца. Нет чтобы пойти туда, где сочная трава. Так ее тянет на камни!

Солнце застает его и отару уже на пастбище. Кусен глядит, как поднимается огромный багровый диск и лижет степь алым языком. Потом солнце сжимается, начинает белеть от накала. Вот первый белый луч падает на щеки, и Кусен чувствует его тепло. И куда подевалась роса? Только что играла серебром, и вот уже над землей поднимается пар. Настоянные за лето на солнце, начинают пахнуть травы. И заводят песни отогревшиеся воробьи. Они садятся на спины овец, бьют крыльями, точно плещутся в лучах солнца. А овцы хрустят стебельками типчака и еще такой травой, что чудно называется «устели-поле».

Кусен следит за восходом солнца и покачивает головой, сообщает и себе и овцам:

— Ай-ай-ай, день-то как убывает. Дней пять-то назад вон оно поднималось где. У той седловины.

С осенней погодой у Кусена тесные отношения. Когда небо чистое, ясное и теплое, у него хорошее настроение. Если погода

портится, у Кусена тоскливо на душе. И тогда дни ему кажутся однообразными, опостылевшими, он чувствует себя старым, изможенным. Тогда его тянет к людям. Ему хочется, чтобы хоть кто-нибудь приехал к нему погостить. А он бы заколол по такому случаю овцу, и в доме началась бы торжественная и веселая суета.

Но вот только странно как получается. Стоит все-таки приехать кому-нибудь из гостей, как следом спешат другие. То никто не навещает его, а то будто сговорились: налетают таким табуном, что в юрте и сесть-то некуда.

Так и случилось в прошлый раз. Вначале приехал племянник с женой и двумя ребятишками. Племянник живет далеко, и Кусен давно не виделся с ним. По этому случаю он заколол овцу, и жена приготовила все, что нужно. Но только сели за дастархан, пожаловал зять с тремя товарищами. Хороший человек его зять, и спутники зятя, видать, славные джигиты, ну как не порадоваться их появлению! Тем более дочь велела им сообщить отцу, что заскучала по жирному бараньему бульону. А это значит — подавай ей овечку! Ну, да разве жалко для дочки овцу? В общем, к полуночи разобрались и только усадили новых гостей за дастархан, как за стенами юрты остановилась машина. Кусен наскоро вытер руки, выбежал из юрты и увидел газик, набитый людьми. Это приехал двоюродный брат, очень большой человек, работающий ответственным секретарем в райисполкоме. А вместе с ним бабушка, жена и вся галдящая, неугомонная детвора.

Они-то привезли для детей Кусена ворох всякой всячины: тут тебе и маечки, и рубашонки, и много еще кое-чего.

Новые гости? Хорошо! И хотя еще цел, не съеден прежний барашек, в честь новоприбывших прирезали нового. Таков обычай!

Наконец все расселись за угощением и начался праздник, который шел три дня. И все это время он и жена страшно переживали оттого, что в тесной юрте не могли разместить всех гостей подобающим образом. Сам Кусен все эти ночи спал на крыше кошары, закутавшись в шубу. Потом гости разъехались по домам; они получили в подарок по овце и, видимо, остались очень довольны его гостеприимством. А он, Кусен, и его семья остались одни среди разора.

Не то чтобы жалко было Кусену съеденного, выпитого и сломанного, просто ему хотелось, чтобы они приезжали не все одновременно, а по очереди, так, чтобы гости никогда не переводились

в его юрте. А то вот приехали все одновременно в последний раз, и теперь целый месяц не будет ни души.

Частенько и он, и жена Айша, и дети поглядывают на дорогу, которая ведет к центральной усадьбе, но с тех пор гости не показывали носа. «Господи, не оставь нас без гостей, пришли к нам кого-нибудь», — молит про себя Кусен.

Но у него еще есть в запасе козырь, который он бережет напоследок. Он может съездить разок на центральную усадьбу за получкой. Вначале он, конечно, зайдет в бухгалтерию, подсчитает трудодни, и свои и жены, что они заработали за все лето, затем получит деньги, и после этого начнется главное. Дня три он будет гостить у родичей, веселиться и пить водку досыта. А потом, нагостившись вдоволь, приятно устав, вернется домой.

И вот теперь Кусен чувствовал, что приближается момент, когда грех откладывать эту соблазнительную поездку. Неспроста в последнее время его губы сами подсчитывали про себя: мол, в этом году он и жена настригли шерсти больше обычного, а за это полагается добавочная плата, как ни говори, и приплод ныне увесистый — это тоже деньги. Так губы и шепчут:

— Семь прибавить восемь, один в уме…

К губам присоединяются пальцы, тоже начинают ворожить:

— Семь и четыре — одиннадцать…

— Айша, а неплохо мы, кажется, поработали в этом году. Больше, чем в прошлом, — не выдерживает он, обращаясь к жене.

— Вот и хорошо, пошлем ребятам, — отвечает Айша.

— Пошлем, — соглашается Кусен.

Кроме трех меньших, у них еще четверо детей. Трое пока учатся: кто в техникуме, кто в школе-интернате. А старшая дочь уже замужем и живет далеко-далеко.

— Поможем, жена, поможем обязательно, — обещает Кусен.

Словом, все идет к тому, что пора съездить на центральную усадьбу. И Айша тоже не против.

— Съезди, съезди, — говорит она, — если хочешь, съезди, пока есть погода.

Но как всегда бывает в таких случаях, накопилась куча дел. То понадобились дрова, то прохудилась крыша кошары. Потом детишки

поили коня, погоняв его перед этим, и конь заболел. И многие другие мелочи цепляли его за полы, оттягивая отъезд.

Однако спозаранку он поднялся с твердой решимостью попасть на центральную усадьбу, что бы там ни стряслось.

Конь — самое главное в этой затее, потому он начал со своего рыжего жеребца. Захлопотал вокруг него — сводил к родникам на водопой, надел ему на морду мешочек с зерном и, пока Рыжий шумно жевал, расчесал ему хвост и гриву, счистил засохший пот со спины.

«Ну, вот и Рыжий в порядке, — удовлетворенно сказал себе Кусен и на радостях добавил: — Так уж и быть, поеду завтра, но завтра — это уже точно, накажи меня бог».

Пока он спал, ударили заморозки. Солнце еще не взошло, поэтому кошару, и юрту, и всю степь, куда доставал глаз, будто покрывали солончаками.

Одна из собак, дремавших на крыше кошары, подняла голову, послушала секунду-другую и залаяла. За ней забрехали остальные собаки. Кусен опустил гриву коня и навострил ухо. По дороге приближался гул автомобильного мотора.

«Э, кого это несет в такую рань? Неспроста, видно», — заинтересовался Кусен.

Он перешел на место, откуда просматривалась вся дорога, и увидел приближающуюся водовозку.

Водовозка обычно стояла на овцеферме, в штабе, как говорил заведующий. Ему самому это было на руку, потому что он частенько разъезжал на ней, словно на личной машине.

Вот и сейчас за стеклом кабины виднелось его широкое скуластое лицо. Между ним и шофером сидел заведующий ларьком Бисултан.

Шофер завертел рулем, будто хотел его вывинтить, и машина описала сумасшедший полукруг. Кусен подумал, не отойти ли подальше, мало ли что можно ждать от неразумной машины и молодого шофера, но потом решил сохранить достоинство и остался на месте, окаменев.

К его облегчению, водовозка остановилась, из кабины энергично выпрыгнул заведующий овцефермой и сказал, обращаясь к спутникам:

— А что я говорил? Видите, он уже собрался! Опоздай мы на минуту, и потом ищи его по степи.

Затем он протянул Кусену ладонь и произнес уважительно:

— Здравствуй, Кусеке! Вижу, ты уже собрался на выпас? Нет, нет у вас покоя ни днем ни ночью. Почетная, но трудная работа, что и говорить… Как твои дети, Кусеке? Живы, здоровы? Айша, наверное, спит? Шаль! У нее такой айран, язык проглотишь. Впрочем, пусть спит. Мы сами найдем его! Верно, Кусеке?

Кусен не успел и рта раскрыть, а заведующий овцефермой подмигнул ему, ткнул пальцем в живот, вошел в юрту без приглашения и начал хозяйничать, будто свой человек: развернул шубу на сундуке, налил айрана в чашку, из которой еще недавно пил Кусен, вышел наружу и начал пить, причмокивая и точно удивляясь. Уж таким был этот человек, заведующий, все норовил прикинуться своим, зная, что тогда чабаны будут всегда уступчивы.

— Вкусный, как мед, — заключил он, вытирая губы рукавом, и Кусен подумал, что заведующий льстит неспроста.

Вот так он всегда: если эта бесхвостая лиса приезжает по серьезному делу, прежде начинает делать заходы, и обманом возьмет, и гипнозом возьмет, и слова-то такие найдет, что попробуй устоять перед ним.

«С чем же ты приехал сейчас, а?» — усмехнулся Кусен мысленно.

А заведующий уже засунул голову в двери кошары, сделал вид, будто заинтересовался овцами Кусена.

— Твои овцы тучнеют не по дням, а по часам, Кусеке, — заявил заведующий и даже прищелкнул пальцами, — в этом году первое место твое, Кусеке! Правда, все хвалят Билиспая. А я не знаю, за что. Его овцы — форменные скелеты по сравнению с твоими. Если так пойдет и дальше, считай, что орден уже на твоей груди! — закончил он торжественно.

Кусен с первой минуты понял, что заведующий ублажает его с какой-то целью, и все же ему приятно было услышать про орден и про то, что его овцы жирнее, чем у Билиспая, извечного соперника в трудовом соревновании.

— Время покажет. Ты же знаешь, я не жалею себя, — пробормотал Кусен, стараясь казаться скромным.

— Нет, орден тебе будет обязательно! И не спорь со мной! — возмутился заведующий, будто все это дело было в его руках и будто сам Кусен отказывается от ордена.

После этого заведующий овцефермой решил, что Кусен достаточно обработан, и открыл причину своего появления. Оказалось, что в ларек нагрянула ревизия и у заведующего ларьком Бисултана обнаружена недостача.

— Все мы виноваты, Кусеке. Один брал в долг одно, другой — другое. Разве всех упомнишь? — сказал заведующий овцефермой.

— Конечно, конечно, — закивал Кусен, боясь, что люди подумают, будто он не доверяет Бисултану.

И кротко стоявший рядышком Бисултан тоже кивнул: мол, так оно и было.

— Сумма собралась немалая. Где ему собрать за три дня? Неужели мы, добрые люди, позволим, чтобы такой хороший человек, как наш Бисултан, попал под суд? А, Кусеке? — опять спросил заведующий овцефермой, а круглое лицо Бисултана стало грустным-грустным.

— Конечно, не позволим! Зачем под суд? — горячо согласился Кусен.

— Доставай бумагу, — сказал заведующий овцефермой Бисултану, и тот извлек из кармана свернутый лист бумаги и химический карандаш.

Когда Бисултан развернул бумагу, Кусен увидел список чабанов и нашел свою фамилию. Против нее стояла цифра сто.

— С тебя причитается сто рублей. Если не жалко, — пояснил Бисултан.

— Почему жалко? — испугался Кусен.

Он взялся было за карандаш, но услышал, как заведующий овцефермой сказал шоферу:

— Между прочим, какой молодец этот Билиспай, а?

— Что сделал Билиспай? — насторожился Кусен.

— Да вот до вас мы к нему заехали, говорит: «Почему сто рублей? — Тут заведующий овцефермой сделал паузу, а затем закончил так: — Для такого дела не жалко и сто пятьдесят!» Вот он какой, Билиспай!

Кусен сейчас же заглянул в список и обнаружил, что цифра сто против фамилии Билиспая и вправду исправлена на сто пятьдесят. Кусен узнал его корявую руку. Не сказав ни слова, он послюнявил карандаш и переправил свою сотню на сто шестьдесят. Бисултан

крякнул восторженно, а заведующий овцефермой хлопнул Кусена по плечу и сказал:

— Молодец, Кусен! Так и знал, что обгонишь Билиспая!

И опять принялся расхваливать Кусена на все лады. Водовозка тронулась и выехала на дорогу, а до Кусена все еще доносилось, как заведующий овцефермой расписывает его и так и эдак.

Кусен покачал головой, дивясь неутомимости заведующего, и начал седлать коня.

2

В тот день он отогнал овец на шесть километров от кошары, в холмы, поросшие чием и кияком. Здесь он снял с Рыжего удила, ослабил подпругу, пустив этого ленивца пастись на свободе, а сам выбрал холм повыше, поднялся на него и прилег на бок. Вокруг, под ним, распростерлась степь с бесчисленными отарами овец, с маленькими, отсюда черными, поездами, бегущими у самой линии горизонта.

Он поглядывает на овец и на поезда со своего высокого ложа и перебирает в памяти прожитые годы. Вспоминает, как ему не хотелось учиться в школе, как он убегал домой и отец отвозил его обратно, посадив на коня за своей спиной. Тогда еще не было колхозов, люди жили в голоде и нищете. Он видел сам, как умирали от истощения. Выжить могли только те, кто пас скот. Потому-то он и пошел в чабаны.

Иногда его мысли перебивала тревога. Приходилось садиться на коня и, позвав с собой собак, гнать отбившуюся овцу в отару. Вернувшись на холм, он опять отпускал Рыжего и вновь погружался в раздумья.

Он уже привык мириться с тем, что на многие километры вокруг нет ни одной человеческой души, только овцы, собаки и лошадь. Зато каждый раз было большим праздником, когда его посылали на какое-нибудь совещание, где собирается много людей. А если ехал кто-нибудь другой, он не обижался. Не ради славы он пасет овец. Люди хотят есть, а для этого нужно много овец. Да и о собственных детях приходится думать. Вон их сколько, целая рота детей, и каждому помоги. Так что ему не до славы. Правда, в последнее время его душу

растревожили этим орденом. Председатель придет — говорит. Заведующий овцефермой тоже говорит. И теперь ему очень хочется, чтобы на его грудь повесили большой красивый орден. А однажды ему приснилось, будто ему вручили этот самый орден. Вручили, а сказать не сказали, как приделать на грудь. Уж старался и так и эдак — ничего не выходит. Он проснулся в холодном поту среди ночи. Подумав, счел странный сон плохим знамением и испугался, как бы орден, который он ждет, не перехватил Билиспай.

Он и сейчас начал думать о том, что бы все-таки значил этот сон, но мысли его укачивали, и он не заметил, как уснул. А солнышко грело его суставы и поясницу. Погода позаботилась сегодня о нем. А то как задуют ветры, тут уж ты дрожишь, ежишься, а все мысли сводятся к тому, чтобы уберечь поясницу. В такие дни все против тебя. Овцы шалеют от ветра, и ты не слезаешь с коня с утра до вечера. И тебе кажется, что нет на земле более проклятой доли, чем доля чабана.

Проснулся Кусен от собственного храпа. Так уж с ним бывало нередко, когда его пугал собственный храп и он просыпался. Проснувшись, он почувствовал на затылке чей-то пристальный взгляд.

Он живо перевернулся и увидел широкоплечего парня, который сидел на неоседланном жеребце, — ни дать ни взять кобчик, нацелившийся на жертву. Лицо парня было усеяно рябинами, словно некогда по нему густо пальнули дробью. Ноздри приплюснутого носа возбужденно трепетали. Кусен сразу узнал чабана с первой фермы — Тургали, известного сумасброда и забияку.

— А, это ты, Кусен? — произнес Тургали без всякого почтения и, тронув пятками коня, подъехал так близко, словно собирался затоптать Кусена копытами.

На первых порах Кусен онемел от этой бесцеремонности.

— Я-то думаю, какой нахал залез на мое пастбище. А это, выходит, ты, старый хрыч. Может, скажешь, почему ты пригнал сюда своих паршивых овец? — продолжал Тургали, глядя на Кусена с высоты своего коня.

— Это земля колхозная, и каждый здесь может пасти овец, — возразил Кусен, поднимаясь.

— Ну, вот что: сейчас же выметайся отсюда. У меня разговор короткий, — заметил Тургали.

— Тургали, ты в своем уме? Что ты говоришь? — изумился Кусен.

— Я сказал то, что ты слышал. Убирайся из этих мест! — заорал Тургали.

Тут уж рассердился и Кусен. Он не любил грубых людей, но старался не обращать на них внимания и даже в душе жалел таких, словно больных или обиженных богом. Однако Тургали перешел все границы.

— Ты что шумишь? Знаешь, кто ты? Ты — грубиян! — сурово сказал Кусен и пошел к своему Рыжему.

Тургали не трогался с места, сидел, точно изваяние. Наконец он потряс кулаком и крикнул:

— Здесь я буду пасти своих овец! А ты уходи!

— Как будто мои овцы не колхозные, а? — усмехнулся Кусен и направил коня на Тургали.

— Не приближайся! Кому говорят? Не смей приближаться! — осатанел Тургали и так хлестнул Рыжего по голове, что Кусену показалось, будто ударили его самого.

Конь шарахнулся (куда только девалась его лень!), и Кусен еле удержал Рыжего.

— Не трогай коня, щенок! — гаркнул Кусен, наступая на Тургали.

Тот попятился, размахивая плетью, затем развернул лошадь и, отскакав метров на двадцать, пригрозил:

— Потом не говори, что я не предупреждал!

Он ударил пятками своего жеребчика и ускакал за холмы.

— Мы еще посмотрим, кому раскаиваться! — крикнул Кусен вслед.

Тургали, конечно, уже не слышал, но Кусен не мог сразу остановиться, в нем все так и кипело.

— Ну и сумасшедший! Пьяный, наверное, не иначе, — пробормотал Кусен, успокаивая себя.

От кого-то он слышал, что Тургали сидел в тюрьме за свой буйный характер. Будто бы избил одного человека и за это попал за решетку. Вспомнив такое, Кусен малость струхнул и подумал, а не перегнать ли овец на другое место. Дьявол с ним, с таким сумасшедшим, но потом в нем зашевелилось самолюбие. Вроде бы негоже джигиту отступать перед угрозой взбалмошного человека. И к тому же в душе Кусен надеялся, что Тургали действительно пьян и, проспавшись, забудет о своих словах.

Тут он увидел, как бочком-бочком откалывается от отары баран с обломанным рогом. Вот уж где можно было отвести душу.

— Эй, ты! Безрогий! — яростно заругался Кусен. — Почему не пасешься, как все, а? А ну вернись, бес безрогий! Сейчас же вернись! Или хочешь плети, а?

Но баран будто не слышал окриков, и Кусену пришлось пришпорить Рыжего.

Солнце вышло в зенит, залило мягким осенним теплом серые степные травы, словно стараясь впрок прогреть эту бескрайнюю, но беспомощную степь.

Овцы насытились, отяжелели от обильной пока что еды, побрели в тень, в заросли чия.

«Пусть отдохнут. К обеду погоню на водопой, а уж оттуда в кошару», — подумал Кусен в промежутке между своими думами.

Он снова пристроился на холме. А на других холмах так же сидели другие чабаны, и каждый со своими думами. Издали они казались ему застывшими каменными бабами, которых время навечно рассыпало по степи.

Сейчас он думал о том, как велик мир, распростершийся перед ним, и дивился этому. А вдоль горизонта полз поезд, попыхивал клубами дыма. А в вагончиках сидели люди. И много таких поездов ползает из стороны в сторону, пока Кусен сидит на холме.

Иногда он бывает у железнодорожного разъезда, покупает чай, сахар или еще что-нибудь необходимое. Тогда он смотрит на людей, на платформы, стараясь представить те края, куда бегут поезда. «Почему это так? Один состав, груженный лесом, углем идет на запад, и такой же состав, груженный тем же, идет на восток? Что же это, недоразумение или так положено? — спрашивает он себя. — Видно, никто не знает этого. Много на свете вещей, которых мы не знаем», — заключает Кусен.

Казалось, за войну он перевидел все, вернулся бывалым человеком. Воевал, освобождал многие города, осознал огромность земли. До сих пор перед его глазами стоит смерть товарищей, казахских и русских джигитов. А вот спроси его, бывшего пулеметчика, как заряжал пулемет, он и не помнит.

Он услышал топот копыт и, приложив ладонь к глазам, всмотрелся в клубы пыли. К подножию скакал юный Боздак.

Еще не минуло года, как Боздак пришел на ферму, а уже завоевал уважение у старых людей своим трудолюбием. Кроме того, он нравился Кусену веселым, общительным нравом. Вдобавок ему льстило, с каким почтением относился к нему Боздак.

Может, потому, что сын Кусена приходился ему сверстником или еще по какой причине, только Боздак обращался к нему не иначе как с уважительным «ага».

Вот и сейчас он спросил, придержав коня:

— Ага, можно дослушать ваш рассказ?

— Ну, конечно, Боздак, — сказал Кусен, улыбаясь невольно.

Вчера этот юноша проведал его, и Кусен, коротая время, повел рассказ о том, как погиб на войне один из его товарищей, когда они вместе пошли за «языком». Потом за Боздаком приехал старший чабан, и юноша так и не дослушал историю до конца.

— Это печальная история. Лучше послушай, как я состязался на айтысе с самой Багилой, — сказал Кусен, подумав.

— А кто такая Багила?

— Разве ты не знаешь знаменитую Багилу? Ай-ай-ай, Боздак! Она живет в соседнем колхозе, и такого акына, как Багила, нет даже в Алма-Ате!

— Ой, ага, и вы состязались с ней? — спросил Боздак с недоверием.

— Э, не только состязался, но и победил. Так что со мной не шути, — сообщил Кусен.

Что и говорить, иногда он любил присочинить и тут же втихомолку посмеивался над доверчивым слушателем. Так получилось и на этот раз. Боздак принял его выдумку за чистую монету и загорелся, попросил:

— Ага, не мучьте, расскажите.

— Сегодня мы уже не успеем, — сказал Кусен уклончиво. — Вот приезжай завтра, тогда я посмотрю.

Боздак умолял и так и эдак, но Кусен только ухмылялся лукаво да твердил свое:

— Вот приезжай завтра…

— Ну, тогда хоть дайте совет, — сказал Боздак, сдаваясь.

— Совет? Совет дать могу, — согласился Кусен.

— Что мне делать со старым Садырбаем? Вчера смешались наши отары, и он оставил у себя одну мою овцу. Я спохватился только вечером, когда пустил овец в загон. Вижу, одной не хватает. Тогда я поехал к нему, говорю: «У вас моя овца, отдайте, пожалуйста!» А он смеется: «Ничего не знаю, нет у меня твоей овцы!» Как мне быть, не знаю.

— Да, Садырбай не отдаст, — сказал Кусен. — Если к нему попала чужая, ни за что не вернет. Хоть тресни! Выход только один: опять смешай своих овец с отарой Садырбая и потом забери свою овцу.

— У меня восемьсот овец, разве запомнишь всех? — смутился Боздак.

— Вот что значит молодость! Полюбуйтесь на него: всего восемьсот овец, и он не в силах запомнить. — Кусен покачал головой. — Ладно, я поговорю с Садырбаем.

— Ага, кто это? — встревожился юноша, и Кусен увидел троих всадников.

В первом он сразу узнал Тургали. Тот далеко оторвался от остальных и летел прямо на Кусена. Отставшие всадники размахивали шапками, что-то кричали отчаянно, потом он разобрал:

— Кусен! Берегись!

Теперь он и сам заметил ружье, которое Тургали держал поперек седла.

— Сейчас ты увидишь, кто такой Тургали! Я обещал тебе, и сейчас ты увидишь! — заорал Тургали, осаживая коня шагах в пятидесяти.

На него было страшно смотреть, совсем осатанел парень. Глаза налились кровью, губы дрожат.

— Эй, стань хорошенько! Буду стрелять! — крикнул Тургали и, подняв ружье, стал неверной рукой заряжать.

Кусену хотелось сказать: «Нехорошо, Тургали! Вдруг твое ружье возьмет и выстрелит, а? Ну-ка, опусти его и уезжай от греха».

Но язык почему-то вышел из подчинения, и Кусен не смог выдавить ни слова.

— Ага, что он делает? — всполошился Боздак, он по-птичьи взмахнул локтями, пришпорил коня и поскакал к Тургали.

Раздался оглушительный грохот. Кусену показалось, будто разверзлись небеса. Рыжий встал на дыбы, и Кусену пришлось покрепче вцепиться в гриву. Потом, подняв голову, он увидел коня Бождака, стоявшего поодаль, и самого Бождака, который сидел в седле, нелепо свесившись набок.

— Бождакжан, что с тобой? Эй, что с тобой? — заголосил Кусен; скатившись с лошади, он подбежал к юноше и придержал за ослабевшие плечи.

Он совсем забыл о Тургали, а когда хватился, тот уже был в крепких тисках у подоспевших на помощь чабанов. Они стащили Тургали с коня, а он не сопротивлялся, обвис в их руках, точно тряпичный.

Рана у Бождака оказалась пустяковой. Пуля слегка задела мякоть руки, и у парня просто был шок. Его окропили водой, Бождак открыл глаза.

Убедившись в том, что юноша вне опасности, чабаны занялись Тургали.

— До чего же ты кровожадный! — сказал один из них.

— Он говорил: «Во мне кровь так и кипит! Хочу кого-нибудь убить!» А мы думали, шутит, — пояснил второй.

— И вид-то у него… Тьфу!

Присмиревший Тургали лежал на земле, покорно свернувшись калачиком.

3

На другой день Кусен приехал на центральную усадьбу и до обеда просидел в правлении, пристроившись на стуле в углу, — терпеливо ждал, когда бухгалтер подсчитает причитающийся ему заработок за все лето. Потом он рассовал по карманам, за пазуху и за голенища сапог пачки денег, отправился на ток и оттуда привез к свояку две машины зерна, причитающегося на трудодни. Выгрузив зерно в сусеки, Кусен пошел на почту и выслал часть денег детям.

После этого он решил, что главное сделано, и пару дней гостил по родственникам, гулял от всей души. Хозяева не скупились, угощали лучшей едой. Кусен соревновался с ними в щедрости, так и сыпал

подарками. Хозяину — подарок в честь хорошего урожая, хозяйке — на платье.

В эти дни он пил водку, точно воду, говорил всласть и все, что заблагорассудится, а хозяева кивали, поддакивали, даже если он нес околесицу, перебрав лишнюю чарку. И не важно, что они думали про себя: он был их гостем, поэтому они улыбались и от мала до велика звали его уважительно «Кусеке». Только и слышалось:

— А Кусеке прав!..

— Послушайте, послушайте! Кусеке говорит дело!..

И все знали наперед, что перед отъездом Кусен так избалуется, что обязательно что-нибудь натворит. И сам же обидится. Тогда ему будет легче уехать обиженным, клянущимся более не ступать в аул ногой.

А пока Кусен чувствовал себя всеобщим баловнем, гордился этим и, стараясь держаться на высоте, сорил деньгами…

На третий день он заночевал у свояка. Свояк работал в районном заготовительном пункте по сбору пушнины, и поэтому Кусен считал его важным человеком. Он и видом своим был внушителен — с большим животом, широкими розовыми щеками, а еще его лицо украшали густые темные усы. А уж щеголь-то он был… щеголь… Но более всего Кусену у свояка нравился дом: высокий, пятикомнатный, с красивой железной крышей. Заглянешь в такой дом — и выходить не хочется. Да и зачем из него уходить, если в доме всего в достатке. Столько еды и вещей, живи целый месяц, не высовывая носа.

Свояк усадил дорогого гостя за дастархан, и на этот раз Кусен опьянел молниеносно. Вроде и выпил немного, а, поди же, понес бог знает что: начал хвастаться деньгами, выворачивать карманы. Да если бы деньги-то были, а то уже все прогулял, раздарил и почти ничего не осталось. Но свояк, как и положено, поддакивал, пока не напился сам. А когда напился, терпение его лопнуло, и он сказал пренебрежительно:

— Хватит трясти перед моим носом этой жалкой пачкой. Если хочешь знать, я за месяц имею больше, чем ты за год. Так что убери!

Этого Кусен не смог стерпеть.

— Не хвастайся зарплатой! Я-то знаю, какая у тебя зарплата! А богатство твое — тьфу! Потому что ты берешь взятки с честных людей!

— А тебе их не дают! Что, завидно? — заорал свояк.

И пошло, и пошло! Много наговорили они друг другу. Что именно, Кусен уже не помнил. Знал только, что сказал свояку нечто непоправимое, после чего добрым отношениям приходит конец.

Проснулся он утром от холода и обнаружил, что лежит на веранде, что под ним тонкое одеяло, сшитое из лоскутьев разного цвета, и на это одеяло он так и свалился прямо в одежде.

За чаем он и свояк прятали глаза, но о ночной ссоре не обмолвились ни словом. Опохмелившись остатками водки, поговорили о делах. Потом Кусен дал понять, что ему пора собираться домой, и сказал свояку, по-прежнему отводя глаза:

— Если тебе попадутся хорошие сапоги, возьми для меня.

— Хорошо, — кивнул свояк, тоже избегая его взгляда, — недавно заказывал сапоги из чистого хрома. Чабан Билиспай просил. Какие сапоги получились! Не сапоги, а картинки!

— Билиспай, говоришь? Может, и мне закажешь такие?

— Давай сто рублей. И всего-то!

Кусен полез за деньгами, отсчитал сто рублей, двадцать как бы сапожнику на чай, затем вспомнил, что у жены тоже износились сапоги, и добавил еще шестьдесят рублей.

«Вот почти и все деньги», — подумал он, сокрушаясь, но ничем не выдал своего сожаления. Только попросил:

— Если будет возможность, перешли нам парочку мешков муки.

— Ладно, перешлю, — важно пообещал свояк.

Когда Кусен отъезжал от дома свояка, на душе у него было муторно. Почему-то он чувствовал себя виноватым и перед свояком, и перед собой, и перед всем миром, хотя и не знал толком, в чем заключается его вина. А свояк стоял в дверях, выпятив живот под белоснежной новой рубашкой, и Кусен показался себе жалким, ничтожным.

Потом всю дорогу его не покидало ощущение, будто его душу вытряхнули из тела. Он клялся, что больше не поедет в аул, будет посылать жену. Ему стало совсем не по себе, когда он вспомнил, как сорил деньгами и за три дня спустил почти все, что они с Айшой заработали за год. Правда, он роздал подарки всем родичам, никого не забыл, никого не обидел. Разве что сыну свояка не досталось. Напился он как-то сразу, а уж потом ему было не до этого парня. А теперь,

поди, сын свояка обиделся на него, и ему стало неудобно перед ним. Может подумать, что пожалел или, что еще хуже, обошел вниманием.

Уйдя в невеселые думы, он не сразу заметил, что навстречу ему по дороге катит голубая новенькая «Волга», а потом, спохватившись, повернул своего Рыжего к обочине. Машина проехала мимо, обдав его облаком пыли, и остановилась шагах в двадцати. Из машины вышел человек в шелковой рубашке, и Кусен узнал в нем заведующего ларьком Бисултана.

— Здравствуйте, Кусеке! — приветствовал Бисултан издали, протянул обе руки и пошел к Кусену.

Лицо его раскраснелось, глаза поблескивали, ворот рубахи расстегнут — видно, что Бисултан навеселе. Он обернулся к машине и сказал:

— Это наш Кусеке! На всю округу нет чабана лучше, чем Кусеке. Давайте-ка отметим эту встречу! Тащите-ка заветную… — закончил он намеком.

Из машины вышли двое мужчин, один нес хозяйственную сумку. И мигом около обочины возник пиршественный стол. Бисултан протянул Кусену полный стаканчик водки и произнес тост:

— Кусеке, пусть ваша жизнь будет полной, как этот стакан!

Кусен вначале отнекивался, потом подумал: «А впрочем, почему бы не выпить за полную жизнь?» — взял стакан и выпил до дна.

— Вот так нужно пить! — восторженно сказал Бисултан своим спутникам, а те забормотали что-то, выражая свое восхищение.

— Ну, Кусеке, все в порядке! Я отчитался! — сообщил Бисултан, повернувшись к Кусену.

— Ты молодец, парень! Молодец! Это хорошо, что ты выпутался, дружище, — ответил Кусен с искренней радостью.

— Не то уж, думаю, придется продать мою голубую, — и Бисултан указал на «Волгу».

— Э, зачем же продавать такую красавицу? В наше время это, наверное, и есть крылья джигита? — испугался Кусен.

Кусен пропустил еще стаканчик, затем еще, попрощался и поехал дальше. Водка ударила ему в голову, рассеяла недавнюю тоску, он забыл о своих обидах и замурлыкал себе под нос песенку.

Рыжий уловил его благодушное настроение и топал, себе не спеша, меланхолично поматывая головой.

Домой он добрался к вечеру, Айша и дети распахнули настежь дверцы юрты и уже, вероятно, не один час сидели, смотрели на дорогу, ждали его, проглядев все глаза, будто Кусен уезжал лет на десять и они истосковались по нему.

Они окружили его, теребили за пиджак. Шума-то и восторгов сколько! Кусен и сам разволновался, радовался, точно дитя, засыпал жену вопросами:

— Ну, как вы тут без меня? Дети здоровы? Волки не беспокоили?

Оказывается, волки не беспокоили. Дети здоровы, только вот скучали по нему.

После ужина он и Айша уложили детей в постель и начали подсчитывать деньги. Кусен шарил по карманам, за пазухой, за голенищами сапог, извлекая мятые рубли и трешки, укладывал стопкой перед Айшой.

— А вот еще!.. А, еще одна, — приговаривал Кусен, радуясь каждой рублевке, не замечая, как постепенно расстраивается жена.

Когда подсчет закончился, Кусен обескураженно потер лоб: выходило, что этой суммы хватит только на то, чтобы запастись на два месяца чаем, мылом и прочими мелочами.

— Что же ты и это не роздал людям? Небось оттянуло карманы? — съязвила Айша и ну его бранить. Уж как только она его не ругала!

— Да будет тебе! Разве и это малые деньги? — пробормотал Кусен, но более перечить не стал.

Он знал по опыту, как надо себя держать с разбушевавшейся Айшой, — лег на бок, лицом к стене. И этот нехитрый тактический ход обычно заканчивался его победой. Так было и сейчас. Наговорившись вдоволь, Айша умолкла и занялась домашними делами.

А Кусен с открытыми глазами размышлял потихоньку. «Как же это так получилось? Не мог же я раздать все деньги? Их было столько, что самому не сосчитать», — спрашивал он себя. И не находил ответа, только удивлялся, прищелкивая языком. Потом ему стало жаль пущенных по ветру денег.

«На эти деньги можно было купить легковую машину. Такую, как у Бисултана. Ну, может, не совсем такую, а немного поменьше», — сказал он себе.

Что же это выходило? У других чабанов машины и красивые дома, построенные на центральной усадьбе. Билиспай вот-вот, наверное, купит себе машину, а у него ничего, кроме одежды. «И как это они умудряются копить деньги? Вот я попробовал, и ничего не получается», — подумал он ревниво. И тут его осенило, что они отказывают себе в простых удовольствиях, что они не могут доставить приятное и себе и другим людям, как было у него в эти три дня. Он вспомнил счастливые лица родичей, когда те получали его подарки, и успокоился.

«Да ну их, машины, красивые дома. С голода мы не помрем, значит, и сетовать нечего. Зато я угощал людей, и они меня угощали. А что еще важнее этого? Пожалуй, нет ничего важнее», — решил он про себя.

После этого ему стало хорошо, покойно. К нему под бок подкатился во сне меньший сын, он погладил его по оголившемуся животу и лег на спину. Только теперь он заметил, как устал от трехдневной попойки.

«Да, в другой раз получать деньги поедет Айша», — решил он окончательно.

— Айша, когда конь остынет, покорми его! — сказал он громко, чувствуя, что еще немного — и он провалится в сон.

За стенами задул порывистый ветер, загудел, заиграл тундуком[4], напоминая о том, что настал ноябрь.

Ноздри Кусена улавливали еще кисловатый запах овечьей шерсти, едкий дымок тлеющего кизяка.

— Разденься, ложись как следует, — услышал он голос жены. Айша наклонилась над ним, слегка потянула за нос. — Ишь, подстригся и бороду сбрил. Совсем молодым вернулся, — добавила она с лукавой усмешкой.

Кусен вяло разделся, рухнул в постель. Его слух воспринимал звуки, долетавшие снаружи: он слышал, как фыркают, переступая копытцами, в кошаре овцы, как в отдалении лают собаки. А вот донесся и протяжный певучий голос жены:

— Ай-о-у!

Он понял, что Айша вышла сторожить отару, и тут же уснул.

УЛТУГАН

1

Их оказалось не так-то много, людей, принявших близко к сердцу смерть отца Ултуган и ее собственное горе. На третий день поминок посетителей стало еще меньше, раз-два — и обчелся. Расходясь по домам, они на минутку присаживались рядом с Ултуган, повторяли слова утешения, давали советы.

— Крепись, свет мой, Ултуган! Ты сделала для отца все возможное. И он и мать были довольны тобой. И на том свете им тоже не в чем упрекнуть тебя. Ты ухаживала за ними, как ухаживают сыновья, а может, и лучше, — приблизительно так говорил каждый из них перед уходом.

А когда закончился и этот, третий день, когда хлопнула дверь за последним ее утешителем, Ултуган и вовсе осталась одна. После стольких дней, заполненных плачем и говором людей, в обеих комнатах дома установилась глухая, душная тишина. Сквозь маленькое оконце, — стекла уже начинали пылиться, — еще падал красноватый отсвет заходящего солнца, а в доме уже начинали сгущаться сумерки.

«Ах, отец, отец, пусть земля будет тебе пухом, почему ты сделал только одно окно?» — подумала Ултуган с упреком.

И это крошечное оконце, напоминающее о камере узника, этот плотный сумрак и тяжелые кирпичные стены, обступившие Ултуган со всех сторон, пугали ее. Она с раннего детства боялась одиночества, плакала, когда ее оставляли одну.

Ултуган подошла к кровати отца. Здесь три дня тому назад лежало его тело, головой на восток, как и следовало по обычаю. Бледно-желтое худое лицо отца с острыми скулами и глубоко запавшими глазами казалось чужим. Строгий, суровый родитель и при жизни вызывал у нее робость, она не смела подойти первой, всегда ждала, когда сам позовет. А теперь он и вовсе стал неприступен, уходя по дороге, которая никогда не возвращала назад.

«Ну вот, отныне я сама себе хозяйка, — подумала она с горькой усмешкой. — Только что мне делать с этой свободой?»

Горе вновь полоснуло ее по сердцу, точно ножом, из глаз новым потоком вырвались слезы. А ей-то казалось, что она оплакала все, что можно. Да, выходит, забыла оплакать собственную судьбу. И за что судьба была так к ней несправедлива? Разве она виновата в том, что появилась на свет не сыном, а дочерью?

Она любила своих родителей, но не раз в душе их корила. Самые умные для нее на свете, они не смогли подняться над традицией прошлого. И если издревле у казахов сын был желаннее дочери, то и они, трепеща, ждали сына. Все их помыслы были только о сыне. Но чрево матери долгие годы оставалось бесплодным, как пески пустыни.

И когда наконец свершилось — на склоне их лет родилась она, девочка, отец и мать, бедняги, и тогда не хотели признать то, что им навязала природа. Они назвали дочь Ултуган, то есть «рожденная быть сыном».

И она тоже, начиная с первых своих шагов, воображала себя мальчишкой. Играла на улице только с мальчишками, боролась с ними, ходила в синяках, училась сквернословить и курить. И, как истинный мальчишка, не прощала обидного слова и чуть что — лезла в драку. Это была счастливая пора неведения правды. А когда Ултуган узнала, что на самом деле не мальчик она, а презренная, слабая девочка, отчаянию ее не хватало границ. Бывало, она, забравшись в заросли мяты, росшие за домом, в бессильной злости каталась по земле и безутешно плакала.

И все же Ултуган бросила природе вызов, сказала себе, что станет такой дочерью, которая заткнет за пояс десять лучших сыновей десяти лучших родителей. Она росла, как говорили вокруг, девушкой с мужским характером. И закончила среднюю школу лучше многих мальчишек. И кто знает, чего бы еще добилась Ултуган, пойди она дальше учиться? Но старость родителей привязала ее к семье. Их здоровье разрушалось теперь с той неумолимой скоротечностью, с какой разрушается под дождями и ветром давший первую трещину старый саманный забор. Они стали часто прибаливать, а смотреть за ними некому было, кроме нее, их единственной дочери Ултуган. Но Ултуган не сетовала, — не она ли сама клялась заменить родителям самого преданного сына? И Ултуган ухаживала за ними засучив рукава. Она научилась угадывать желание отца и матери по движению их бровей. С заботами о родителях всходило ее солнце, с заботами о

них и заходило. Из-за них же она отказала первому жениху, потом и второму… Ултуган верила, что каждому человеку отмерено свое счастье, а коли так, ее собственное счастье от нее никуда не уйдет…

Ждет ли оно и теперь? Или, не дождавшись, ушло? Много времени прошло. Да и кому нужна старая дева?

А два года тому назад, как ни старалась, как ни оберегала Ултуган, покинула мир ее мать. Сейчас за ней последовал отец, как бы окончательно развязав дочери руки. Наконец она снова могла заняться собой. Да только зачем ей это? Без родителей, без каждодневных забот жизнь ее стала пуста. Она подумала, что больше никогда не увидит их лица, не услышит голоса, и у нее снова защемило сердце. Она заплакала снова.

«Мама? Папа? Неужели и вправду вы оставили меня одну?»

Долго ли Ултуган так сидела и обливалась слезами, она, наверное, не заметила и сама. О том, что жизнь идет своим чередом, что за стенами ходят, говорят, и что-то делают другие люди, ей напомнил скрип наружных дверей. Кто-то, топая, вошел в дом и остановился в передней комнате.

Подумав, что кто-то пришел выразить ей сочувствие, Ултуган поднялась, вытерла слезы и включила свет. Но вошедший, видно, не решался ее потревожить, оставался в передней комнате. Тогда она сама вышла к нему и при тусклом свете лампы увидела долговязую фигуру, затаившуюся в углу, между дверью и сундуком.

— Кто это? — испуганно вскрикнула Ултуган.

— Ултуган, не бойся, это я… Майдан, — отозвался долговязый умоляющим шепотом.

— Раз ты Майдан, значит, можно пугать людей? Что тебе здесь нужно? — рассердилась Ултуган.

— Ултуган, дорогая, потише… Пожалуйста, помолчи. Пусть она мимо пройдет.

И тут же перед домом послышался голос, сыпавший проклятиями на всех и вся. Это была Сандибала — жена Майдана, прозванная ведьмой за свой склочный характер.

— Будь ты проклят, Майдан! И будь проклята я, если не сделаю из тебя тряпку, о которую вытирают ноги, — говорила Сандибала, приближаясь.

У Майдана от страха округлились глаза. Он готов был согнуть свое долговязое тело в три погибели и залезть под сундук.

— Ултуган, не выдавай меня! Я буду всю жизнь благодарен, только скажи, что меня нет! — взмолился он в крайнем отчаянии.

Наружная дверь резко распахнулась, и в прихожую, как злой вихрь, ворвалась растрепанная Сандибала со скалкой в руке. Еще сама не зная, зачем это делает, Ултуган шагнула к порогу, заслонила комнату собой. Как ни была разгневана Сандибала, она все же помнила, что из этого дома совсем недавно вынесли покойника, и убавила свой пыл, а увидев распухшее от слез лицо Ултуган, и вовсе растерялась, виновато спросила:

— А мой Майдан к тебе не приходил?

— Не приходил, — ответила Ултуган, чуть поколебавшись.

Сандибала потопталась перед Ултуган, пробормотала, обращаясь скорее к самой себе:

— Куда же он делся? Чтобы земля его поглотила, такой он сякой! — и вышла на улицу. И там снова распустила свой язык. Как говорится, в рот ее собака входила красной, а выходила черной. Всю улицу на ноги подняла Сандибала своими истошными воплями.

— Выходи, — сказала Ултуган беглецу, сердясь на него, а еще больше на себя. Какое ей дело до Майдана и Сандибалы?

Майдан вышел из своего угла, глуповато улыбаясь:

— Ты спасла меня от смерти, Ултуган! Я никогда этого не забуду. Она ведь настоящая ведьма. Точно, точно. Если попадешься ей в руки, спуска не жди.

Глаза у него смотрели как-то странно, по-совиному, а когда он подошел поближе, на Ултуган пахнуло водочным перегаром. Ей эта история не нравилась все больше и больше. Из-за того, что Майдан был пьян и всячески хулил жену свою Сандибалу.

— Да пропади она, твоя такая жизнь, — сказала она в сердцах.

— А что я могу поделать? Посуди сама, Ултуган! Переговорить ее не переговоришь, а ударить я не могу. Не поднимается рука, — пожаловался Майдан, неверно истолковав ее слова.

Но на нее снова накатило горе. Ултуган не стала объясняться, только сказала:

— А теперь уходи, — и пошла во вторую комнату.

— Не гони, Ултуган! Можно я еще здесь посижу? — попросил Майдан.

Ултуган уже было безразлично, останется этот долговязый и нескладный человек или уйдет, как она приказала. Ултуган закрыла за собой дверь, села на кровать и подперла щеку рукой. Но прежнего гнетущего чувства утраты уже не было, оно притупилось, и страх одиночества тоже исчез. И только по телу разлилась страшная усталость, голова стала тяжелой, ее так и тянуло к подушке. Сказывалось напряжение трех прошедших дней, три бессонные ночи. Ултуган подумала о том, что надо бы поесть, поддержать ослабевшее тело, но уже не было сил подняться, приготовить ужин. Да и мысль о еде сразу же вызвала отвращение. Не раздеваясь и не гася свет, Ултуган залезла под одеяло и тотчас уснула.

Когда она проснулась, часы показывали четыре часа ночи. Под потолком все так же неярко горела лампочка. И ее снова окружало жуткое одиночество. Она жадно прислушивалась к тишине. В сарае прокричал петух, словно ее желание угадал, и Ултуган очень обрадовалась живой душе. Затем она поняла, что также все это время слышит храп, доносящийся из передней комнаты. И тут же кто-то кашлянул. Она вспомнила о Майдане: как, испугавшись жены Сандибалы, он пытался спрятаться за сундуком, и невольно улыбнулась. Байгус[5], надо же родиться таким тихим, чтобы бояться своей жены. Наверное, так и заснул, боясь выйти на улицу.

Присутствие в доме другого человека успокоило Ултуган, развеяло вновь появившийся было страх. Она поднялась, выключила свет, полежала, глядя на окно, на занимающийся рассвет, и снова уснула. Ей приснилось, как будто она купается в прозрачной, чистой воде, отливающей серебром. Озеро это было или река, во сне не говорилось. Еще вода была теплой и мягкой; она подняла Ултуган и бережно понесла на себе. Вначале Ултуган побаивалась, не умея плавать, но потом оказалось, что сама ничего не весит, лежит на воде точно пушинка. И руки ее, и тело белы-белы и тоже сверкают, как серебро.

Проснулась она от звонкого воробьиного чириканья под окном. Солнце уже поднялось, как говорится, на длину аркана. Ултуган быстро выскочила из постели, потянулась и, разглаживая помявшееся платье, вышла в переднюю комнату. Майдан уже ушел, оставив

удушающий запах водочного перегара. Ултуган поморщилась, распахнула настежь двери и окна. Затем занялась хозяйством: подоила корову, отвела ее в стадо, разожгла самовар, поставила чай. А ей-то раньше казалось, что у одинокого человека нет никаких забот. Сидя на корточках перед самоваром, она вспомнила сон и посмотрела на свои смуглые руки, и ей стало смешно. Ну и приснится же такое… А впереди был день, первый день ее новой, полной одиночества жизни, и его надо было чем-то заполнить. Через трое суток снова поминки, теперь семидневные, этим она и займется.

Она трудилась с утра до вечера не покладая рук. К ней заходили соседи и просто знакомые, в доме снова было много людей, некогда было перекинуться словом. Но к вечеру, ко времени, когда пастухи гонят стадо в аул, народ разошелся по домам, Ултуган опять осталась одна.

И опять накатила печаль. Она уже не была такой безысходной, как накануне, привычной. Слезы уже набегали как бы сами собой. И все же Ултуган не решалась ночевать одна, сходила к соседям справа и привела к себе их десятилетнего мальчика. Гость оказался ненасытным сладкоежкой и при этом довольно хитрым. Он сразу понял, как нужен хозяйке, и требовал угощений и сказок. Наконец мальчишка насытился, устал, и Ултуган уложила его рядом с собой.

Он уткнулся носом в ее плечо и сразу уснул. Она гладила его по голове, вслушивалась в сладкое детское сопение. Мальчишке снились игры, он слабо вскрикивал, шевелил руками-ногами. Видно, за кем-то гнался, а может, и сам удирал. И пахло от него уже забытыми запахами детства, по́том и уличной пылью. И еще чем-то, похожим на сырость. Наверное, это и был запах ребенка, который ей так и не суждено узнать. «Если бы я тогда вышла замуж за Орака, наш первенец, наверное, уже был бы таким же взрослым», — размышляла Ултуган, тихонько лаская мальчишку.

Стоило ей помянуть про себя имя Орака, как распустился клубок воспоминаний. Они потянулись, словно длинная, нескончаемая нить. Орак, Орак! Далекая, несбывшаяся мечта… Перед глазами предстал рослый широкоплечий джигит с мощными, как ляжки верблюда, руками. Сила из него так и била с избытком, а вот говорить Орак был не мастер. И поэтому больше молчал, только смеялся, если говорили что-нибудь веселое. А смеялся так, будто кашлял: «ыкы-кы-кы».

Ултуган несказанно удивилась, когда Орак прислал ей письмо. Джигит объяснялся в любви, но с первых же строк она догадалась, что за Орака писал кто-то из его друзей. «Лучшей подруге Ултуган, — говорилось в письме, — той, которая дороже золота, весомей серебра!» А дальше следовали стихи и слова о любви, да так складно сложенные, как самому Ораку ни за что не сложить. И все же, когда Ултуган читала письмо, у нее замирало сердце. Она уже сама тайно любила этого простоватого парня, хотя остальные девушки потешались над ним.

Она в тот же вечер написала ответ, тоже призналась в своих чувствах. После этого они стали встречаться, молча гуляли, взявшись за руки, на окраине аула, подальше от чужих нескромных глаз. Ах, какие это были замечательные и лунные, и темные, и прохладные, весенние, и теплые летние… словом, это были чудесные ночи! Да они безвозвратно прошли… Однажды Ултуган сказала джигиту: «Орак, мои родители больные, старые люди. Я не могу оставить их. Давай будем жить с тобой в нашем доме?» В тот раз Орак ушел, ничего не сказав. Почти неделю он не появлялся и не подавал о себе никаких вестей, а потом Ултуган получила от Орака второе письмо. Судя по стилю, и это писала чужая рука. «Зайца погубит камыш, а джигита — позор», — так начинал неведомый ей благодетель Орака, а заканчивал тем, что он, Орак, не может войти в жилище ее родителей, словно бездомный, подобранный на улице щенок. Лучше он умрет от стыда.

Прочитав письмо, Ултуган поплакала втайне, разорвала его на клочки и бросила их в огонь. Писать ответ она не стала и никому не сказала ни слова. «Что ж, подожду своего счастья, может, еще встретится хороший человек», — подумала Ултуган тогда, стараясь себя успокоить.

И вот она ждет до сих пор, а хороший человек так и не появился. А время течет неумолимо, безостановочно, словно река. Оно безвозвратно унесло Орака. Он в том же году обзавелся женой, теперь у него шестеро ребятишек. Временами Ултуган встречала его. Орак заведует фермой в самых дальних угодьях колхоза и изредка наезжает в аул. Ултуган очень хотелось подойти к нему, поговорить, но она не решалась. «Ну, а в этот раз я подойду к Ораку, — сказала она себе. — Да и что зазорного в том, если поговорят два старых друга? Я ведь не собираюсь ломать его семью. А мы посидим поболтаем… вспомним молодость. И кто знает, может, он возьмет меня за руку… как бывало».

Подумав об этом, Ултуган растерялась, спросила себя: «Господи, что я тогда ему скажу?» Ее лицо запылало от стыда. Жар прошелся по всему телу. Ултуган подумала, что этот огонь опалит мальчика, спавшего в ее объятиях, и испуганно отстранилась.

И мальчик зашевелился, пробормотал что-то бессвязное. Ултуган настороженно всмотрелась в его лицо — не проснулся ли? — и только сейчас заметила, что одна щека его больше другой, распухла. Ултуган совсем уж было встревожилась, решив, что мальчик заболел, но вдруг щека его опала, и изо рта выскользнула похожая на кусочек прозрачного льда конфетка. Мальчуган еще ко всему оказался запасливым, хозяйственным человеком — припрятал леденец за щекой. Ултуган невольно улыбнулась. Отнесла конфетку на стол, снова легла рядом с мальчиком и быстро уснула, успев еще раз подумать: «Да, у меня был бы уже такой мальчик».

Так же, как и в прошлую ночь, ее разбудил чей-то кашель. Ултуган открыла глаза. В комнате мирно горел оставленный ею свет, было тихо. Подумав, что ей показалось, Ултуган закрыла глаза, но в передней комнате снова кашлянули, хрипло, надсадно. Ултуган перепугалась, села на кровати. Кто это? И как этот кто-то попал в дом? Еще вечером она закрыла входную дверь на крючок. Ултуган помнила это. Она хотела разбудить мальчика, — вдвоем не так страшно, как одной, — но потом пожалела его. Так и сидела, дрожа, ожидая чего-то ужасного.

В передней комнате послышался храп. Таинственный кто-то спал, и это успокоило Ултуган. Если человек уснул, значит, он не желает ей ничего плохого.

Ултуган тихо слезла с постели, сняла со стены отцовскую плетку из восьми сыромятных косичек и, сдерживая бешеный стук сердца, вошла в переднюю комнату и включила свет.

Ну и ну, на голом полу, рядом с сундуком, разметавшись, спал Майдан. Он лежал, задрав подбородок, и храпел на все лады, набирая в себя полную грудь воздуха. Его острый кадык ходил туда-сюда, словно поршень насоса. Как и в предыдущую ночь, в комнате стоял резкий запах водки. А возле порога валялся согнутый кусок проволоки. Видимо, с ее помощью и открыл себе дверь Майдан.

Ултуган поначалу растерялась, не зная, что делать. Ей не стоило труда догадаться, что Майдан снова убежал от жены. Ултуган

наклонилась, потормошила его за плечо. Но Майдан только промямлил что-то и повернулся на бок.

— Мне еще этого не хватало, — буркнула Ултуган.

Хотела рассердиться, но почему-то не смогла. Вернулась в комнату, легла на кровать. Но сон уже пропал. Она ворочалась с боку на бок, стараясь не потревожить мальчишку. В голову лезли разные мысли, и больше о том, что надо бы как-то завести свою семью — и мужа, и детей, — жить одной просто невозможно. И при этом она ясно осознавала, что эти планы так и останутся неосуществимой мечтой. Все ее сверстники-джигиты давно переженились, завели кучу детей. Разве что подвернется разведенный или вдовец, только бы он пришелся по душе. Однако таких она что-то не могла припомнить. Оставалось одно: развести мужчину женатого да выйти за него самой. Вот хотя бы Орака… Пусть потом о ней говорят что угодно и сколько угодно. Она такой же человек, как и другие женщины, и ей тоже хочется любить и быть любимой, иметь свой домашний очаг… Ах, Орак, Орак!.. В ее девичьем сердце проснулось желание, хотелось почувствовать ласку сильной мужской руки. «Орак, хотя бы приснись мне», — мысленно просила она.

Но являлся Орак во сне или нет, Ултуган не знала. И может, и не спала она вовсе в эту ночь, а просто провалилась в тяжелое забытье. А встала с болью в голове, словно избитая. Майдана уже не было. Да и приходил ли он, это тоже она не знала. Точнее, не была уверена в этом. Ултуган подоила корову, отвела ее к пастуху и снова стала готовиться к поминкам. Но как ни была занята она, ей то и дело вспоминался Майдан. «Ой и наживешь с ним беды, не будучи виноватой. Надо запретить ему, пусть больше не приходит. Как увижу, сразу скажу», — говорила она себе.

Но Майдан так ей и не попался на глаза ни в этот день, ни в следующий.

2

Прошло несколько дней. Ултуган по-прежнему боялась оставаться одна и приглашала на ночь мальчика. Тот совсем осмелел, освоился и с каждым вечером становился все разборчивей и капризней. То это ему

надоело, то другое казалось недостаточно вкусным. Однажды магазин закрыли на переучет, и Ултуган не успела запастись сладким к приходу мальчика. Узнав об этом, сладкоежка посидел минуты две и ушел спать домой. «Ничего не поделаешь, сколько можно беспокоить чужого ребенка. Пора к одиночеству привыкать. Есть ведь еще такие, как ты. И ничего, живут», — утешала себя Ултуган.

Но сколько ни утешала, а привыкнуть не могла. Днем еще куда ни шло, отвлекали хозяйственные заботы, а вот ночью мнились всякие страхи, не спала, прислушивалась к звукам, доносящимся из-за окна. А нескончаемые мысли сменяли одна другую, терзали ее, не давали заснуть.

Однажды вот в такой же поздний вечер, когда Ултуган собиралась лечь, за окном послышались гулкие шаги, и кто-то сильно дернул дверь. Ултуган услышала, как с лязгом упал оторванный крючок и дверь со скрипом отворилась. Ултуган выбежала в прихожую и увидела Майдана. Он стоял на пороге, покачиваясь и тараща на свет глаза.

— Что тебе нужно? Когда ты оставишь меня в покое? — закричала Ултуган, срываясь на визг.

Майдан молчал, только виновато улыбался.

— Уходи! И чтобы я тебя здесь больше не видела! Ты уйдешь или нет?

Майдан не сдвинулся с места, будто ничего не слышал, будто не ему кричала Ултуган. Тогда она схватила отцовскую плеть и стеганула Майдана по плечу, повторяя:

— Уходи! Уходи! Сейчас же уходи!

Майдан широко раскрыл глаза, будто удивился, потом ссутулился под ее ударами, опустил голову.

— Да сколько можно? Ну, уйди же в конце-то концов! — взмолилась Ултуган и в бессилье отбросила плетку.

Майдан опустился на порог, сел, скрючившись, и зарыдал, как дитя. Плечи его вздрагивали, вид был жалкий, самый разнесчастный.

У нее дрогнуло сердце. «Вот и семья у него есть, а мается как и я. Бедняга пришел искать сочувствия у меня, а его плеткой», — упрекнула себя Ултуган, и глаза ее тоже наполнились слезами.

Майдан провел по лицу широкой худой ладонью, точно сгребая слезы, встал и, покачиваясь, повернулся, чтобы уйти.

— Ну куда ты пойдешь среди ночи? Ладно, оставайся здесь, — проворчала Ултуган, все еще стараясь казаться суровой.

Она вынесла из спальни подушку и одеяло, постелила ему в передней комнате, сказала:

— Спи уж! Только рано утром уйдешь, да так, чтобы тебя никто не видел.

Пожалуй, это была ее первая спокойная ночь. Ултуган проспала до утра, ни разу не проснувшись. Она не желала себе признаться, но теперь втайне ждала сама, не поскандалит ли снова Сандибала со своим мужем и не забредет ли Майдан снова к ней в поисках убежища. И на третью ночь, когда она, попив чаю, собиралась лечь в кровать, Майдан робко вошел в дверь. Глаза у него были красные не то от водки, не то от слез. Но на этот раз он не качался, стоял ровно.

— Ултуган, прости… извини… Ты, наверное, будешь сердиться, но мне опять некуда деться, — сказал он убитым голосом.

— Проходи, садись, — сказала Ултуган, скрывая с трудом вдруг вспыхнувшую радость.

Она подошла к окну, плотнее задернула занавеску, спросила:

— Чай будешь пить?

Майдан молча кивнул. Ну совсем как отплакавшийся ребенок, подумала Ултуган. Чай он пил, звучно прихлебывая. Сделав два глотка, отставил пиалу, оглядел стены комнаты. Его взгляд задержался на фотографии матери Ултуган. Майдан тяжело вздохнул и произнес:

— Хороший она была человек, царство ей небесное! А как готовила она! Я всегда ел у нее с удовольствием. Э, да разве дело только в этом!..

Он сказал это с такой искренностью, что Ултуган не выдержала и всплакнула. Майдан тоже смахнул набежавшую слезу. Они утешали друг друга, изливали душу. Ултуган жаловалась на свое одиночество. А Майдан рассказывал, как мучительна его жизнь с Сандибалой, на которой он женился, потому что этого хотели его родители. Так они и встретили долгий рассвет в сердечных разговорах за столом.

Отныне Майдан стал появляться в доме Ултуган чуть ли не каждый день. Он бросил пить, приходил совершенно трезвым, и они подолгу беседовали, как два обиженных судьбой человека. А однажды, когда Майдан ушел, она неожиданно для себя подумала: «Какой славный, тихий джигит! Такого, наверное, можно и полюбить».

Ултуган стала часто думать об этом. Теперь ей было важно узнать, а какие она вызывает чувства у Майдана. Только лишь друг она для него или, может быть, больше?

Как-то они засиделись за полночь. Майдан пришел еще в сумерки, и Ултуган так и не включила свет, сидели они в темноте.

— Ултуган, я тебя люблю, — несмело сказал Майдан. — Я люблю тебя, — повторил он окрепшим, твердым голосом.

В ней все задрожало, каждая клеточка. Не в силах молвить и слова, Ултуган только взяла руку джигита и приложила к своей щеке. Лицо ее пылало, кружилась голова. Майдан подался к ней, обнял свободной рукой, притянул к себе и поцеловал. Ултуган обмякла в его объятиях, ей казалось, что она теряет сознание.

— Майдан… Не надо… Подожди… — попросила она, задыхаясь.

Они молча стояли в темноте с бешено стучащими сердцами. Стояли, может, мгновение, а может, и вечность. Ултуган напряженно вглядывалась перед собой, стараясь увидеть лицо джигита.

— Ултуган, ты обиделась на меня? — произнес наконец Майдан с тревогой.

— Нет, нет, Майдан! У меня закружилась голова, правда!

Майдан снова привлек ее к себе. Девушка не сопротивлялась, сама подалась в объятия джигита. Майдан, тяжело дыша, стал ее ласкать, целовал щеки, лоб, губы…

Майдан провел в доме Ултуган две ночи подряд. Влюбленные, позабыв обо всем на свете, думали только друг о друге. Их захлестнула, топила волна огромного долгожданного счастья. Им и в голову не приходило, что кто-то может следить за ними, осуждать их любовь. Они лежали в темной комнате, еще стесняясь друг друга, задыхаясь от жары, лежали и шептались, вспоминая все свои встречи, разговоры, дивились тому, что, глупые, не придавали им никакого значения. Встретились, поговорили и разошлись, как совершенно чужие. Теперь-то им казалось, что судьба нарочно сводила их, и уже Майдан уверял, что он давно влюблен в Ултуган. А вскоре она и сама стала верить, будто тоже давно интересовалась Майданом. И как жаль, что они только сейчас узнали об этом.

— …А помнишь, в позапрошлом году я был бригадиром, а ты копнила сено… Помнишь, я ехал на сером жеребце, а ты возвращалась

домой по дороге… Помнишь, я сказал: садись впереди меня, подвезу, конь у меня смирный, а ты даже не подошла, — вспоминал Майдан.

— А если бы я села с тобой на коня, что бы тогда сказали люди? Зачем ты позвал меня при народе? — отвечала Ултуган счастливым капризным тоном.

— А если бы ты шла одна, села бы?

— Ну, конечно… Да еще бы вот так тебя обняла и не отпускала. Попробуй вырвись!

— Ултуган, ты мне ребра поломаешь!

— Поломаю… Майдан, почему ты такой худой?

— Не знаю…

— Наверное, потому, что двигаешься мало. Не помню, чтобы ты передвигался пешком. Все время у тебя работа такая, на коне да на коне. То ты учетчиком, то бригадиром.

— Тебе не жарко, Ултуган?

— Не жарко. А тебе? Может, мне отодвинуться, Майдан?

— Нет, нет. Лежи. У тебя кожа прохладная.

— И у тебя…

На вторую ночь из блаженного забвения их вывел грохочущий, словно гром, стук в двери дома. Это пришла Сандибала.

— Ултуган! Эй, Ултуган, открой дверь! — кричала Сандибала и снова барабанила в дверь.

Позабывшие о существовании Сандибалы, впрочем как и всего окружающего мира, перепугались Майдан и Ултуган, затаили дыхание, замерли.

А дверь гремела. По ней колотили не то тяжелой палкой, не то железным прутом.

— Что делать? Может, открыть? — спросила в страхе Ултуган.

— Тише… молчи.

Настучавшись вдоволь в дверь, Сандибала оставила ее в покое, переместилась к окну. Стала ругать Ултуган, поносить ее всяческими бранными словами. Ох и злой же был у нее язык, острый, как нож, он до самых костей пронзал Ултуган, мешал ее со всякой грязью. Еще никогда не называли Ултуган такими ужасными словами, какими называла ее жена Майдана.

Если верить Сандибале, то нет на белом свете другой такой испорченной женщины, как она, Ултуган. Такой распутницы, такой

шлюхи! Не прошло и дня после смерти отца, как она, проститутка, осквернила его дом, превратила в бардак, где предается блуду с чужими слабохарактерными мужьями!

После каждого такого слова Ултуган вздрагивала, точно от удара камчой. А Сандибала не унималась:

— Слышишь, ты… А ну-ка верни моего мужа! Да, да, того мужчину, который сейчас в объятиях у тебя! Иначе я разнесу твое окно. Слышишь? И собачью шкуру надену на тебя и на этого мерзавца! — грозилась Сандибала.

И поскольку Ултуган и Майдан не отвечали, лежали ни живые ни мертвые, Сандибала перешла от угроз к действию. Дрожащая от страха, от несправедливых оскорблений, Ултуган услышала, как звякнуло, разбилось оконное стекло. Она и Майдан, оба вскочили и начали торопливо одеваться, сталкиваясь, отыскивая в темноте разбросанную одежду.

— Вот вам, проклятые! — закричала Сандибала. — Я сотру вас в порошок и развею! — и принялась неистово топтать осколки стекла.

Ее тяжелое дыхание, жалобный хруст стекла теперь были слышны, как будто Сандибала находилась здесь же, в комнате.

— А-а, вам этого мало? Так получайте еще! — прокаркала Сандибала и опять ударила по окну, выбивая остатки стекла.

Растоптав их, она будто бы утолила свою ярость, просунула голову внутрь комнаты, торжествующе сказала:

— А теперь лижитесь сколько влезет… Две проститутки! — и ушла.

Замолкли ее шаги, отзвучали последние проклятия, и на улицу вернулась тишина. В окно теперь врывался прохладный ветерок, он то и дело раздувал оконную занавеску, словно загонял в дом плотный ночной мрак.

Майдан и Ултуган после пережитого никак не могли прийти в себя. Первым опомнился Майдан, зашевелился, нашел ощупью брюки и начал было надевать, но тут к нему метнулась Ултуган, вцепилась в него руками.

— Никуда ты не пойдешь! Я тебя не пущу! — сказала она сквозь всхлипывания и села на кровать, увлекла его за собой, держала, не давая даже шелохнуться.

Да Майдан и не пытался вырываться, молча замер. Они сидели, словно обкраденные, лишенные вдруг того счастья, которое они только что делили между собой.

Ветерок, дувший с гор, посвежел. Ултуган протянула руну, взяла одеяло и накрыла себя и Майдана.

Постепенно мрак рассеялся, в комнате стали проступать очертания предметов. Майдан и Ултуган, не сговариваясь, одновременно взглянули друг на друга, увидели серые, осунувшиеся лица, темные круги под глазами. Майдан крепко обнял голые плечи Ултуган и поцеловал ее в шею.

— Сегодня об этом узнает весь аул. Как я посмотрю людям в глаза? Какой позор! — прошептала Ултуган, закрывая лицо руками.

— Не надо, не плачь, — попросил Майдан.

— Я не плачу. Майдан, теперь ты уйдешь от меня? — спросила Ултуган с замирающим сердцем.

— Не уйду.

— Нет, уйдешь, уйдешь.

— Милая, я же сказал: не уйду! Ложись поспи…

Майдан ушел на ферму, Ултуган осталась дома, и не было для нее более трудного дня, чем этот. Спозаранку, пока не встали соседи, она подоила корову, выгнала ее на улицу, — пусть сама в стадо идет, — и, не позавтракав, легла в постель, укрылась с головой. В полдень в дверь постучали, но Ултуган только еще глубже зарылась в постель. Тогда стучавший прошел к разбитому окну и, с хрустом топчась по осколкам стекла, заглянул в комнату, громко спросил:

— Хозяйка, ты дома? Или нет?

Ултуган узнала голос старого стекольщика Ивана и подняла голову.

— А, вот ты где! — обрадовался старый стекольщик. — Меня к тебе прислали. Говорят: «Иди вставь Ултуган стекло»… Чем это его?

— Пожалуйста… вставляйте, — сказала Ултуган; встала, открыла дверь и впустила стекольщика в дом.

Пропахший табаком старик Иван весело взялся за дело, мурлыча под нос какую-то песенку, а она даже не спросила, кто направил его, — ей было все равно, — села на постель, с нетерпением ожидая, когда же он уйдет, оставит ее одну.

Старик Иван вставил стекло и ушел, и Ултуган снова легла в постель. Ее слегка подташнивало, бил озноб, ломило в висках и все время хотелось плакать. «Наверное, я заболела», — отстраненно подумала она о себе, как о другом человеке. Ее же волновало только одно: придет Майдан или не придет?

Зашло солнце. Сгустились сумерки, комната наполнилась мраком. А Ултуган продолжала лежать. Головная боль не проходила, стучала в висках. Ултуган перевязала лоб платком и снова легла. «Придет или не придет?» — спрашивала она себя и в ответ пугала: «Нет, не придет, не придет». И от этой мысли чуть не сходила с ума. Жить, ей казалось, уже не было никакого смысла.

И хотя Ултуган прислушивалась к звукам всем своим существом, входная дверь скрипнула для нее совсем неожиданно. Потом в прихожей простучали шаги, вспыхнул свет, и она увидела Майдана. Он стоял на пороге, прикрывая ладонью глаза от яркого света.

— Зачем? Зачем пришел? Уходи! Сейчас же уйди! — закричала Ултуган, а сама вылетела из постели, кинулась ему на шею, ухватила так, что ему бы не уйти даже при всем желании. — Нет, нет, Майдан, милый, останься! — С ней случилась истерика, сказалось напряжение всех этих дней.

Майдан так и подумал. Наконец ему удалось поднять Ултуган на руки и отнести на постель. Она затихла. Они вот так, не размыкая объятий, не снимая одежды, снова унеслись в тот мир, в котором влюбленные одни и более никто не существует. И не было сказано ни слова, только упоенно перестукивались сердца.

А ночью все повторилось заново. Они проснулись от ругани Сандибалы и не успели опомниться, как зазвенело разбитое стекло, в комнату с грохотом посыпались камни.

Майдан вскочил на ноги и выбежал из дома. А через мгновение Ултуган услышала душераздирающий вопль Сандибалы:

— Ой-ей! Спасите! Я умираю!

И тотчас улица словно взорвалась, наполнилась топотом, криками людей, лаем осатаневших собак.

Шум оборвался так же вдруг, как и возник. Но Майдан не вернулся. Ултуган пролежала до сиреневого рассвета с открытыми глазами, гадала, что же произошло. Может, после драки он помирился с Сандибалой? Ведь, говорят, после ссоры любовь становится слаще.

И Майдан ушел в свой прежний дом, чтобы уже никогда больше та вернуться к ней, Ултуган… Стараясь отвлечь себя от мучительных мыслей, она встала, принялась за уборку, подмела, вынесла из комнаты камни и битое стекло, вымыла пол.

А утром появился посыльный из правления колхоза. Председатель зачем-то вызывал Ултуган. У нее снялось сердце. Она очень боялась, что в конторе ее начнут обсуждать да стыдить при всем народе. А как объяснишь посторонним людям, что значит для нее Майдан?

— Я не пойду! — отчаянно сказала Ултуган.

Посыльный, старый колхозник, пошевелил губами, хотел что-то сказать, да по ее виду понял, что Ултуган сейчас не проймешь никакими словами, и направился к выходу. На пороге старик задержался и нерешительно сообщил:

— Только что милиция приезжала… Майдана увезли в район.

— За что? — всполошилась Ултуган.

Посыльный удивленно взглянул на Ултуган. Уж кто-кто, а она-то должна бы знать. Но на всякий случай объяснил:

— Жену он ночью избил. От синяков она стала как сине-белая овца. Похоже, его посадят. Эх, зачем он избил Сандибалу? Сейчас-то совсем не время…

Он не договорил, только махнул рукой и вышел. Его известие потрясло Ултуган. Она заметалась по дому, не зная, что предпринять, повторяя: «Пропал он, пропал». Зачем-то выскочила на улицу и тут же вернулась в дом. Потом вспомнила, что у нее греется самовар, и погасила огонь в самоваре. Время ли сейчас распивать чаи? Надо было куда-то бежать, просить у кого-то помощи. Нельзя сидеть и ждать сложа руки. Но куда бежать? Кто поможет Майдану?

3

Спроси Ултуган еще месяц назад: нравится ли ей Майдан, она бы наверняка ответила так: «А что в нем хорошего? Долговязый, нескладный какой-то, вечно не трезв и оттого шатается, таращит глаза, словно не может понять, кто ты и вообще где он находится сам». Словом, немало бы удивилась такому вопросу, посмеялась над ним…

А теперь, поди же, нет во всем мире человека дороже Майдана. Он для нее самый близкий, самый родной, самый…

Ултуган переоделась в свое лучшее платье, собрала в узелок передачу и рейсовым автобусом, приходящим в полдень, поехала в районный центр. В автобусе пахло бензином, было жарко и душно, как в раскаленной банке, пассажиры обливались потом, но Ултуган этого не замечала. Весь путь обдумывала, как выручить Майдана. Она придет в милицию и скажет: «Отпустите его, он не виноват. Это я вскружила ему голову, возьмите меня вместо Майдана». Она пойдет прямиком к начальнику милиции и расскажет обо всем, ничего не утаивая. Как осталась одна и как в ее жизнь вошел Майдан. Она будет сидеть перед начальником и плакать, пока тот не отпустит Майдана. А ее пусть посадят на его место. Она понимает: если совершилось преступление, кого-то следует наказать.

Выйдя из автобуса, она расспросила прохожих, узнала, где расположена милиция, и торопливо зашагала на указанную улицу. Летнее солнце раскалило, расплавило асфальт. Подошвы туфель приставали к нему, будто к липучке для мух, а то бы она пролетела оставшуюся дорогу в одно мгновение. И если бы еще не было трудно дышать. На воздухе было душно, как и в автобусе. Ее затошнило, в животе появилась тяжесть. «Может, я беременна?» — подумала Ултуган. О том, что чувствуют беременные, она только слышала от других, и все же испугалась. Ноги ее подкосились, она подошла к столбу, прислонилась к нему спиной. «О, неужели я беременна?» Страх стал отступать, сменился робкой радостью. Ултуган спохватилась, что зря теряет время, и бросилась дальше.

Ей сразу же не повезло. В милицию она попала в обеденный перерыв. Начальник куда-то уехал, а встретил Ултуган молодой джигит-дежурный, шустрый, смуглый до черноты, с веселыми блестящими глазами. Он встретил ее приветливо, вышел навстречу из-за деревянной стойки, но, услышав, что Ултуган пришла к Майдану, сразу стал неприступно суровым.

— Ты кто ему будешь? Наверно, жена? — сказал он, сразу переходя на «ты».

Ултуган растерялась, не зная, как себя назвать. Язык не повернулся сказать ни «да», ни «нет». Но здесь молчать, видимо, не

полагалось, и она неопределенно кивнула. Так и вышло: ни да, ни нет. Однако джигит-дежурный принял это за утверждение.

— Так, значит… — протянул он. — Значит, хочешь встретиться с мужем?

— Да, — еле слышно ответила она.

Милиционер откашлялся и прочитал наизусть:

— Свидания с гражданами, содержащимися под арестом, строго запрещены.

— Нет, нет, мне бы поговорить с вашим начальником. Я хочу объяснить, как было. Он не виноват!

— Женщина, не морочь начальнику голову! У нас и без тебя много дел. Вот так вы, жены, всегда: чуть что — бегом за милицией. «Ой, ударил, ой, убил!» А потом в слезы: «Он не виноват». Да что милиция? Игрушка? — сказал джигит-дежурный с обидой.

— Да он бил не меня!..

— Ну и не меня, слава богу. Поезжай в свой аул. Через пятнадцать суток он к тебе вернется, — отрезал милиционер и ушел за стойку, всем видом давая понять, что больше она для него не существует.

Улутган вышла на улицу, села на ступеньки крыльца, прямо на солнцепеке, и стала ждать начальника отделения. Но прошел перерыв, за ним еще час, другой, а начальник не появлялся. Она спрашивала каждого нового милиционера и видом построже, и со звездочками на погонах, и каждый, смеясь, отвечал, что он еще не начальник. Наконец в окно высунулся джигит-дежурный и крикнул:

— Эй, женщина, напрасно ты ждешь! Товарищ майор поехал прямо в область. Будет дня через два, не раньше… Не веришь? Он сам звонил!

Он понял по ее лицу, что она не верит, и вытянул в окно телефонную трубку на длинном шнуре.

— Вот! Только что говорили.

Убедившись в том, что у нее ничего не выйдет, уставшая, измученная жаждой, Улутган вечерним автобусом вернулась в аул.

Когда она брела с остановки домой, ей повстречался бригадир Сагынбай на коне. Он проскакал мимо, поднимая пыль столбом, но, увидев Улутган, повернул коня обратно.

— Эй, Улутган! Так вот ты где? — закричал он, снова проскакав мимо нее и снова заворачивая коня. — Куда делась, говорю? Я тебя

ищу целый день, а тебя будто ветер унес! Я велел вставить стекла в твое окно.

— Спасибо. Я ездила в район.

— Ну да, Майдана же посадили, — догадался бригадир. — Видела ты его?

— Нет, не пустили.

— Бедняга! — сказал бригадир, непонятно кого имея в виду: ее, Ултуган, или Майдана. — Ну вот что, Ултуган, нечего тебе дома сидеть да горе свое нянчить. И у нас не бессмертны были отцы, приходило время, и мы родителей хоронили. Поверь, нет лучше лекарства, чем работа. Давай договоримся так: завтра утром поедешь сено косить к роднику Когалы. Сбор у конторы, в пять.

— Хорошо, я приду, — кивнула Ултуган и вспомнила: — Сагынбай-ага, меня вызывал председатель. Как быть?

— Поезжай на сенокос, я улажу. Только смотри не опаздывай.

Бригадир ударил пятками коня и, взяв с места галопом, поскакал дальше по своим делам. А у нее немного отлегло на душе. «И вправду, — подумала Ултуган, — я уже давно не выходила на работу. Пора и меру знать. Уже перед людьми неудобно».

Ранним утром, когда Ултуган, наскоро выпив чай и одевшись для сенокоса в старье, уже собиралась уходить, в дверь коротко стукнули, и в дом вошла старуха соседка. Она сняла у порога калоши, прямиком проследовала в глубь комнаты, села поудобней на кошму и сообщила:

— Сегодня пятница, я пришла почитать Коран… — И, не дождавшись, что скажет Ултуган, принялась читать молитву.

Она читала монотонно, нараспев, лицо ее было спокойным, отрешенным от мирской суеты. Казалось, само время шло мимо нее, обтекало эту старуху. Потом она раскрыла ладони, помолилась за отца и мать Ултуган, провела ладонями по лицу. Ултуган вначале была раздосадована тем, что старуха явилась так некстати, но искреннее желание соседки устроить потустороннюю жизнь покойных растрогало ее, и она налила старушке чаю.

Выпив несколько пиалушек чая, старуха вытерла пот со лба и сказала:

— Свет мой Ултуган, я вижу, ты торопишься, и поэтому скажу о своем деле коротко.

Она посетовала на то, что бог не дал ей, Ултуган, счастья нянчить, ласкать своих детей, но вот совсем кстати племянник ее надумал жениться, просил узнать: согласна ли Ултуган принять его предложение.

— Свет мой, соглашайся. Он еще молод, ему и пятидесяти нет, — сказала старуха.

— Спасибо, бабушка, да ведь у вашего племянника уже есть своя жена, — напомнила Ултуган, смеясь.

— Есть, есть, — кивнула, не смутившись, старуха, — но она не против, пусть, говорит, женится на другой. А если так, то и закон не против, — и как бы отрезала путь к отступлению.

Ултуган молчала, не найдя, что сказать и как поскорей избавиться от сватьи.

— Подумай, свет мой, подумай. Посоветуйся с кем, — сказала старуха, уходя.

Ултуган обвязала цветным платком голову, оставив открытыми только глаза, и вышла из дому.

Грузовая машина стояла на площади перед конторой, поджидала народ. Людей уже набилось в кузов немало, в основном это были женщины. Ултуган тоже залезла в машину и села в заднем углу, стараясь не бросаться в глаза. Но ее сразу заметили, и одна из молодок ехидно спросила:

— Да никак это ты, Ултуган? Почему не скажешь нам «здравствуйте»?

Ултуган промолчала, сделала вид, будто не слышит, и, чтобы это выглядело убедительней, повернулась лицом к борту. Вот именно таких, языкатых, она и опасалась. Но теперь ничего уже не поделаешь: коль попала в эту компанию, надо терпеть. И лучше помалкивать.

— Посмотрите на нее! Она даже разговаривать с нами не хочет. Как будто нас и нет, — не унималась молодка.

— Не трогай ее. Ты что? Хочешь, чтобы она увела и твоего мужа? — вылезла другая, такая же молодая и вредная.

— Ой, об этом я и не подумала! — подхватила первая насмешница, хотела прикинуться испуганной, да не выдержала и захохотала.

На глаза Ултуган навернулись слезы. Ей было обидно, хотелось сказать, что все это неправда, но она удержалась, не ответила.

А женщины словно соревновались, кто уколет больней Ултуган:

— Но кто больше всех пострадал, так это бедняга Майдан. Его больше всех жалко.

— Ии, так ему и надо, долговязому.

— А утром-то сегодня Сандибала поехала в район. Слышали, женщины?

— Вот дура-то, сама его до тюрьмы довела, а теперь поехала выручать.

Но вот подошли остальные члены бригады. Машина тронулась в путь, ее мотор загудел, заглушил голоса женщин, а встречный ветер понес злые слова мимо ее ушей.

Когда приехали к роднику Когалы, Ултуган постаралась первой выскочить из кузова, взяла в руки вилы и ушла, отделяясь от бригады, к дальнему стогу. Ей казалось, что женщины, все до единой, презирают ее и никто не захочет работать с ней рядом. До самого обеда Ултуган ни разу не подняла головы, не посмотрела в их сторону. Если до нее долетал чей-то смех, она принимала его на свой счет и краснела, готовая провалиться под землю.

В обеденный перерыв женщины собрались возле кустов и, наломав ветвей, соорудили нечто вроде навеса. Потом расселись в тени, и каждая поставила на общий стол то, что захватила с собой для обеда. Кто торсук с айраном, кто с кислым коже. Ултуган сделала вид, будто собирается стирать свой платок, пошла к роднику. Второпях, из-за старой соседки, она забыла, не взяла с собой айран; хорошо еще, хлеб прихватила. Она сидела на траве, макала хлеб в воду и ела, радуясь тому, что женщины оставили ее в покое.

Они обедали весело, шумно, обсуждая и колхозные, и свои, домашние, дела. И вдруг одна из них, пожилая женщина, громко спросила:

— А где же Ултуган? Почему она все время нас избегает?

Ей что-то вполголоса сказали.

— А вам-то какое до этого дело? А ну, хватит болтать! — сердито ответила пожилая женщина. — Пошутили раз, и достаточно. Она тоже хороша, эта Сандибала; если она такая умная да сильная, что же не удержит Майдана в узде? Все, все! Я больше об этом и слышать не хочу! Эй, Ултуган! Ултуган!

— Да, тетя! — почтительно откликнулась Ултуган.

— Что скучаешь одна? Иди к нам! — не отставала добрая женщина.

— Я не скучаю.

— Иди, иди! Да поскорей. Если ты и виновата, то только перед Сандибалой! Ну иди же!

— Поешь с нами, Ултуган! Не стесняйся! Водой сыта не будешь! — заговорили другие женщины.

Раньше Ултуган оскорблялась, когда ее начинали жалеть вот так открыто, на людях. Но сейчас к ее горлу подкатил комок, ее захлестнула теплая волна благодарности.

— Сейчас! Иду! — откликнулась она поспешно.

Ултуган хотела присесть с краю, однако женщины подвинулись, освободили ей место в середине.

— Проходи, милая, садись, — сказала добрая женщина и усадила рядом с собой.

И никто более не говорил ей колкости, будто добрая заступница побрызгала на женщин водой, привела их в чувство. А молодка, которая затеяла в кузове травлю, теперь сама подала ей чашку с айраном.

Наутро третьего дня зарядил сильный дождь, и уборщиков сена оставили дома. К обеду дождь поутих, и Ултуган отправилась в магазин — решила пополнить запасы чая и сахара. Сделав покупки, она уже собралась уходить, да тут в магазин ввалился Орак. Ултуган не видела его уже несколько месяцев. За это время он сильно растолстел, обзавелся одышкой, дышал тяжело, со свистом. На улице было пасмурно и прохладно, а лицо его было красным и потным, словно он только что явился из бани.

Увидев Ултуган, Орак сперва широко заулыбался, потом вспомнил, что еще не принес ей своего соболезнования, и сказал:

— Ултуган! Пусть после смерти твоего отца благополучие не оставит твой дом!

Сделав трудное для себя дело, выпалив сразу такое количество слов, Орак облегченно вздохнул и протянул руку:

— Ну, здравствуй!

Его большая ладонь стала пухлой и жирной от пота. Пожимая ее, Ултуган почувствовала брезгливость. Пока Орак оправдывался, объяснял, почему не мог к ней зайти, она изумленно спрашивала себя:

за что так долго любила этого человека? Она пристально смотрела на него и не находила никаких достоинств. А он, как всегда, смеялся и к месту, и не к месту: «ыри-ыри».

Вернувшись домой, она еще долго вспоминала липкие руки Орака, его большой живот. Слышала его глупый гогот. А как тужился, краснел, подбирая слова соболезнования. «Да он же тупой, недалекий, бедняга! — говорила она себе. — А я-то еще мечтала выйти за Орака замуж. Стыд-то какой!.. Нет, уж лучше навеки остаться одной!»

4

Ей приснилось, будто кто-то тихо, но настойчиво стучит в окно. Ултуган проснулась, села на кровати, напряженно вглядываясь в темноту. Сердце ее билось так часто, будто она не спала, а бежала изо всех сил. Но в комнате было тихо. Наверное, уже наступила полночь. «Да, стучали во сне», — разочарованно подумала Ултуган. И в этот момент снова побарабанили в окно, осторожно, пальцем.

— Ултуган, это я…

А дальше она ничего не помнила: как соскочила с постели, как открыла дверь и повисла на шее Майдана. Она не заметила, что у него отросли борода и усы. Приникла к нему, застыла вместе с ним на пороге дома. Совсем не думала о том, что их может увидеть любой полуночный гуляка.

— Подожди, Ултуган, дай пройти в комнату. Я грязный с дороги, — смущенно попросил Майдан.

— Грязный? Ну и пусть! Пусть! Пусть!..

Она звонко целовала его губы, глаза, щеки, нос…

— Все равно буду тебя целовать, родной мой! Я соскучилась по тебе!..

Наконец Майдану удалось протиснуться вместе с ней в переднюю комнату, и они еще долго стояли обнявшись, ласкали друг друга, пока не утолили свою тоску.

За домом, в сарае, шумно захлопал крыльями, прокричал петух…

— Ултуган, пусти. Я умоюсь.

— Сейчас, сейчас. Я согрею воды. Сама выкупаю тебя.

Все так и замелькало в ее ловких руках. Она в два счета развела огонь под казаном, согрела воду и, невзирая на протесты и стеснение Майдана, раздела его и вымыла, словно первенца.

— Бедный мой, и раньше ты не был толстым, а теперь и вовсе одни ребра торчат, — говорила она, вытирая его полотенцем.

Майдан перестал сопротивляться, блаженно затих. Ултуган одела его в рубаху и брюки своего отца и принялась стирать грязную одежду Майдана. Стирала и поглядывала на него. Майдан тоже не сводил с нее глаз, следил за каждым движением. Голова его была пострижена наголо, щеки запали, лицо обросло усами и бородой. И только глаза Майдана сверкали молодо, призывно.

— Полежи, отдохни, — сказала Ултуган.

— Подожду. Ляжем вместе.

— Как ты добрался?

— Пешком пришел.

— Господи, от самого района пешком? — испугалась Ултуган.

— Только вечером освободили. Последний автобус уже ушел, а ждать утра не было смысла. Все равно ни копейки в кармане. Вот я и потопал.

— Проголодался, конечно.

— Совсем немного, — поделикатничал Майдан.

Быстро покончив со стиркой, Ултуган развела в самоваре огонь, выложила на дастархан все самое вкусное, что имелось в доме. Чай на этот раз казался им особенно вкусным; они пили долго, пиалу за пиалой. А под утро Ултуган подоила корову, отпустила ее, повесила снаружи на дверь замок и, как в далеком детстве, залезла в комнату через окно.

— Пусть думают, что ушла. Иначе не будет покоя, — объяснила она Майдану.

После этого они легли и спали весь день. Проснулись только однажды, когда часов в двенадцать к дому прискакал верховой. Покрутился на коне перед дверью, и Ултуган услышала голос бригадира Сагынбая.

— Тетя, куда ушла Ултуган? — спросил он у старой соседки.

— Кто знает. Дверь с самого утра на замке, — ответила старуха.

— Может, опять покатила в район? — спросил бригадир самого себя, сам же себе ответил: — Наверное, так и есть. Совсем спятила

женщина, — сказал и уехал.

Ултуган и Майдан от всей души посмеялись над соседкой и бригадиром, над тем, как ловко их удалось обвести вокруг пальца. Потом прижались друг к дружке и ушли в беззаботный сон. Чем кончится вся эта история, к каким последствиям приведет их новая встреча, о том они не думали. Они снова вместе — остальное ничего не значило.

— В тюрьме было плохо? — спросила вечером Ултуган.

— Да хорошего мало. В первый вечер хотелось себя убить. Нашел под нарами лезвие и спрятал. Решил: вот все уснут, и перережу вены. Зачем жить после такого позора?

— Боже упаси, не говори так!

— Все уже позади, Ултуган. Я подумал о тебе и выбросил лезвие. Не имел я права умирать, Ултуган. Потому что еще есть ты, моя любовь. Наверное, только попав в такую беду, начинаешь понимать, что дороже всего на свете.

Так закончился этот длинный счастливый день. Ночью, когда аул заснул и на улице стало безлюдно, Ултуган вылезла в окно, открыла дверь и занялась хозяйством — подоила корову, сходила к реке за водой. Майдан помогал — поколол дрова, переделал другую мужскую работу. Под утро Ултуган снова повесила на двери замок, и они снова спрятались от людей.

Этот день тоже был долгим и радостным. Они спали, просыпались, ласкали друг друга и засыпали, утомленные счастьем. А за стенами дома ходили, переговаривались люди, мычали телята, кудахтали куры, по улице проносились верховые и машины, а за ними с надрывным лаем бежали собаки. Словом, там шла своим чередом обычная жизнь, далекая в эти минуты от них.

На вторую ночь они вышли из дома и, взявшись за руки, гуляли в степи, за аулом. Сидели на траве, влажной от вечерней росы, приятно холодившей горячее тело, и говорили о своем будущем.

— Нам лучше всего уехать отсюда, — сказал Майдан. — Поселимся в Карсае. Я устроюсь на станцию. А ты как захочешь: пойдешь работать или будешь хозяйничать дома. Вместе не пропадем. Да и много ли нам надо с тобой?

— Немного, — подтвердила Ултуган. — Как было бы хорошо готовить тебе обеды и ждать, когда ты вернешься с работы.

— Так и будет, Ултуган!

— Майдан…

— Что, дорогая?

— Я… как бы тебе сказать… кажется, я беременна.

— Это правда? Родная моя, я так этого ждал! Теперь уж нам и вовсе нельзя расставаться. Мы связаны с тобой навеки!.. Э-э, да ты совсем замерзла!

— Пойдем домой, Майдан, — она и вправду зябко поежилась.

На востоке начинало светлеть. Темнота отступала на запад, пядь за пядью отдавала рассвету степь. Мир заливало сиреневым светом. Уже просыпалась природа, и первыми перепелки подавали о себе весточку, перекликались: «Быг-был-дык», «Я здесь, я здесь».

А дольше предыдущих тянулся третий день. Время будто остановилось. Они утолили любовную жажду, неистовую в первые дни, отоспались и после обеда просто лежали, болтали о пустяках или ходили по комнате. Или от нечего делать поглядывали из-за краешка занавески на улицу и сообщали, кто что увидел.

— Майдан, посмотри, как соседский гусь гоняется за козленком, — смеясь, звала Ултуган.

— Ултуган, а вон проехал Сагынбай на коне. Наверное, все ищет тебя, да никак не найдет, — шутил Майдан.

— Ну а тебя-то разыскивает Сандибала. Куда это, наверное, думает, Майдан запропастился, — ответила шуткой Ултуган и спохватилась: уж не хватила ли через край?

Но Майдан не обиделся, отмахнулся беспечно:

— Ну и пусть поищет. Пусть попробует найти.

Прошел час-другой, а потом Ултуган вздохнула и задумчиво произнесла:

— Неужели так и будем прятаться от людей? Днем раньше, днем позже, все равно нас кто-нибудь увидит.

Они отвели глаза, боясь встретиться взглядами; они знали, что рано или поздно, но идиллии придет конец. Настроение их упало.

— Майдан, скажи сколько у тебя детей? — спросила Ултуган будто бы безразличным тоном.

— Четверо. Да и будь их даже десять, а к Сандибале я не вернусь! — запальчиво ответил Майдан.

— А я тебя не пущу, если ты даже захочешь вернуться! — заверила его Ултуган. — Какое мне дело до детей Сандибалы. Ты мой, мой!

Теперь они с нетерпением ждали наступления ночи. Им хотелось выбраться снова в степь, погулять, как вчера, взявшись за руки, подышать свежим воздухом. Но вечером, к их разочарованию, небо заволокло сплошными грозовыми тучами. Сверкнула молния, раскатисто прогрохотал гром, и хлынул сильный ливень, встал перед ними сплошной стеной. Он хлестал всю ночь и иссяк только к обеду следующего дня.

Хмурая серая погода томила Ултуган и Майдана, будила неясную тоску. Они грустно молчали, сидели точно побитые, только изредка перебрасывались ничего не значащими словами.

Во второй половине дня из-за туч пробилось солнце, засверкало, заливая аул лучами. Ултуган ожила, встрепенулась, предложила Майдану:

— Майдан, пойдем на улицу. Там так хорошо! Надоело дома сидеть.

— Но ведь нас увидят, — напомнил Майдан.

— Ну и тем лучше.

— Пойди одна, погуляй. Я тебя подожду дома.

— И ты не обидишься?

— Конечно, нет. Только закрой меня снаружи.

— А я пойду разведаю, ладно? — виновато сказала Ултуган. — Посмотрю, что делается на белом свете. Если спросят, где ты, скажу: уехал в город.

Когда она вышла на улицу, мир показался ей особенно прекрасным. Ливень отмыл заборы и дома почти до первозданной чистоты, освободил от пыли воздух, взору Ултуган открылись, будто через прозрачный магический кристалл, далекие горные вершины. А по синему небу неслись, распадаясь и снова свиваясь в клубки, белые облака, гонимые ветром. Мир показался ей, как никогда, огромным, словно она видела его таким впервые.

Ощущение пространства и свободы пьянило Ултуган, наливало ее тело особенной легкостью. Мысль о том, что она может пойти куда угодно, доставила ей наслаждение. Ей хотелось двигаться, просто шагать, и она пошла в магазин. Она чувствовала, что улица следит за

ней, и гордо расправила плечи, зашагала еще уверенней, тверже. «Правда, говорили в старину: чем больше сгибаешься, тем глубже в тебя вонзают клыки», — подумала Ултуган и порадовалась тому, что ее-то теперь не согнешь.

Людей в магазине оказалось немного: два джигита-скотника, пришедших за водкой или просто так, поболтать с продавщицей, да несколько мальчишек лет шести-семи.

Один из них, смуглый да круглолицый, протянул продавщице две пустые бутылки и решительно сказал:

— Возьмите, а мне дайте конфет.

— Я у тебя посуду не приму. Ты еще маленький. Пусть придет мама и сдаст сама, — отрезала продавщица.

— Мама не может. Она болеет, — сказал мальчик.

— Возьми у него, что тебе, жалко? — вступился один из парней.

— Не жалко. Закон не велит… Да ладно, на этот раз, так и быть, приму. Но больше с бутылками не появляйся, на порог не пущу! — сказала продавщица и, взяв бутылки, наделила мальчика горстью конфет, даже не взвешивая.

— А у нас все пустые бутылки закончились, — весело ответил мальчик и выбежал вместе с друзьями за дверь.

— Какой славный мальчик! Чей он? — спросила Ултуган, умиляясь.

— Да это же сын Майдана, — рассеянно сказала продавщица и, спохватившись, испуганно закрыла рот.

Ултуган словно ударили по лицу. Щеки ее полыхнули огнем, сердце сжалось. Не зная, что сказать, она выскочила на улицу и остановилась, переводя дух.

А рядом, у крыльца, еще стояли мальчишки и делили конфеты. Ултуган окинула их взглядом. Который из них сын Майдана? Ах, вот же он! Он и делит добычу.

— Мальчик! А мальчик! Как тебя зовут? — спросила Ултуган, волнуясь.

— Сайлан! — ответил тот, не отвлекаясь от своего занятия.

— Мама твоя и вправду больна?

— Конечно, правда. Сегодня врач приходил. Говорит, у нее сердце больное.

Мальчишки, закончив дележ, помчались по улице. И Сайлан впереди всех. А Ултуган так и застыла на месте. От еще недавней радости, ощущения легкости, которое только что будто бы несло ее над землей, не осталось и следа. Ее сменила тяжесть, легла на плечи, подмяла под себя. «Нет, нет, тут что-то не то. Не может все оказаться так плохо, так вдруг! Сайлану хотелось разжалобить продавщицу, а мне он открыться не посмел. Видел меня в магазине», — решила Ултуган и, не сдаваясь, повернула к дому Майдана. Она должна немедля увидеть саму Сандибалу. Убедиться, что мальчик сказал неправду.

Этот дом Майдан построил года четыре тому назад, когда работал бригадиром. Дом был просторным, на четыре комнаты, и с широкой верандой. На веранде стояла девочка лет десяти, с растрепанными косичками, и, согнувшись над тазом, стирала белье. Ултуган догадалась, что это старшая дочь Майдана. «Нос и рот Сандибалы, а глаза моего Майдана», — ревниво отметила Ултуган. Девочка отжала детскую рубашку и положила на перила веранды.

— Девочка, мама твоя дома? — спросила Ултуган, стараясь казаться поласковей.

Девочка обернулась, и лицо ее стало холодным, глаза, глаза Майдана, колючими. «Она уже большая, видно, все знает», — подумала Ултуган, и ей почему-то стало перед девочкой неловко, точно она в самом деле была виновата.

— Мама спит. Будить ее нельзя, она болеет, — враждебно ответила девочка.

Ултуган замялась, окинула взглядом веранду. В открытую дверь виднелась часть комнаты. И веранда и комната были запущены. Повсюду лежала пыль, валялась разбросанная детская одежда, на столе стояла гора немытой посуды. Пол украшали серые полосы. Девочка мыла его, да, видно, не хватило силенок.

Тяжело было Ултуган смотреть на дом, в котором, почувствовав болезнь хозяйки, поселились запустение и разор. Сердце ее заныло от жалости.

А девочка, точно забыв про незваную гостью, снова занялась стиркой. Ултуган ждала, сама не зная чего.

С улицы донесся детский плач. Девочка пробежала мимо Ултуган, вытирая о фартук мокрые руки, и вскоре послышался ее сердитый

голос. Старшая дочь Майдана выговаривала кому-то:

— А ты что смотришь? Я же сказала тебе: поиграй с ним, чтобы он не плакал.

Ултуган спустилась с веранды и увидела еще одну девочку, помладше первой, катавшую тележку, в которой сидел двухлетний малыш. Ултуган повернулась и зашагала к себе домой. Она шла быстро, почти бегом, даже задохнулась от спешки, но, не останавливаясь, дернула дверь и влетела в прихожую.

— Майдан… Майдан… Сейчас же оденься и ступай! — крикнула Ултуган, тяжело дыша.

— Что случилось? — спросил Майдан, выходя из передней комнаты. Он был в брюках и майке.

— Я тебе говорю… одевайся!

Майдан пожал плечами, ничего не понимая, и пошел в комнату за рубашкой. Ултуган прислонилась к стене.

— Да что случилось? На тебе нет лица, — спросил из комнаты Майдан.

— Сходи к себе домой.

— А что я там не видел? — Майдан вышел в рубашке, глаза его от удивления стали круглыми.

— Сходи и посмотри. Майдан, дорогой, ради меня иди, посмотри. Я никуда не денусь. Я буду здесь. Майдан, сделай, как я прошу. Потом ты вернешься.

Майдан что-то хотел сказать, потом долго молчал, опустив голову. Но Ултуган не унималась, и он, поняв, что она не отступится от своего, сдался, угрюмо сказал:

— Ладно, я пойду. Но знай: завтра я все равно вернусь в твой дом. Теперь я не смогу жить без тебя.

— Спасибо, Майдан… Только поцелуй меня… И ступай, мой родной…

Она видела в окно, как Майдан, ссутулившись, вышел из дома и побрел по улице, долговязый и нескладный, но такой дорогой.

На другой день он, как и обещал, отправился к Ултуган, по дороге решил завернуть в контору, поговорить с председателем колхоза. В конторе было людно. Колхозники толпились в коридоре и горячо обсуждали какое-то событие. Увидев его, Майдана, они было умолкли, но тут же к нему протолкался возбужденный Сагынбай.

— Майдан, она уехала. Насовсем. Куда — никто не знает…

Майдан, не дослушав, не веря своим ушам, побежал к дому Ултуган. Но дом ее и вправду стоял заброшенный, с распахнутой дверью, с окнами, открытыми настежь.

Ноги Майдана подломились, он растерянно сел на порог. Он сразу понял, что потерял Ултуган. Но вот другое было не ясно, и оно терзало душу бедного Майдана. «Зачем? Почему Ултуган сделала это?» — спрашивал он себя без конца.

НЕКИЙ

Он поднял было ружье, но кеклики, словно угадав его намерение, шумно снялись с места, полетели на другую сторону оврага. Отяжелевшие от жира, они неуклюже, как-то боком, будто преодолевая встречный ветер, летели сквозь сетку падающего снега. Добравшись до той стороны оврага, они плюхались в снег и разбегались между камнями. Головки их так и мелькали среди темных каменных проплешин.

Он тоже побежал туда, нелепо размахивая руками, по колени увязая в сугробах. Колючие крупинки снега хлестали по лицу, но он, не чуя ног под собой, не замечая ни снега, ни острых когтей шиповника, цепляющегося за полы полушубка, бежал, помышляя только об одном, не сводя глаз с той стороны оврага, где в панике мелькали меж камней головки кекликов. Теперь наступал самый важный момент охоты. «Не меньше двух, — твердил он себе. — Двух кекликов обязательно. Не меньше… Ничего не скажешь, мне все-таки повезло!» Да, наконец ему повезло: с утра он бродил, искал эту проклятую дичь, и вот она — перед его глазами. Теперь он сделает то, что задумал, теперь-то он заставит Алибека Дастеновича сказать свое «ор-ри-гинально» и удивленно поцокать языком. «Самое меньшее двух…»

Вдруг где-то под левым ухом оглушительно грянул выстрел. Кто-то резко толкнул его в плечо, он потерял равновесие и сел в снег. И тотчас прогрохотал второй выстрел, и опять где-то рядом, прямо под боком. У него кругом пошла голова: не понимая, что же случилось, он хотел рывком подняться на ноги, но снова повалился в глубокий рыхлый сугроб. Кто же его толкал? Кто стрелял в этакой близи, прямо под ухом? В левом плече нестерпимо запекло; словно отзываясь на эту боль, заныло и левое бедро. Ах, вот оно что! Стреляли в кекликов, а попали в него! Но кто же этот болван? Он осторожно перевалился на правый бок, слегка приподнялся на руке и посмотрел по сторонам. Никого. Только не сильный, но настойчивый ветер. Да низко свисающая серая мгла, из которой сыпал крупитчатый снег. Увлеченный азартом охоты, он заметил все это только сейчас. А

кеклики? Он невольно бросил взгляд на камни, туда, где только что суетливо метались кеклики. Теперь там никого не было. «Улетели! Они услышали выстрелы и снялись. Все до одного! Какая жалость! А такие жирные были кеклики… Парочку хотя бы. Уж Алибек Дастенович точно бы зацокал языком», — подумал он с досадой. Но пора было заняться собой. Никого, разумеется, поблизости не было. Стреляло его собственное ружье. Еще качалась ветка шиповника, зацепившая спусковой крючок. Из стволов еще тянуло запахом жженого пороха. От мысли, что он чуть не убил самого себя, ему стало дурно. «Но смотрика, оберегла меня судьба, не захотела смерти моей», — пробормотал он с радостным удивлением. И надо же: чуть не почувствовал себя счастливым. Жив! Жив!

Он осторожно поднялся, преодолевая ноющую боль в левом плече и бедре. По телу волнами пробегала противная дрожь. Кружилась голова. Он перевел дух, расстегнул верхние пуговицы полушубка и правой рукой осторожно потрогал раненое плечо. Пальцы наткнулись на теплое, влажное. Он вытащил руку и увидел кровь. А с левой ногой и без осмотра все было яснее ясного: кровь просочилась сквозь дырку, оставленную пулей на внешней стороне штанины, алела пятнышками на белом снегу… И все же осмотр его удовлетворил. Внутренние органы были не тронуты, кости целы, значит, раны были сущим пустяком. Теперь он не знал — плакать или смеяться. Охотничек, называется… Но плакать уже вроде бы ни к чему. Да и смеяться тоже. Все-таки раны, что ни говори.

Он подумал, что надо бы их перевязать, но тут же понял, что из этой затеи ничего не выйдет. На таком морозе, пока снимешь и снова наденешь толстый полушубок да ватные стеганые брюки, наверняка околеешь от холода. Ну, допустим, он все-таки разденется и разорвет нижнюю рубаху, но как перевязать плечо и бедро, если и палец-то забинтовать не умеет? Такая повязка сползет через каких-нибудь пять минут. Нет, уж лучше оставить, как есть. Да и раны, в общем, терпимые. Он с ними еще кекликов пойдет искать. К пропасти они улетели. Больше им некуда деться.

Даже сама мысль, что он может вернуться в город с пустыми руками, казалась нестерпимой. Но первые же шаги вниз по склону оврага его отрезвили: здесь с каждым шагом снег становился все глубже, все коварней. И хватит ли ему сил потом подняться наверх? Да

и на той стороне придется прыгать с камня на камень. Словом, пока не поздно, лучше вернуться в аул да прямиком в амбулаторию! Даже с легкой раной опасно шутить. Вон в прошлом году один джигит сколупнул на лице маленький прыщик и умер — началось заражение крови, а от этой штуки уже никого не спасешь.

Он заковылял назад, по своему следу, опираясь на ружье, точно на палку. По его телу вновь побежала нервная дрожь. Видно, еще не вышел испуг, таился еще в глубинах души. Он остановился, подождал, давая себе возможность успокоиться. Если плечо по-прежнему сильно саднило, то боль в ноге притупилась, и это подбодрило его. Он снова двинулся в путь.

Наверху, на открытом месте, снега тоже намело по колено. Белая крупа продолжала падать, засыпая его следы. И те становились все мельче, их очертания все неясней, а вскоре следы и вовсе исчезли под слоем свежего снега.

«Пустяки, — сказал он себе, — вот сейчас перевалим через два холма, а там и выйдем на санную дорогу, по которой возят сено на фермы».

На всякий случай он огляделся, определяя свое местонахождение. Ну, конечно, вон там лощина Куркулдек, куда он частенько бегал в детстве, а под ногами его, под снегом, клеверное поле. До аула отсюда шесть, самое большее семь километров, и домой он теперь даже с закрытыми глазами дойдет. Вот только бы хватило сил, не потерять бы много крови. А она продолжала сочиться, левый валенок внутри стал влажным. Рубашка и пиджак на плече тоже разбухли. Появился озноб, значит, поднялась температура. «Только не паникуй, ничего страшного не случилось, — сказал он себе. — Скоро ты будешь среди людей, в тепле. Тебя перевяжут, и ты будешь жалеть только об одном, что вернулся без кекликов». Да, вот кекликов он так и не взял, досадно. Ради них он и приехал в свой родной аул. Хотел увидеть Алибека Дастеновича, чтобы тот поцокал языком и сказал: «Ор-ри-гинально!» Ну ничего, зато он узнал, где они водятся, кеклики, завтра, если погода наладится, он вернется сюда. Он еще удивит Алибека Дастеновича, заставит поцокать языком.

Глубокий снег словно хватал его за ноги, замедляя движение. Раненое плечо отяжелело, его приходилось нести точно груз. И ружье — вот уж он никогда раньше не замечал, что его ружье весит так

много, будто из цельного куска железа. Он расстегнул ремень и поволок ружье за собой по снегу. Прикинул: если идти с такой скоростью, до аула можно добраться за два часа. Но возможно, его подберут на санной дороге. Должен ведь кто-то отправиться за сеном, черт побери! Главное — не думать о ранах, думать о чем-нибудь другом. О чем угодно, только не об этом.

Он начал думать о двоюродной сестре Батиш и ее сыновьях. Утром, когда он собирался на охоту, проверял напоследок патроны, Батиш попросила денег взаймы. В магазин завезли детскую одежду, и у нее не хватало пятнадцати рублей на пальто старшему сыну. Собравшись, повесив на плечо ружье, он вышел на улицу и встретил сестру и своих малых племянников, уже возвращавшихся из магазина с покупкой. Пальто, предназначенное старшему брату, надел на себя младший сын Батиш; его полы и длинные рукава волочились по снегу. Законный владелец покупки брел сзади, чуть не плача, пытаясь временами овладеть своим новеньким пальто. Но каждый раз, когда он приближался, малыш поднимал истошный крик. «Не трогай его, — говорила старшему Батиш, — скоро ему надоест, и он сам отдаст пальто». Наконец малыш запутался в полах, упал и, решив, что его толкнули, устроил неописуемый рев. «Вот так и мы с Айташем в детстве», — вспомнил он растроганно тогда. Айташ, старший брат, всегда терпеливо сносил его баловство и капризы. Бывало, ничем не выдаст своего недовольства. Но нет уже старшего брата Айташа в живых…

На глаза его навернулись слезы, захотелось лечь и поплакать. И по брату, и… вообще. Наверное, от усталости, от того, что позволил себе расслабиться. Но вот этого-то и нельзя было делать. «Держи себя в руках, не распускайся. Собери все свое внимание в кулак. Снег идет и идет, это уже настоящая метель. Поторопись! Нужно дойти, пока не стемнеет, иначе будет еще трудней». Но пора бы и на санную дорогу выйти. Куда же делась она? И верно ли он идет? В какой стороне осталась лощина? Он снова осмотрелся. Открытая степь и сплошной снег. Не за что зацепиться глазу. Но есть еще ветер. Ветер дул в правую щеку, когда он выбирался из лощины Куркулдек. Значит, нужно повернуться вот так. Теперь все верно. Аул вон в той стороне…

А что же было дальше? Он помахал рукой Батиш и пошагал в степь. И там, уже вдали от аула, наткнулся на черного кобеля. Как тот

угодил в капкан, поставленный в глубинах степи, об этом оставалось только гадать. Но гадать было некогда. Бедняга мучился, наверное, уже дня два. Отощал, выбился из сил, пытаясь вырваться на волю. Но и освободить его не так-то было просто. Кобель впал в крайнюю ярость, видно, принял его за хозяина капкана. Он полчаса кружил вокруг пса, пробовал подойти и с той, и с другой стороны. И успокаивал, и говорил ласковые слова. Но кобель рычал, скалил клыки, не подпускал к себе ни на шаг. В какой-то момент он хотел бросить эту затею и уйти и даже в сердцах сказал: «Ну и пеняй на себя, подыхай, если хочешь». Потом представил, в каких мучениях подохнет собака, и решил ее пристрелить. Однако руки отказывались поднять ружье. Собака не дичь, живет среди людей. И выстрелить в нее — почти что выстрелить в человека. В конце концов его осенило: он снял с себя тяжелый, толстый полушубок, накрыл им пса и с великим трудом открыл замок капкана. Кобель не стал искушать судьбу, припустил во весь дух, и его отрывистый лай еще долго отдавался эхом в заснеженных холмах.

«Интересно, что за глупец поставил капкан? Кого собирался поймать в это время? Не собаку же, поди?.. Ээ, да, кажется, и я не умнее. Ветер дует справа, как и положено. Но почему здесь оказались кусты? И спуск в лощину? Но по дороге в аул нет ни одной лощины». И как назло, невыносимо заболело плечо, левая рука стала тяжелее ружья, а кровь уже будто бы пропитала всю одежду, и в валенке, и за пазухой полушубка. Слабость тянула его к земле за подол, хотелось лечь в мягкий снег, отдохнуть. А по тому, как бил его озноб, он понял, что температура поднялась еще выше.

«Не стой, иди, иди!» Но куда идти, в каком направлении, этого он теперь не знал. Вокруг был только снег, словно кто-то наверху просеивал его сквозь гигантское сито. Да проглядывали сквозь мутную сетку снега неизвестно откуда взявшиеся кусты шиповника, чужие, нахохлившиеся под снежным малахаем.

«Бог мой, неужели я заблудился? Да ну, не может быть». На всякий случай он покричал, и крик его унесло ветром неизвестно куда. К тому же орать в полный голос было неловко — сразу отдалось в больном плече. Тогда он зарядил ружье и, подняв его с трудом правой рукой, выстрелил вверх. Но и этот звук увяз в снежной каше. «Ничего себе ситуация. Нелепей не придумаешь». Но надо было двигаться, хоть куда-то идти. День уже клонился к вечеру. Он по-детски мечтательно

подумал: пусть бы на секунды две-три исчезла метель, дала бы ему оглядеться, а там смешай небо с землей, он бы все равно вышел к аулу.

Он обнаружил, что снова остановился, и снова погнал себя вперед. Нужно было двигаться, двигаться… Это ничего, что кружится голова и, наверное, потеряно много крови. У него организм крепкий, он не из слабых людей. И терпеть бедствие для него не впервой. Вот прошлым летом, когда он повез студенческую строительную бригаду на одну из дальних кошар, машина сломалась, и они просидели в песках трое суток. Зной был адским, воды четыре бутылки на всех, и до ближайшего жилья сто пятьдесят километров. Так вот, на второй день свалились все, кроме него, он же, взяв ведро, отправился искать воду и на третьи сутки нашел старый колодец, тащил оттуда ведро с водой, спас, можно сказать, от гибели бригаду. Не-е, что-что, а здоровье у него железное…

Впереди сквозь сумеречную пелену возникло приземистое дерево. Он узнал его. Это был боярышник, а за ним начинался глубокий овраг. Овраг так и называли: Одиноким деревом. Вот он куда попал!.. Тут было впору сесть на снег и завыть. Одинокое дерево находилось совсем в другой стороне. От него до аула было километров десять, не менее. Он завороженно смотрел на дерево, будто на знак, предвещавший беду. А редкие искривленные ветви боярышника шевелились под ударами ветра, словно патлы старухи. И бусинки ягод, свисавшие кое-где на манер скудных украшений, как бы дополняли такое впечатление. Ему стало жалко и себя, и это дерево, одинокое. А кому хорошо в одиночестве? Он и сам казался сейчас себе тоже одиноким, заброшенным. Доберется ли он теперь до аула? И аул, и дом двоюродной сестры Батиш стали вдруг недосягаемы, точно отодвинулись на край света. А ведь этот кусочек степи был ему знаком не меньше его теперешней городской квартиры, — ну не ирония ли судьбы? Еще в детстве он бегал сюда, носил матери воду на сенокос. Лазил на боярышник и рвал его ягоды. Бывало, завяжет рубаху у пояса узлом и давай набирать за пазуху ягоды. Много набирал, рубашка на животе так и отдувалась. Под этим же боярышником они и плакали с матерью, когда пришла похоронка на отца. Малым был, а значит, и глупым, не осознавал до конца, что означало слово «погиб», и плакал, и ел ягоды одновременно. Стоило матери отвести глаза или закрыть их от горя руками, как он тотчас совал ягоды в рот и торопливо ел,

сплевывая косточки так же тайком. Старший брат Айташ, ходивший за конем, впряженным в борону, заметил эти уловки, подошел и дал ему подзатыльник… Да, сколько событий было связано с этим деревом и оврагом, которому оно дало свое имя. Одних только игр не перечесть. Но все это происходило летом. И летом у боярышника вид не был этаким сиротливым и жалким. С весны он пышно распускал свои листья, стоял богатырем, вобравшим в себя силу и мощь всей округи. К нему слетались стаи птиц и строили гнезда на его широких ветвях, а колхозные косари искали в его тени спасение от палящего зноя. Все это было летом. А зимой дерево уже и в самом деле становилось одиноким. Как только увозили последний стог, люди здесь не появлялись до самой весны. Значит, на случайную встречу ему рассчитывать нечего. Разве что будут его искать. Но пройдут сутки, а то и более, пока спохватится Батиш. Он уже не раз ночевал в степи, уходя на охоту, и сестра к его задержкам привыкла. Когда это случилось впервые, она подняла на ноги аул, всех переполошила. А он тогда, увлекшись охотой, зашел далеко, не заметил, как стемнело…

Так и сейчас: уже начинало темнеть, день кончался, а метель по-прежнему не унималась. Слава богу, сестра Батиш убедила его одеться потеплее, а то бы совсем было худо.

Он повернулся лицом к аулу и пошел вперед. Ветер теперь давил в его левое, больное плечо. Боль перекочевала в голову, начинало поташнивать. А ружье превратилось в такую обузу, в такой тяжеленный груз, что хоть бросай его и иди налегке. Но этого-то делать не следовало. А ну как встретиться зверь?

«У-уу», — выл ветер и швырял горсти снега в лицо, ослепляя. То и дело приходилось закрывать глаза. Да, впрочем, и от них уже не было проку. На степь опустилась тьма, стало черным-черно. Пока прямо своим носом не уткнешься, все равно не увидишь ничего. Он почувствовал себя совершенно беспомощным, как в далекие детские годы. Но тогда рядом с ним был старший брат — Айташ — его надежная опора. Айташ бы и теперь что-нибудь сделал и спас. Но нет старшего брата. «В чем я провинился? За что меня так?.. Если останусь жив, всех уничтожу! Всех!.. Всех!..» В его душу хлынула обида и злость. Ему плохо, а всем остальным сейчас хорошо. Он шел плача и ругаясь, обвиняя в своей беде весь мир, и вдруг с ходу ударился о что-то, упал на спину. Задыхаясь, замирая от боли, он

выбрался из глубокого снега. Перед нем чернело нечто похожее на маленький домик, утонувший в сугробе. Он пошел вдоль стены и, дойдя до подветренной стороны, где снега было меньше, обнаружил, что это не домик, а стог сена. Стог, конечно, не бог весть какой подарок, но и за него можно сказать спасибо судьбе. Пусть хоть это, чем ничего!

Спрятавшись за стогом от ветра, он немножко пришел в себя. «Эх, еще бы коробок спичек, и можно было развести огонь и погреться. Да ведь не подумал, не взял с собой, болван», — сказал он себе с упреком. Айташ уж обязательно сунул бы ему в карман коробок. Мало ли что может случиться в зимней степи?

Он присел на корточки и начал здоровой рукой выдергивать сено, строя подобие норы. Слежавшееся сено не поддавалось, к тому же при каждом усилии боль разрывала плечо. То и дело переводя дух, он наконец соорудил себе крошечную пещеру в основании стога, влез в нее задом и, заложив вход охапкой сена, прилег. Ноздри ему щекотал кисловато-терпкий запах. Он крепился-крепился и все же чихнул и охнул от боли. Этого только и не хватало — загнуться от собственного чиха. Нет, скорее носом в воротник, — пока не привык к острому запаху сена. Тепло, покой его разморили, тело размякло, стало точно ватным, он впал в блаженное состояние, как бы отделившись от окружающего мира. Казалось, степь, заверченная бураном, была сама по себе, а он здесь тоже сам по себе. Каждый из них обособился на своем кусочке огромной вселенной. И даже его собственное сознание как бы жило отдельно от тела.

Он лениво подумал: «Отсюда сено вывозят еще к началу зимы. Почему же этот стог остался под снегом? Может, кто-то косил себе? Ну тогда бы тем более, уже свое-то, личное, увезли бы раньше колхозного, позаботились о своем. А впрочем, не вывезли и ладно, тем лучше для меня». Он пребывал на границе между сном и явью, погрузившись в дремоту, и сколько времени это длилось, трудно было сказать. Его разбудил страх. Кто-то рылся в сене, которым был заложен вход. Он прислушался, и ему почудилось чужое дыхание. Казалось, чья-то рука проникла в его убежище и тянет за полушубок.

— Эй! Кто тут?! — закричал он истошно.

И кто-то невидимый и в самом деле отбежал назад.

— Я спрашиваю: ты кто? Эй, отвечай! — потребовал он и со страхом, и с надеждой. Может, вспомнили, приехали за сеном.

Но ему никто не ответил. Сон его как рукой сняло. Он взял лежавшее под ним ружье, на ощупь, в темноте, зарядил. «Пусть сунется еще, спущу оба курка, — подумал он и усомнился в своем решении. — А вдруг все же человек? Только боится. А может, заблудилась чья-то скотина?»

— Эй, не бойся! Подойди! — крикнул он на всякий случаи.

Голос совсем ослабел. Писк, а не голос мужчины. И все же будто шилом кольнуло в плечо. Но все-таки что там снаружи? Нет, никто не отозвался. В степи было тихо. «Может, мне померещилось?» Но в его нору задувал ветер, занося крупицы снега, — значит, кто-то и впрямь разворошил сено, закрывавшее вход.

Он подождал, настороженно всматриваясь в темноту, прислушиваясь к звукам, и потом заложил сеном вход поплотнее. «Наверное, это ветер разворошил, вроде завихрения». Такое предположение его несколько успокоило, и все же каждую минуту надо быть начеку, не спать, держаться.

А кровь хоть и не сильно, но продолжала сочиться из ран. Ею уже пропиталось все белье на левом боку, она уже похлюпывала в сапоге. И сколько еще вытечет до утра? Не будет ли эта потеря гибельной для него? Но он ничем не мог себе помочь. Оставалось терпеть, ждать рассвета. «Не думай об этом, о чем-нибудь другом», — напомнил снова он себе и направил свое воображение в город, туда, к Алибеку Дастеновичу.

«Ор-ри-гинально!» — говорил Алибек Дастенович, произнося это слово каким-то особым образом, раскатисто, сверкая золотым зубом. Интересный он человек, не простой. Умница! Но, если признаться, есть в нем и неприятное что-то. Любит повластвовать над людьми…

«Стоп! Не имеешь ты права осуждать Алибека Дастеновича, учителя своего. Кто, как не Алибек Дастенович, вывел в люди меня? Я все-таки подстрелю двух кекликов и позову его в гости, заставлю поцокать языком… А как же все так получилось? Ну да, в тот раз, когда мы сидели в гостях у Капара, учитель мечтательно сказал: «Но лучше всего мясо кекликов. У него, помимо всего, есть и целебные свойства». Ну, и ты сунулся со своим обещанием. Да и как было не сунуться, если этот нищий Капар закатил такое угощение, выставил

икру и осетрину на стол. Мол, из родного аула прислали. А сам небось всю свою паршивую зарплату на это потратил. Обошел меня, сукин сын. И это, когда место заведующего отделом еще свободно. Знает, как любит Алибек Дастенович поесть. И тот действительно ел так, словно ничего лучшего в жизни не видел. И тост за Капара поднимал. И кое-кто истолковал это так, что не я, а Капар ныне первый кандидат на заведование отделом. Эх, был бы жив Айташ, уж он бы что-нибудь придумал, нашел, как одолеть эту хитрую лису Капара… Айташ, мой дорогой брат!..»

Нервы его сдали, к горлу подступил горький комок.

Он не сразу уловил шуршание сена. Кто-то опять нахально лез в его убежище, раскапывал вход.

Он испуганно вздрогнул, закричал:

— Эй, буду стрелять!

А палец его уже сам по себе нажал на спусковой крючок. Непрошеный гость отпрянул назад вместе с грохотом выстрела. И на этот раз через открывшуюся дыру он увидел черный силуэт волка.

Он наспех прицелился и выстрелил из второго ствола, но промахнулся, и волк исчез где-то во тьме.

Он достал из патронташа два патрона и трясущимися руками зарядил ружье, возбужденно говоря вслух, подбадривая себя:

— Ишь, пришел, думал, я так легко достанусь! Как бы не так!

Собственные же слова придали ему смелости. И вовремя! По ночной заснеженной степи пронесся тоскливый волчий вой. Зверь выл, словно причитал по умершему, умолкал и снова принимался выть, заходя то справа, то слева. Будто рыдая, звал к себе всех волков мира. Этот жуткий вой наводил ужас, от него морозило душу.

Он передвинул на животе патронташ, ощупью пересчитал оставшиеся патроны. Их оставалось шесть штук. Не так-то много для такого случая. «И все мое бездумье, — собрался на охоту, называется! Впрочем, поздно сетовать. Теперь думай, как лучше распорядиться жалким своим боезапасом. Будешь стрелять наверняка, когда волк подойдет прямо к входу».

Зверь недолго ждал подкрепления. Вскоре на голос его отозвались другие волки. Вначале так же тоскливо завыл еще один, за ним второй, третий…

Ему казалось, что он даже слышит, как они в паузах между воем жадно щелкают клыками. Вот щелкнули слева, вот справа. А третий и будто вовсе взобрался на стог.

У него у самого лязгали зубы. Да только от страха. «Бог мой, откуда они взялись?» — сказал он, дрожа.

Собравшись вместе, волки начали действовать. Один из них темным пятном прыгнул к входу в убежище. Ружье выстрелило, и волк, взвизгнув совсем по-щенячьи, отлетел в сторону. Вой на время умолк. И будто бы послышалось рычание, какая-то возня. Еще в детстве ему говорили, что волки поедают своих раненых собратьев, стоит им только почувствовать теплый запах крови. Может, на самом деле было не так. Но, во всяком случае, волки на время оставили его в покое, как бы забыли о нем.

К нему в нору залетали снежинки. Он открыл пересохший от жара рот, половил снежинки языком. Потом, спохватившись, заменил использованный патрон целым. Если их только трое, этого запаса ему, пожалуй, хватит, он справится с ними. По патрону на волка, и даже останется еще. Только бы они не тянули со своим нападением, пока он окончательно не ослаб, а то и вовсе не лишился сознания. «И откуда взялись эти волки? А еще говорили, будто их извели в наших краях, будто их осталось совсем немного».

Он слышал не раз о кампаниях в защиту волка: мол, без этого санитара природы и вся остальная живность от болезней пропадет. Вот волки, наверное, и развелись оттого, что запретили отстрел… Интересные существа, эти люди! Забыли, как в годы войны волки наводили трепет на степные аулы, ходили вокруг да около большими стаями по десять — пятнадцать голов, и эти же люди боялись выйти в одиночку за крайний дом. Он был мал тогда, а и то помнит, как однажды Айташ, забравшись на крышу сарая за сеном для коровы, сверху крикнул: «Волки! Да как их много!» Он тотчас залез на крышу и увидел вереницу волков. Одинаковой серой масти, они спокойно бежали мимо окраинных домов. Он насчитал девятнадцать штук. Люди закричали, подняли шум, осатанело залаяли собаки, но волки, не обращая внимания, так же неторопливо перевалили через холм и спустились к лощину. В те годы, если человек или какая-либо скотина пропадали, не возвращались из степи, про них так и говорили: «Ну, значит, разорвали волки». И какие ужасы не говорили про этих

свирепых зверей! И что им сожрать человека до последней косточки ничего не стоит, разве что не трогают ладони и подошвы людей, дескать, эти части для волка ядовиты. И что волк, повалив человека на землю, первым делом разрывает ему бок и начинает грызть печенку… Когда он слышал такие страсти, волосы У него на голове от страха вставали дыбом. Потом вернулись с войны мужчины и принялись очищать степи, бить волков. За каждого хищника платили деньги, и для иных эта охота стала профессией. И вот теперь люди забыли о том, что когда-то натерпелись от этого зверя, стали кричать: «Не трогайте волка, он приносит пользу!» И докричались. Нельзя человеку ныне выйти в степь!..

Его тело отяжелело, словно разбухло, заняло всю нору. Он лизнул горящие сухие губы, но язык еле повернулся, стал похож на толстый брусок. Но худшее происходило с головой. Она кружилась, клонилась к подстилке, совсем не держалась на ослабевшей шее. «Сейчас бы поспать. Хоть… минуту». Но он знал, что не имеет права заснуть даже на мгновение.

И точно: вой возобновился. Сколько же их теперь? Два… три… четыре… Никак прибежали новые. И вой становился все ближе и ближе. Они обкладывали стог.

У него перехватило дыхание. Сдерживая дрожь в руках, он поправил патронташ, так, чтобы тот был совсем под рукой, крепче сжал ружье. «Спокойней, стреляй, лишь когда появятся у входа». Но они, словно разгадав его нехитрую тактику, под выстрел не лезли, а подошли к стогу с другого бока и, сбившись к кучу, хором завыли. Господи, до чего же у них были противные, но и разные голоса. Уж казалось, ему-то сейчас не до этаких тонкостей было. А и то заметил, что одни воют тягуче, будто стиснув челюсти, будто у них зубы болят. Другие отрывисто, словно с кашлем. Третьи — тонко, четвертые — почти баритоном. Если он останется жив-здоров и вернется в город, ему будет что рассказать и друзьям, и особенно Алибеку Дастеновичу. Уж он «заставит капать жир», то есть распишет свой рассказ, не пожалеет фантазии и красок. Хотя страшнее того, что он испытывает сейчас, потом уже не придумаешь. «Вот что случилось со мной во время охоты на этих самых кекликов», — скажет он Алибеку Дастеновичу, закончив рассказ. И тот скажет: «Бедняга, вот что, оказывается, он вытерпел, стараясь сделать приятное мне!» Да, и все

это из-за Алибека Дастеновича. И ради него он вчера попросил прокоптить тушу барана и пошел стрелять злосчастных кекликов. Зато, глядишь, если повезет, Алибек Дастенович еще раз поддержит его, поможет получить отдел, потом, чем черт не шутит, и тем более диссертацию защитить. Тогда эти муки забудутся в один момент. А как же: такой молодой, нет и сорока, а уже заведует отделом и кандидатская степень на плечах. Конечно, будь жив Айташ, ему бы не пришлось добиваться этого такой жуткой ценой. Мудрый брат еще бы год назад привез Алибеку Дастеновичу целого копченого коня, забитого на зиму, и тем самым загнал его «обеими ногами в один сапог», — отрезал ему все пути к отступлению, заставил помочь. «Мы с тобой, Алике, ровесники. Не вертись как юла и слушай. Если мало, я привезу еще. Я все привезу, что ты хочешь и не хочешь. Но тебе придется брату помочь», — сказал бы Айташ своим басом — и как отрубил. Железная была у старшего брата хватка. Недаром Алибек Дастенович побаивался его. Отводил глаза, слушая Айташа, и хотя говорил: «Ну и грубиян ты, ор-ри-гинальный казах», — но делал, делал все, что хотел Айташ… «Айташ, дорогой, тебя нет, и теперь мне приходится трудно…» Его сознание снова захлестнуло горькой обидой и злостью. Он в ярости нажал на спуск. Приклад ударил его в плечо, да так, что от боли из глаз брызнули слезы. Но теперь его злость обрела точный адрес. Волки! «Ну, ну, идите ко мне! Что же вы медлите? — позвал он, меняя патрон. — А-а, выходит, и вам жизнь дорога? Ух, как бы я сейчас вас всех перестрелял! Всех до одного!..»

…Благодаря Айташу он и после смерти матери не знал, что такое сиротство и нужда, баловнем рос. Старший брат себя не жалел, сам учиться не пошел, работал, дал учиться ему. А после средней школы повез его в город, устроил в институт, потом сделал все, чтобы его оставили в аспирантуре. Уж каким образом ему это удалось, неизвестно, но только уже в первые дни Айташ добрался до Алибека Дастеновича и подавил его своей волей. «Учись хорошо и сколько понадобится, — говорил старший брат, — ни в чем себе не отказывай. Пока я жив, в обиду тебя не дам, проложу тебе дорогу. А твой Алибек у меня в кулаке. Разожму кулак, дам побегать по ладони. Сожму — даже не пикнет». И держал Айташ слово свое, помогал, расчищал ему путь, устилал ковровой дорожкой. И была бы сейчас ученая степень в кармане, да он заартачился сам, стреножил себя, словно лошадь. Не

хотелось, видите ли, ему формально диссертацию писать, уникальную тему искал, думал внести свой вклад в науку. Наивный щенок! А когда спохватился, все не просто стало. И не было уже верного опекуна Айташа. Два года прошло, как внезапно скончался старший брат — остановилось, не выдержало сердце. И только тогда он понял, кого потерял, в полную меру оценил его заботу. А ведь до этого даже посмеиваться себе позволял над неученостью Айташа. Сколько классов было у того за спиной? Пять? Шесть? Он даже этого не помнил. «Неблагодарная скотина!..»

Он вздрогнул. Прямо над ним, над макушкой завыл волк, забравшийся на вершину стога. «Ишь, воет так, словно, беднягу, обидели! Не зная, еще и пожалеешь эту тварь… А она на тебя сверху». Рядом с этим вторым, низким голосом завыл еще один волк, тоже забрался наверх.

«Не теряй голову. Держи себя в руках… И за что на меня так обрушилась жизнь? Как только умер Айташ, тотчас посыпались неприятности всякие. Одна за одной, одна за одной». Он вздохнул, пошевелил окаменевшими ногами… И жену словно кто подменил. Вначале, когда они только поженились, она была стройной, подвижной. Не могла спокойно посидеть на месте. Напоминала веселого ребенка, всеобщего любимца. Бывало, вскинет смеющиеся блестящие глаза, стрельнет взглядом и снова опустит ресницы. А в последние годы вдруг стала полнеть, превратилась в степенную даму. Теперь она улыбалась только при людях, а стоило им остаться вдвоем, как тут же начинала, насупясь, молчать или предъявляла свои претензии. И то он сделал не так, и то не этак. А чаще она говорила о том, что он, по ее мнению, не сделал, упустил. Особенно пилила за то, что он до сих пор диссертацию не защитил, ходит без степени. «И этот уже давно кандидат, и тот, а ты только кандидат в кандидаты», — цедила она сквозь зубы. Если на то пошло, именно жена тогда, в гостях у Капара, подкатила к Алибеку Дастеновичу: «Что-то, агай, давно у нас не был дома. Может, мы обидели его?» И тот, разумеется, начал ее уверять в совершенно обратном, в том, что обязательно придет, как только его позовут в гости. И когда они вернулись домой, жена сердито сказала: «Видно, пока я не возьмусь сама, ты будешь раскачиваться до самой пенсии. Поезжай в аул, к родне, заставь прокоптить тушу барана. И не забудь, что Дастенов мясо кекликов любит». И вот эта ее

затея привела к тому, что он теперь лежит, скрючившись, под стогом сена, обложенный со всех сторон волками. Теперь охотники другие, а сам он — дичь.

«А если я умру, что будет делать жена?» — подумал он вдруг. И с удивлением обнаружил, что не может ответить на этот вопрос даже приблизительно. Словно шла речь о совершенно чужом человеке. То есть она поплачет. По себе. Привыкла жить на всем готовом. Но ему почему-то тоже не было ее жалко. А вот детей он очень пожалел. Сердце сжалось, едва о них подумал. Малы они еще. Сын учится в третьем классе, а дочь и вовсе только в первый пошла. И трудно им будет без отца. Он их очень любил, потому что у самого отца, в сущности, не было. А дети чувствовали его любовь и ластились к нему больше, чем к матери.

«Э, да я никак о смерти заговорил?» — озадаченно подумал он и удивился, что смерть уже не пугает его. Сейчас куда было важнее раздобыть хоть глоток воды, залить жар, обжигающий все внутри. И к тому же она бежит где-то рядом, вон даже слышен ее чистый звон. «Померещилось, — сказал он себе. — Откуда здесь взяться воде зимой? В этакую стужу?» Он протянул затекшую руку вперед, собрал в горсть скопившийся у входа снег, сунул в рот. Какое блаженство! Он взял еще одну горсть. Как вкусен снег, кто бы мог раньше подумать?! «Если останусь жив, наймусь в дворники. Зимой у меня будет много снега. Да к тому же это чудесная работа. Не нужно никому угождать, притворяться… Встанешь утречком рано, оденешься потеплей и маши лопатой или метлой на чистом воздухе! Ты здоров, сыт, беззаботен, и одежда на тебе крепкая и простая. А на улице, кроме тебя, нет никого, пустынно, никто не отвлекает, ты со своими мыслями наедине, думай сколько угодно и о чем угодно. Ты один! А впрочем, вот появился первый прохожий… Бог мой, это Айташ идет и улыбается во весь рот. «Что с тобой? А как же твоя учеба?» — спрашивает он, глядя на метлу. «Устал я от всего… И бросил, — отвечает он брату. — Не сердись на меня, Айташ, не ругай. Не мог я больше». — «Не бойся, я не буду ругать. Идем-ка лучше да выпьем холодненького пивка», — говорит Айташ и ласково берет его под руку. «Идем, идем. Мне как раз очень хочется пить», — говорит он, собираясь последовать за братом. Но что такое? Не пускает метла, зацепилась за что-то. Он дернул метлу и… проснулся от громкого выстрела.

Но на этот раз ему повезло. Ружье лежало стволом вперед, даже чуточку высунулось наружу. Он потер снегом лицо, изгоняя остатки сна.

А в степи ничто не менялось — стояла та же глухая, темная ночь и сыпал снег. «Этот сон для меня мог кончиться плохо. Мне ни в коем случае нельзя спать. Можно не проснуться», — сказал он себе и, сменив патрон, пристально всмотрелся в темноту. Где же волки? Почему они молчат? Неужели ушли, потеряв надежду поживиться? Но нет, вон блеснули два огонька, и еще пара, и еще… третья… четвертая… Выстроились в ряд. Ждут! А если это не волки? Ведь рассказывала покойная бабушка… «А ну прочь отсюда! Сгиньте, черти!» — гаркнул он изо всех сил, однако не услышал собственного голоса. Куда же делся голос? А может, что-то с ушами?

Он помотал головой, в нос попала травинка. Ап-чхи! В тело будто вонзились иглы, но зато прочистились уши, и в них тотчас ворвались и гул ветра, и волчий вой. Казалось, теперь они все были заодно, все объединились против него: и степь, и буран, и волки.

А он слабел с каждой минутой. «Видно, счастливы те, кто умирает, как положено человеку, чье тело близкие бережно предают земле. А что будет со мной, если я умру? Они ничего не оставят от меня. Кости и те растащат по степи. Какая унизительная смерть! А долго мне не протянуть, это уж точно. Теперь важно лишь одно. Коль умирать, то только среди людей. Спасти свое тело от волчьих клыков. Нужно во что бы то ни стало дожить до рассвета, а потом хоть ползком туда, где люди. Вот отныне моя самая главная мечта! Ну не смешно ли?.. Ну почему так долго тянется ночь? Скорей бы рассвело!..»

Прямо в отверстие ударило снегом, завихрилось, засыпало глаза. На всякий случай он лихорадочно выстрелил перед собой. Послышался отчаянный визг, и снежная круговерть улеглась. Там, где еще недавно горели огоньки, катался клубок из темных тел, доносилось угрожающее рычание и лязг клыков, не доставших до жертвы. Клубок распадался на части, воссоединялся вновь и вскоре пропал в недрах бурана.

Но в нем уже не было ни страха, ни отчаяния. Он ощущал только свинцовую тяжесть, заломившую тело, окаменелость суставов. А потом его сознание и вовсе распалось, рассредоточилось, в нем возникли картины, смешавшие последовательность событий и время.

Вот появился Айташ, каким он был за год до смерти, суровый, могучий, как богатырь. Его сменила совсем молодая мать, собирающая колосья в подол ветхого платья, состоящего из одних пестрых заплат. Потом к нему подбежали дочь и сын: «Папа, папа, ты уже пришел с работы?» — «Ах, мои дорогие, птенчики мои…»

Он не заметил, как затих буран и постепенно прояснилось небо. Не шелохнулся и тогда, когда солнце метнуло на снег свои первые холодные стрелы и степь заиграла тысячами искр. Наконец солнечный луч соскользнул по стенке стога вниз и заглянул в его мрачное убежище. Вот тогда он открыл глаза и увидел солнечный свет. Но у него уже не было сил, чтобы радоваться приходу дня. Едва шевеля непослушными руками и ногами, он выполз наружу, волоча за собой ружье, и с великим трудом встал, хватаясь за стог, зашарил взглядом по степи. Вдали плыло нечто похожее на трактор, волокущий сани. Или это было что-то другое? Зрение почти не подчинялось ему, все так и плыло перед глазами. Невероятным усилием он заставил себя поднять ружье, выстрелил в воздух и шагнул, держась за стог, но его ноги подломились, и он начал валиться на бок.

ДОРОГА ТУДА И ОБРАТНО

А виной всему была его мать. Он пытался ее уговорить, да куда там! Как узнала, что Кокбай едет в город, об автобусе и слушать не захотела. Постановила свое: посажу тебя в кабину рядом с Кокбаем, поедешь на своей, колхозной машине, купишь что надо — книги, тетради, — и вечером той же машиной вернешься домой. Да и Кокбай человек не чужой, родня, в случае чего присмотрит. А мать если решила, то уж стояла на своем до конца.

У самого Бокена были совершенно другие соображения. Ему хотелось съездить пассажирским автобусом, который ходил из аула в город через день. По четным числам туда, по нечетным — обратно. И Бокен собирался поехать завтрашним рейсом. В городе он не спеша походит по книжным магазинам, купит все, что нужно: и учебники для седьмого класса, и тетради в линейку, и белую плотную бумагу, чтобы рисовать горы и степь. И краски разных цветов. А если добавить сюда и блокноты в блестящей, словно покрытой лаком, обложке, то можно будет твердо сказать, что планы Бокена были почти грандиозными. И разве их осуществить за то немногие часы, которые отпустит ему поездка с Кокбаем? А так он проведет в городе ночь, утром снова походит по магазинам и к вечеру вернется в аул. Все это Бокен изложил маме. И мама тотчас стала кричать:

— Вы посмотрите на него! Вот оспа! Ты понимаешь, что говоришь? Как я могу отпустить тебя одного? В город, где много машин и незнакомых людей? А где ты собираешься ночевать, дурья твоя голова?

— В гостинице, где же еще? — удивился он неведению матери.

— Ой, люди, что мне делать с ним, с этой оспой? — взывала она посреди безлюдной улицы. — Прямо беда! Ну, что скажешь этому глупцу? В гостинице, говорит! Вы слышали, а? Он, наверное, в конце концов хочет жуликом стать? Посмотрите на него! Он уже с этих пор собирается в гостинице ночевать! А дальше куда? В тюрьму? Да я лучше тебе сама шею сверну! Как вот дам, и ты у меня в землю уйдешь, точно гвоздь! Получи, негодник! — и треснула его по затылку.

Бокен вон уже вымахал как — был выше мамы на две головы. И ей пришлось стать на цыпочки, чтобы стукнуть его. Но ее это не смутило ни капли. Ее вообще ничем не смутишь. Такой у мамы характер.

— Ладно, не кричи. Поеду с Кокбаем, — поспешно сказал Бокен, краснея, и осторожно огляделся по сторонам: не видел ли кто его позора?

Особенно он побаивался своих одноклассников: узнают — засмеют. А если увидит Гуля, — вот ее дом, от них в двух шагах, — то тогда хоть из аула беги, задразнит до полусмерти! Но, к счастью, на улице по-прежнему не было ни души. И, успокоившись, Бокен вспомнил, что у Гули, кажется, нет учебника по математике, и подумал, не зайти ли к ней: может, она попросит купить что-нибудь и на ее долю.

Однако к Гуле он не пошел, не решился. Он хорошо знал свою маму. Она непременно скажет: «Ты сначала себе купи и тогда уж заботься о друзьях».

— Ну, пошли домой. Пора собираться в дорогу, — сказала мама, добившись своего и потому смеясь. — Вот так бы давно. Приятно смотреть на ребенка, когда он слушается тебя. Ах, жеребеночек ты мой!.. — И она погладила шершавой ладонью по голове Бокена.

Она привела его за руку домой, заставила умыться, сама поливая ему из ведра, одела его во все чистое: в белую рубашку с коротким рукавом, черные выходные брюки. Потом намочила вьющиеся волосы Бокена, зачесала их на один бок. И все же не удержалась, чтобы не ругнуть:

— Уу, отрастил космы, словно девчонка.

Но на том и остановилась. Усадила его за стол и, хотя он есть не хотел, заставила его выпить целую чашку айрана.

— Пусть в желудке пока полежит. На тот случай, если проголодаешься скоро, — объяснила она.

Накормив, приведя его в подобающий вид, мама повела Бокена к дому Кокбая.

Грузовик Кокбая уже стоял перед его окнами. А сам шофер, открыв капот и нырнув в машину по пояс, что-то делал с мотором, звякал гаечным ключом. Его рубашка вылезла из брюк, оголила

смуглые бока и спину. Но в общем-то Бокен разглядел, что Кокбай, собравшись в город, тоже принарядился — новую рубашку надел.

— Эй, Кокбай, мы пришли, — оповестила мама, не желая ждать, когда покажется голова шофера.

Кокбай распрямился, все тотчас понял, недовольно зыркнул глазами. Однако этого ему показалось мало — он еще сплюнул сквозь зубы. Лицо его было красным от прилившей крови. Рыжие волосы выбивались из-под берета, торчали несвежими космами.

— Возьмешь его в город, с собой, — невозмутимо сказала мама.

— Поехал бы он лучше автобусом, — буркнул Кокбай и, как тут же выяснилось, поступил очень опрометчиво.

— Замолчи! — прикрикнула мама. — Тебе что? Жалко колес этой порожней машины? Боишься их порвать? Попробуй еще слово сказать, окаянный! — продолжала она, не давая шоферу на самом деле и рта раскрыть.

Кокбай приходился ей племянником, будучи сыном ее родного брата. И вот этому факту он почему-то сегодня не придал должного значения. И напрасно! Мама Бокена разнесла его в пух и прах.

— Негодяй, ты делаешь добро только себе! — кричала она. — Мы еще живы, а ты уже так себя ведешь? Что же станет с тобой, когда мы умрем? Презренный, да за эти слова я вырву твой паршивый язык!

Словесное внушение показалось ей не совсем убедительным, она подняла с земли толстый стебель бурьяна и бросилась на Кокбая.

Шофер и сам уже осознал свой просчет, лицо его стало совсем багровым. В зеленых кошачьих глазах появился испуг.

— Тетя, тетя, я пошутил! Ну конечно, Бокен поедет со мной, — забормотал Кокбай, отступая, прячась за машиной. — Да кого же мне еще взять, как не его? Бокен, ты слышишь, что я говорю? А ну-ка полезай в кабину. Не то твоя сумасшедшая мать голову мне разобьет. Как в прошлом году!

— А, вспомнил? — обрадовалась мама. — И опять разобью, если будешь много болтать. Сынок, вот, держи, — сказала она, быстро утихая.

Мама сунула руку в огромный карман, специально пришитый к платью, вытащила три мятых пятирублевки, вручила их Бокену.

— Этого хватит тебе. На книги и бумагу. На один рубль поешь. Смотри не ходи голодным. А ты за этим проследи, — приказала она

Кокбаю, который уже залез в кабину.

— Тетя, ты можешь прибавить еще рубликов пять. Деньги ведь груз не тяжелый, — пошутил Кокбай и выразительно почесал подбородок, намекая на выпивку.

— Ты опять за свое? — угрожающе нахмурилась мама. — Ты, может, еще плату возьмешь за проезд?

— Тетя, да что с тобой? Ты сегодня шуток не понимаешь.

Кокбай поудобней устроился на сиденье и дурашливо подмигнул Бокену, будто тот с ним был заодно. Знай он, как не хочется ему, Бокену, ехать этой машиной, тогда бы все было понятно. А то ведь не знал, просто кривлялся. И его страсть кривляться чуть что очень не нравилась Бокену. Уже взрослый джигит, пора бы и остепениться. Ему и то было стыдно за ужимки Кокбая перед людьми. Все же двоюродный брат, свой человек.

А Кокбай как ни в чем не бывало развернул зеркальце, посмотрел на свое отражение и присвистнул:

— Побриться забыл.

Он провел ладонью по редкой жесткой щетине, сорвал с головы засаленный берет и, растопырив толстые пальцы, принялся боронить свои рыжие космы, прихорашиваться перед зеркалом.

— Есть у тебя расческа?

Бокен протянул свою расческу. Кокбай причесался, потер пальцами глаза.

— Вот теперь порядок! — сказал Кокбай, любуясь собой. — А ты, оказывается, молодес. Расческу носишь с собой, — и сунул расческу Бокена в свой карман.

Наконец они поехали. Кокбай рванул машину с места так, что мама молниеносно осталась далеко позади. Шофер вел грузовик с бешеной скоростью, словно за ним погнался леший. Рытвины и кочки были ему нипочем. Бродившие по улице безмятежные куры, ошалело кудахтая, разлетались из-под носа его машины, точно комья глины. Впрочем, Кокбай всегда так водил грузовик. Поэтому, завидев его еще издалека, и взрослые люди, и ребятня на всякий случай отходили в сторону, ждали, когда проедет Кокбай. И даже самые глупые уличные псы, которые с лаем так и лезут под колеса других машин, трусливо поджимали хвосты, убегали прочь от обочины.

Так было и на этот раз. Грузовик Кокбая пулей пронесся через аул, гремя своим железным скелетом, подскакивая на ухабах. Из крайнего дома выбежали двое мужчин с мешками и подняли руки, просясь в машину, но Кокбай даже на них не взглянул, промчался мимо.

— Взяли бы их… — попросил Бокен.

— Ничего, обойдутся, — ответил Кокбай с презрительной гримасой. — В конце концов я не обязан возить на базар. Для этого есть автобус.

Машина повернула на грейдерную дорогу, по днищу грузовика защелкал мелкий гравий. Кокбай вертел головой по сторонам, словно высматривал что-то.

Впереди показались кусты шиповника, росшего вдоль дороги. В тени их кто-то сидел, в красном и белом. Поравнявшись с кустами, Кокбай вдруг нажал на тормоз. Машина со страшным скрежетом замерла на месте, будто наткнулась на незримое препятствие. Застигнутый врасплох Бокен ткнулся в стекло, едва не разбил себе нос.

Подняв голову, он увидел женщину, наряженную в красную кофту и белый платок. Она поднялась на ноги и, взяв стоявшие на земле хозяйственные сумки, вышла на дорогу. Когда она подошла поближе, Бокен узнал молодую жену пастуха Машена, жившего в двух километрах от дороги, на скотном дворе.

Кулшара, так звали молодуху, была, как всегда, красива. Бокен и раньше любовался мягкими чертами ее лица и большими черными глазами. Правда, глаза немного косили. Но это даже украшало ее. За лето Кулшара загорела и показалась Бокену красивее обычного.

На губах молодухи играла улыбка, словно она очень радовалась машине. Но улыбка почему-то потухла, когда Кулшара заметила его, Бокена. Как будто он чем-то ей помешал.

— Красавица, ты куда собралась? — спросил Кокбай, почему-то косясь на Бокена.

— В город решила съездить, на базар, — ответила Кулшара, продолжая смотреть на Бокена, словно ему отвечала.

— Садись, подвезу, — сказал Кокбай, зачем-то пожимая плечами и снова косясь на Бокена, в общем кривляясь как всегда.

— Да мы же не поместимся втроем, — жалобно сказала Кулшара.

— Поместимся. Не бойся, довезу, — бодро сказал Кокбай.

При этом он часто заморгал, и Бокен решил, что в глаз Кокбая попала соринка.

Бокен придвинулся к шоферу, и Кулшара села с краю. Так они и поехали. Бокен в середине, а Кокбай и женщина по бокам.

Кулшара быстро освоилась, расстегнула пуговки кофты, сняла с головы платок. Чуткие ноздри Бокена уловили приятный аромат духов.

— Жарко, сил нет, — томно промолвила Кулшара и помахала платком, освежая свое лицо. — Кокбай, я вижу, ты лишнее колесо с собой прихватил, — сказала она, слегка усмехаясь.

«А что в этом плохого? — удивился Бокен. — Всякое случается в дороге. Только о каком она говорит колесе?» Садясь в кабину, он заглянул в кузов, но там ничего не было.

— А, казахи всегда казахи. Стоит собраться в поездку, так тебя сразу чем-нибудь нагрузят, кого-нибудь навяжут тебе. Так уж издавна повелось, ничего с этим не поделаешь, — ответил Кокбай Кулшаре, и Бокен услышал плохо скрытую досаду.

— Да, теперь ничего не поделаешь, — подтвердила Кулшара, вздыхая.

Кокбай бросил взгляд в заднее окошечко, будто там и в самом деле лежало колесо, и сказал, подмигнув Бокену:

— Ничего, пусть лежит. Вреда от него не будет.

Но уж кто-кто, а Кокбай точно знал, что колеса в кузове нет. И Бокен понял, что они говорили о нем. Это его «навязали» Кокбаю. Это он был лишним «колесом». Лицо его вспыхнуло от смущения и обиды.

А они, даже не подозревая, что он раскрыл их условные знаки, продолжали свой разговор.

— А это, лишнее, колесо надежно? А вдруг пропустит воздух? — спросила Кулшара.

— Не пропустит. А если что, заклеим его. Не так, ли, Бокен? — спросил Кокбай и, взглянув на него краем глаза, ухмыльнулся; он-то по-прежнему думал, что его младший братец Бокен малолеток, простак.

Бокен промолчал, сделал вид, будто не слышал. А в душе злился на себя за то, что уступил маме, сел в машину Кокбая. И еще: ему было обидно слышать такое от красавицы Кулшары. Ну, Кокбай, ясное дело, тот не хотел брать его с собой. Но чем он помешал Кулшаре? Тесно, конечно, втроем и жарко. Да кто знал, что они встретятся с Кулшарой?

Да и она сама об этом ведать не ведала. Однако скажи ему, что так оно будет, уж он ни за что бы не стеснил Кулшару, уж он бы точно поехал автобусом в город.

А вокруг лежала широкая степь с растянувшимися в цепь холмами. Воздух над степью дрожал, стекал с холмов, переливаясь в лощины. Тугой встречный ветер то остужал прохладой разгоряченное лицо, то обжигал нестерпимым зноем. По сторонам от дороги стояла высокая, по пояс, опаленная солнцем полынь. Ветер качал ее желтеющие головки.

— Как ночью доехал? — спросила Кулшара. — Фары опять не зажег?

— Вот еще! — сказал Кокбай. — Чтобы узнал весь аул?

— Ой, а если бы в яму попал или наткнулся на столб? — В голосе ее прозвучали и ужас, и восторг.

— За меня не бойся, — самодовольно ответил Кокбай. — Мне хоть глаза теперь завяжи, так поеду по твоей дороге, даже машину не качну. Лучше скажи: твой ничего не заподозрил?

— Слава богу: пришла, а он уже разлегся, рядом с детьми храпит в обе ноздри, — зло сказала Кулшара.

— Я думал, ты сегодня не поедешь, хоть и обещала.

— Почему?

— Думал, муж не отпустит. Он у тебя ревнивый.

— Ну и пусть, — отмахнулась Кулшара. — Что же, мне из-за этого так и сидеть возле него? Молодость у женщин короткая. Смотришь — и прошла! А ему лишь бы выпить да на бок.

Машина ухнула в рытвину, промытую водой. Бокена и Кулшару тряхнуло так, что они соприкоснулись головами. Бокен испугался, отпрянул, обжегшись о теплый висок Кулшары. Словно совершил святотатство. Но Кулшара, к счастью, ничего не заметила, протянула капризно:

— Кокбай, потише веди! Я думала, сердце оборвется.

Кокбай чуть убавил скорость. Удивленно сказал:

— И почему ты за него вышла? Могла бы и подостойней джигита найти.

— Мало ли мы делаем ошибок и не знаем почему? Видно, такова уж судьба. — Кулшара вздохнула и, подавшись в сторону Кокбая,

приблизив к Бокену пылающее жаром лицо, промолвила с упреком: — Ты был подостойней, да в армию уехал.

— Срок подошел. А ты, между прочим, и подождать могла. Или трудно было потерпеть года два? — усмехнулся Кокбай.

— Трудно, — сказала Кулшара и звонко засмеялась.

Но тут же спохватилась, будто впервые увидела Бокена, закрыла ладонью рот, а затем сердито сказала:

— Какой ужас, болтаем при мальчике обо всем, что в голову ни придет. Ты особенно хорош! Совсем забыл про стыд, — напустилась она на Кокбая.

Тот вроде бы и сам поначалу прикусил язык, да потом, видно, не по нраву ему пришлось, что женщина кричит на него.

— Да ладно тебе! Ничего страшного не случилось. Бокен уже парень большой. Скоро сам начнет поглядывать по сторонам. А пока пусть слушает, учится. Потом на пользу пойдет. Правда, Бокен?

Бокена прошиб пот, к лицу прихлынула кровь. Еще никогда ему не было так стыдно, как сейчас. Он боялся повернуть голову, встретиться глазами с Кулшарой. Окаменел, глядя перед собой. Хорош его старший братец. Взрослый, а глупости говорит похуже маленького мальчишки.

А Кокбай по-своему истолковал его молчание.

— Вот видишь, Кулшара. Он согласен. Молчание — знак согласия. — И Кокбай довольно рассмеялся, как будто сам это придумал.

Он хотел еще что-то добавить, этот тип, наверно, тоже обидное, но передумал и остановил машину. Справа от дороги был прозрачный родник Жарбулак. Он падал из каменистого обрыва в овраг и струился по его дну, чистый и холодный.

Кокбай вылез из кабины и обошел грузовик, пиная носком сапога колеса машины, затем поднял капот и начал рыться в моторе.

— Эй, Бокен! Возьми в кабине ведерко да сбегай к роднику за водой, — приказал Кокбай, подняв голову.

Бокен взял резиновое ведерко, сделанное из куска баллона, и пошел вдоль оврага, продираясь сквозь густые заросли шиповника. Его цепляли, царапали колючки, пыльные листья и паутина пачкали белую рубашку и лицо. Спустившись к роднику, он понял, что сюда давно не ходили. Глазок родника затянулся травой, струйка стала слабой и тоненькой. Бокен нашел острый камень, расчистил глазок и,

подставив ведерко под струю, долго сидел, ждал, пока оно наполнится доверху.

Вернувшись с водой, Бокен увидел еще одну колхозную грузовую машину. Ее водитель, невысокий чернявый джигит Абильтай, возбужденно ходил перед Кокбаем и Кулшарой и что-то говорил, бурно размахивая руками.

— Бокен, а ну-ка поторопись, быстрей шевели ногами! — нетерпеливо крикнул Абильтай, будто ради него ходили за водой.

И все же Бокен прибавил шагу и, запыхавшись от быстрой ходьбы в гору, вручил Кокбаю ведерко. А тот, не торопясь, подошел к своей машине и начал заливать в радиатор воду. Но радиатор почему-то оказался полным, и вода с плеском полилась на траву.

— Ну, приятель, тебе повезло! Можешь за водой не ходить, — сказал Кокбай Абильтаю. — Здесь и на твою долю хватит, — и протянул ему почти что нетронутое ведро.

Получалось, зря гоняли его, Бокена, за водой. Выходит, Кокбай просто посмеялся над ним! Зло взяло Бокена. И когда Кулшара посторонилась, пропуская его в кабину на прежнее место, он сердито буркнул:

— Нет, я теперь сяду с краю!

А забравшись на место, Бокен в знак протеста изо всей силы хлопнул дверцей кабины.

— Потише, Бокен! Это тебе не игрушка! — прикрикнул Кокбай и хлопнул крышкой капота.

Бокен понял, что за его отсутствие что-то произошло, досадившее Кокбаю.

И снова в путь. Абильтай до развилки следовал за ними, а там просигналил на прощание и повернул в сторону животноводческой фермы. Кокбай тоже надавил на сигнал — ответил. Затем сплюнул в сердцах и сказал:

— Словно черти принесли этого Абильтая. Не мог заправиться в гараже. Растяпа!

— И откуда он взялся так вдруг? — поддержала его Кулшара.

— Да вроде бы, когда я выезжал, он никуда не собирался. Стоял в гараже. И надо же, явился в самый неподходящий момент! Где он там? — Кокбай высунулся из кабины, посмотрел назад: — Не видно. Уехал!

После этого он с треском — туда-сюда — рванул переключатель скорости, и машина заплясала, задергалась по кочкам.

— Что это с ней? — удивился Кокбай. — Сейчас посмотрим.

Он свернул с дороги, проехал по целине и остановился. Не торопясь, будто собираясь с мыслями, закурил папиросу.

— Ну? — спросил он Кулшару с многозначительной ухмылкой.

— Точ дембу латьде?[6] — спросила Кулшара, поглядывая на него, Бокена.

— Ен наюз[7], — смеясь, ответил Кокбай.

Они говорили на каком-то странном, незнакомом языке. Бокен даже разинул от изумления рот. А мужчина и женщина обменялись еще двумя-тремя словами, и Кокбай наконец сказал ясно и понятно:

— Придется немного постоять. Проверю мотор.

Все трое вышли из кабины. Кокбай опять начал рыться в моторе, а Кулшара вынесла из машины его старую куртку и села на траву. Бокен от нечего делать тоже нашел себе занятие — стал мять ногами длинные стебли полыни.

— Проклятье, куда же делся гаечный ключ? — вдруг спросил Кокбай самого себя и захлопал по своим карманам. — Наверное, выпал, когда стояли у родника. Что же делать? Эй, Бокен, ну-ка вернись, посмотри. Это же близко.

Бокен, привыкший слушаться старших, уж было и вправду отправился к роднику, да тут же вспомнил, как двоюродный брат шутки ради сгонял его за водой, унизил в глазах Кулшары, и повернул назад.

— Ты чего? — насторожился Кокбай.

— Сам иди, если хочешь. Не падал твой ключ, вот что! — резко сказал Бокен.

— Раз я говорю, значит, выпал. Я старший, и ты должен мне подчиняться.

— И все равно не пойду, — заупрямился Бокен.

— Господи, какой непослушный мальчик! — воскликнула Кулшара и осуждающе зацокала языком.

Они растерянно смотрели друг на друга.

— Тогда придется сходить тебе, Кулшара, — сказал Кокбай, подумав.

— Мне? Ну, конечно, я схожу посмотрю. Иначе будем целую вечность стоять, торговаться, — согласилась Кулшара.

— Но там же ничего нет, никакого ключа! — горячо вмешался Бокен.

— Ты опять начинаешь спорить, — поморщилась Кулшара.

Она поднялась и снова сказала Кокбаю на их непонятном языке:

— Дешьпри?

— Дупри домсле, — ответил Кокбай.

Теперь Бокен понял все. Они хотели что-то скрыть от него и переставляли буквы в словах. Как же он сразу этого не заметил? Ему стало очень обидно. Но винил он только одного Кокбая.

Кулшара, словно играя, то прищелкивая пальцами, то развязывая и снова завязывая платок, покачивала плечами, осторожно ступая с кочки на кочку, словно перенося нечто хрупкое, стеклянное, пошла через поле и вскоре скрылась за холмами.

Кокбай ходил вокруг машины, будто бы осматривая ее в ожидании ключа. Но вскоре его терпение будто бы иссякло.

— Ай, разве на женщину можно надеяться? — пожаловался он Бокену. — Пойду-ка поищу сам!

И он решительно пошагал в сторону родника. Бокен пошел следом за ним.

— А ты куда? — спросил Кокбай, обернувшись.

— Я тоже за ключом, — ответил Бокен, не придумав другого объяснения.

— Но ведь ты сам только что отказался? Ты ведь не верил, что ключ упал?

Бокен ничего не сказал, снова пошел за Кокбаем.

— Останься, Бокен! Присмотри за машиной. Как бы что не пропало.

Кокбай просил! Это было непривычным для уха Бокена. Но он не остался. Кокбай ускорил шаг, и Бокен сделал то же самое.

— Слышишь, останься! Я кому говорю?

Вот это прежний грубиян Кокбай.

— Не останусь! — твердо сказал Бокен.

— Тьфу! Неужели ты ничего не понимаешь?.. Ну и дурак же ты! — совсем разозлился Кокбай и, сплюнув, пошел дальше, уже не оглядываясь на Бокена.

Он ошибался, Кокбай. Бокен кое-что понял и потому хотел уберечь Кулшару.

А женщина стояла в лощине, за холмом, и смотрела в их сторону. Родник Жарбулак находился совсем в другом месте. Значит, Кулшара тоже не верила в потерю ключа и даже не пыталась его искать. Она ушла сюда, чтобы увидеться с Кокбаем наедине. Он-то, Бокен, ее оберегал, а она сама ждала Кокбая!

— Бог с ним, с этим ключом! Идем, ехать пора! — крикнул Кокбай Кулшаре и, наклонившись к Бокену, яростно прошипел: — Шею бы тебе свернуть, щенок!

Зеленые кошачьи глаза двоюродного братца от злости покраснели, но Бокен смело встретил его угрожающий взгляд, как бы говоря: «Попробуй сверни!»

Как и думал Бокен, с машиной все было в порядке. Кокбай повернул ключ зажигания, надавил внизу подошвой, и она как миленькая понеслась по дороге.

Теперь все молчали. Кокбай хмурился, сердито покусывал губы. Кулшара поглядывала на Бокена и морщилась, словно у нее болели зубы, а Бокен страдал от новой обиды, нанесенной на этот раз Кулшарой. «А еще красивая», — с горечью думал он.

Вскоре разбитая грейдерная дорога, по которой они скакали, тряслись, переваливались с боку на бок, влилась в широкое асфальтированное шоссе, и машина полетела плавно, точно по стеклу.

Здесь машины бежали сплошным потоком. И кажущиеся хрупкими легковые, и ЗИЛы-великаны, тащившие прицепы с зерном. Эти напоминали целые поезда. Они катили, точно хозяева, чуть ли не во всю ширину дороги. Казалось, не уступи им, и они сомнут, отбросят в кювет. Но ЗИЛы проносились мимо стрелой, обдав сильным ветром.

— Хоть бы годок посидеть на такой за рулем… — вдруг размечтался Кокбай.

— У нас же есть эти машины, — напомнила Кулшара.

— Есть-то есть, да, видно, не про нашу честь. Ходил я к председателю, просил. Не раз! Да только он, как увидит меня, тотчас становится злее волка. «Не для тебя, говорит, эта великая техника». Хотел я уйти в автоколонну, да мать не хочет переезжать в район. Говорит: «Как мы там будем жить без наших родичей?» — «Да как, говорю, живут другие, и ничего». Она все равно ни в какую!

— И правильно делает! — сказала Кулшара. — А ты что? И вправду хочешь уехать?

— Не волнуйся, кое-кого не забуду, нет-нет да приеду, навещу, — сказал Кокбай и посмотрел на Кулшару веселым глазом.

— И все равно не надо!

Кокбай громко засмеялся, обнял свободной рукой Кулшару, притянул к себе.

— Шучу! Никуда не уеду.

— Отпусти! — вырвалась застыдившаяся Кулшара. — Хоть бы постеснялся младшего брата!

— Да пошел бы он куда-нибудь подальше! — сказал в сердцах Кокбай.

«Иди сам!» — мысленно ответил Бокен и, отвернувшись, стал смотреть в окно.

Вдали, в голубоватой дымке, тянулась неровная полоса гор, словно зазубренный край земли. «Хорошо, что учил географию, — подумал Бокен. — А то бы и в самом деле поверил, что Земля наша плоская и у нее есть края. Верят же в это старые темные люди. А до чего похоже на лист железный с рваными краями! Тут невольно поверишь, если неграмотен и ничего не читал. Интересно, Кокбай учил географию? Наверное, учил, да все равно не знает…»

— Не могу по асфальту ездить. Разве это езда для мужчины? Так в сон и тянет, — пожаловался Кокбай, зевая.

«Тебе бы только гонять кур по нашей улице да пересчитывать кочки и рытвины, — съязвил в душе Бокен. — А еще хочешь работать в автоколонне. Очень ты нужен им!»

Раскаленный ветер опалял лица, как пламя. Все трое раскраснелись от жары, вспотели. Осоловевший Кокбай таращил глаза, боясь заснуть за рулем. Кулшара то и дело обмахивалась надушенным платком. Запах духов, еще недавно приятно щекотавший ноздри, теперь раздражал Бокена. Он демонстративно морщил свой короткий нос.

— Все казахи такие, — сказал Кокбай, стараясь себя взбодрить и будто бы продолжая прерванный разговор.

— Вот именно, — поддакнула Кулшара.

«Уж кому бы других судить, да только не вам», — мысленно возразил Бокен.

Вдали показался город. На горизонте выросли зеленые купы деревьев и между ними белые стены многоэтажных зданий. Потом сверкнула лента воды, лежащая перед городом.

Кокбай оживился и вдруг предложил:

— А что, если нам искупаться в Коктале? Почистимся! Освежимся! Как новенькие въедем в город.

Кулшара и Бокен не возражали: Кокбай свернул с дороги, вывел машину на берег реки и, остановившись перед густым ивняком, подступившим прямо к воде, первым выпрыгнул на песок, потянулся, помахал, разминаясь, руками, подрыгал ногами и начал раздеваться.

— Бокен, мы с тобой будем купаться здесь! — крикнул он задорно, весело, словно Бокен был для него закадычным другом.

Бокен побежал на его зов, снимая на ходу рубаху. А Кулшара молча отделилась от них, ушла в заросли ивняка.

Раздевшись, Кокбай и Бокен подошли к обрывистой кромке берега, стали рядышком, плечом к плечу.

— Раз! Два! По-ошли! — скомандовал Кокбай, и они дружно прыгнули в прозрачную, медленно текущую воду.

Вода оказалась холодной. На коже тотчас выступили гусиные пупырышки. Кокбай и Бокен окунулись раз-другой и, лязгая от холода зубами, вышли на берег и улеглись на горячий песок.

— Хорошо, а? — сказал Кокбай, еле шевеля посиневшими губами.

Бокен только кивнул, соглашаясь.

— Лежи, сейчас мигом согреешься, — пообещал Кокбай и, загребая руками песок, насыпал целую кучу на спину Бокена.

Бокен блаженно засмеялся.

— У нее лучше, да?

— Ой, щекотно! А теперь я согрею тебя!

Кокбай перевернулся на живот, и Бокен начал сыпать на него горстями жаркий песок.

— Ой, горячо… ой, жжет! — притворно застонал Кокбай.

Они баловались, играли, забыв про недавнюю ссору.

— А ты сможешь переплыть Коктал! До того берега? — спросил Бокен.

— Для меня все равно что плюнуть. Разве это река? — сказал Кокбай, поднимаясь и стряхивая песок. — В армии я Дон переплывал.

Слышал о такой реке? Географию знаешь? Так вот там ширина, наверное, метров четыреста, не меньше.

— И ты переплывал четыреста метров? Ну да? — не поверил Бокен.

— Честное слово! Хочешь, покажу? Переплыву этот Коктал без передышки раз десять!

— Покажи!

Кокбай азартно бросился в воду и с тихим плеском, загребая руками воду, поплыл к противоположному берегу. Его смуглая влажная кожа блестела как у змеи, и голова Кокбая тоже по-змеиному высоко торчала над водой. Достав до другого берега, пловец резко повернул назад. Плыл он уверенно и красиво. Смотреть на него было одно загляденье. Бокен и завидовал ему, и восхищался им.

Вернувшись к этому берегу, Кокбай выскочил из воды.

— Ух какая холодная! Горная, ледяная! Кости так и ломит, — сказал он дрожа. — В Дону вода теплая, как парное молоко. Да и течение потише. Но если ты настаиваешь…

— Я верю! Ты здорово плаваешь, Кокбай! — поспешно сказал Бокен.

Кокбай повалился на живот, и Бокен стал его греть, обсыпать песком. Старший брат нежась кряхтел, а потом о чем-то вспомнил, вскочил резво на ноги и побежал в заросли ивняка, куда ушла Кулшара. И тут же до ушей Бокена долетел его возглас:

— Ай-яй-яй! Какая ты красивая без одежды! Да ты, оказывается, белая совсем!

Кулшара завизжала, и Бокен услышал всплеск, — это она тяжело плюхнулась в воду.

— Бессовестный! — сердито сказала Кулшара. — Чтобы полопались твои глаза! Лезешь туда, где купается женщина!

— Да ты что, Кулшара? Неужто стесняешься меня?

— А почему я не должна тебя стесняться? Или ты думаешь, что я потеряла весь стыд? А ну уходи! Я уже превратилась в ледышку. Уходи, говорю. Дай выйти на берег!

Из зарослей ивняка с треском, словно медведь, вывалился Кокбай. Вид у него был обескураженный. Он молча бухнулся на песок рядом с Бокеном. Бокен тоже молчал. Они еще некоторое время позагорали на солнце. Когда появилась одевшаяся Кулшара и, не глядя в их сторону,

прошла к машине, они тоже сполоснулись, смыли песок и начали одеваться.

В город они приехали в полдень. Кокбай высадил своих пассажиров у первой же автобусной остановки и, назначив место встречи, покатил на другой конец города по колхозным делам.

Оставшись наедине с Бокеном, Кулшара моментально превратилась в ласковую кошечку, замурлыкала: «Бокентай, Бокентай…»

— Бокентай, миленький, не бросай меня одну, — умоляюще говорила она. — Ты здесь знаешь каждую улицу, а я одна заблужусь.

«Ишь как запела! Может, для кого я и Бокентай, но только не для тебя», — мстительно подумал Бокен. Еще недавно он был бы счастлив сопровождать такую красавицу, оберегая ее от всяких напастей. Но сейчас предательство Кулшары еще было свежо в памяти. И кроме того, Бокен имел свои собственные планы на сегодняшний день, наверняка не схожие с намерениями Кулшары.

К остановке подошел автобус, и Бокен, ни слова не говоря, шагнул в открывшиеся двери.

— Бокентай! — пискнула Кулшара и бросилась за ним, едва не сбив его с ног.

Они стояли на задней площадке, и Кулшара говорила громко, словно кроме них в автобусе никого больше не было:

— Ой, как я испугалась! Думала, отстала от тебя! Бокентай, сначала мы пойдем в магазин, в котором продают золотые кольца. А потом…

Пассажиры посматривали на нее — одни удивленно, другие с усмешкой. А две симпатичные девчонки — сверстницы Бокена — откровенно хихикали, перешептывались, подталкивали друг друга, посматривая на Кулшару. Да и одета была их первая аульная красавица как-то нелепо. Платье мешком. Платок сбился набок. Бокен только теперь обратил на это внимание, сравнив Кулшару с городскими женщинами.

— А потом мы пойдем в магазин для одежды, — продолжала Кулшара, ничуть не смущаясь, на весь автобус.

А Бокен не знал, куда деться от стыда и за Кулшару, и за себя, из-за того, что у него такая спутница. И когда автобус подошел к остановке, он, не задумываясь, выскочил из машины.

«Уф, избавился наконец!» — подумал он с облегчением. Теперь можно и в магазин канцелярских товаров. Но рано радовался Бокен. Автобус прошел несколько метров и остановился. Задние двери со скрежетом распахнулись, и на тротуар ступила Кулшара со своими хозяйственными сумками.

— Бокентай, почему ты не сказал, что мы выходим? — спросила женщина плаксиво.

Бокен невольно взглянул на автобус. Девчонки прилипли носами к заднему стеклу и строили рожи.

— Бокентай, мы уже приехали на базар, да? — сказала Кулшара, озираясь.

— До базара еще две остановки. Но я на базар не поеду. Мне надо в книжный магазин, — сказал Бокен, опустив глаза, глядя в землю.

— Как жаль! Значит, я зря сошла, билеты напрасно пропали, — посетовала Кулшара.

Но, к счастью, подошел другой автобус, женщина села в него и отправилась дальше, на базар. А Бокен, облегченно вздохнув, повеселев, повернул на главную улицу.

Город он и вправду знал хорошо, не раз приезжал сюда с мамой, ходил с ней на базар, по магазинам. Вот и сейчас Бокен легко нашел центральный универмаг, где продавали книги и всякие другие нужные ему товары. Постояв в очереди с полчаса, он купил учебники себе и геометрию Гуле. Потом приобрел краски, блокноты в глянцевой обложке. Вот только плотную бумагу не нашел. Но зато съел порцию восхитительного мороженого и выпил два стакана шипящей газированной воды. Этим ему и нравился город: если у тебя есть деньги, можешь купить все, что угодно душе.

Выйдя из универмага, Бокен пересек улицу и зашел в магазин тканей, и тут у него от ярких и всевозможных красок зарябило в глазах. Эх, были бы у него деньги, купил бы он маме на платье отрез! Но ничего, это время не за горами. Скоро он станет взрослым, начнет зарабатывать сам и тогда купит матери двадцать разных отрезов!

Так, переходя из магазина в магазин, Бокен продвигался в сторону базара. По дороге он любовался товарами, выставленными в витринах. Много их, не виданных им ранее, появилось после его последней поездки в город. Особенно ему нравились товары в хозяйственном магазине. Он потолкался у прилавка, потрогал хитрые замки разных

конструкций, подержал в руках новенькие топоры, грабли, лопаты. Одна лопата показалась ему особенно удобной и при этом недорогой, и он решил купить ее перед самым отъездом.

Когда Бокен вышел из магазина, в нос ему ударил запах крепкого мясного бульона. Он почувствовал сильный голод и поспешил в столовую, примостившуюся у входа на базар.

У стойки тянулась длинная очередь. Бокен встал в ее конец и собрался терпеливо ждать, но тут же послышался голос Кулшары:

— Бокентай! Бокентай!

Она стояла в голове очереди и уже получила первое блюдо — тарелку с аппетитно дымящимся супом.

— Бокентай, иди же сюда скорей. Я беру и тебе, — звала Кулшара.

Но Бокен сделал вид, будто не заметил ее, не услышал. Но зато Кулшару услышали другие, заговорили вокруг Бокена:

— Мальчик, тебя зовут! Это ведь ты Бокентай, правда?

— Не стесняйся, мальчик, проходи вперед!

— Товарищи, пропустите мальчика к сестре. Он, видно, стесняется.

— Сельские дети такие застенчивые. Не то что наши городские.

— Вот и хорошо, что застенчивые. Наши уже на голову нам сели.

Его легонько подталкивали, и вскоре против своей воли он оказался рядом с Кулшарой.

— Бокентай, что ты хочешь на второе? Я себе взяла жаркое. Говорят, оно из говядины, — сообщила Кулшара.

— Ну и я буду жаркое, — пробурчал Бокен, все еще пытаясь сохранить свою независимость.

Кроме жаркого, Кулшара купила ему суп, два стакана чая и сладкие пышки. Они взяли подносы с едой и устроились за свободным столиком у самого окна.

Бокен достал из кармана деньги и протянул Кулшаре за обед. Но та не только не взяла, но даже отчитала его:

— Спрячь деньги! Пусть эти городские люди считаются каждой копейкой. Они тут друг другу чужие. А мы с тобой, слава богу, приехали из одного аула, — рассердилась Кулшара.

Бокен навернул и первое, и второе, но вот чай пить отказался.

— Выйдем на улицу, попью газводы, — пояснил он Кулшаре.

Зато его спутница, поковыряв вилкой жаркое, выпила свой чай и третий стакан взяла у Бокена. С нее ручьями струился пот, она вытирала лицо платком и продолжала пить горячий чай. Словно сидела дома, у себя в ауле.

— Боюсь, что от брезгливости заболею. Все-таки готовят они из свинины, — сказала Кулшара, когда они вышли на улицу.

Бокен подошел к стеклянной будке и выпил два стакана газировки. Потом они посидели в тени возле столовой, отдыхая да посматривая на прохожих. При виде женщин в коротких платьях Кулшара хихикала, щипала себя за щеку, говорила:

— Какой ужас! Они бы еще разделись совсем!

А Бокен стыдливо отворачивался, боясь, что Кулшара подумает, будто он специально смотрит на открытые женские ноги.

В три часа, как и наказал Кокбай, они подошли к главным воротам базара. Брат, к удивлению Бокена, сдержал слово — подошел вовремя. Увидев книги Бокена, Кокбай его похвалил, сказал: «Молодес!» Кулшара тоже показала свои покупки и пожаловалась на то, что не смогла купить себе новое платье.

— Они говорят: примерьте. А как я примерю? Не могу же я раздеться прямо на людях? — пояснила Кулшара.

Кокбай весело подмигнул Бокену и сказал:

— Для этого есть закрытые кабины. Ладно, сходим с тобой в магазин женской одежды. Что-нибудь подберем получше. А ты, Бокен, пока погуляй. Незачем тебе париться в магазине. А в пять встретимся на этом же месте.

Бокен не спеша прошелся по базару, купил матери гостинец — изюма и урюку. Себе взял два мороженых и сел на скамью у базарных ворот. Одно мороженое он положил рядом с собой и принялся за второе. Его приходилось есть второпях, большими кусками, чтобы не успела растаять та, другая порция. И от этой спешки страшно ломило зубы и горло замерзло, словно одеревенело, стало бесчувственным. Но зато другое он медленно лизал языком, наслаждаясь каждым кусочком.

Кокбай и Кулшара опоздали на целый час. Бокен уже начал нервничать, считая, что Кокбай опять решил посмеяться над ним. Но он сразу забыл обо всем, когда к нему подкатило такси и они вылезли из машины. Он в первый миг не узнал Кулшару. Перед ним стояло само чудо — городская красивая молодуха в потрясающем платье, с

замысловато уложенной прической. Она смотрела лично на него, Бокена, и улыбалась так, будто они давно были знакомы.

— Бокентай, как тебе мое платье? — спросило чудо голосом Кулшары и покраснело, смущаясь.

— О, как здорово! — только и молвил остолбеневший Бокен.

— Но прежде я сходила в баню, — поведала Кулшара. — Чтобы платье одеть на чистое тело. Потому мы и задержались так долго.

Видно, сегодня они занялись своей внешностью всерьез. Рассчитавшись за такси, Кокбай ушел в парикмахерскую. А Кулшара села рядом с Бокеном. Все еще благоговея перед красотой, Бокен сбегал, купил Кулшаре мороженое. Ну и, конечно, не забыл про себя.

— Бокентай, какой он джигит, твой брат Кокбай? — спросила Кулшара, осторожно вылизывая мороженое, держа его на отлете, чтобы не испачкать платье.

— Что значит «какой»? — не понял Бокен.

— Ну, плохой или хороший?

— По-моему, он не серьезный, какой-то чокнутый, — буркнул Бокен.

— Ну тогда ты не видел по-настоящему чокнутых, — сказала Кулшара, тяжко вздохнув. — Посмотрел бы на моего мужа Машена. Вроде бы как человек, а выпьет каплю…

— Я видел это на днях. Он пил около магазина. Прямо из горлышка пил. Потом залез на коня и начал носиться по улицам. Сам, того и гляди, упадет. Страшно было смотреть на вашего мужа.

— Вот Машен и есть чокнутый, — с тоской повторила Кулшара.

И Бокен подумал, что зря дулся на Кулшару. Что-то он не понял, ничего у нее не могло быть с Кокбаем, если она так спрашивала про него.

Тут их окликнул Кокбай, помахал рукой: ну, мол, поехали! С ним тоже произошла разительная перемена. Еще утром человек посторонний вряд ли мог угадать цвет волос Кокбая, до того они были грязны и спутаны. Теперь же его рыжая шевелюра была аккуратно расчесана на пробор и блестела, а там, где волосы были разложены по сторонам, белела чистая кожа.

Пока ехали по городу, Бокен сидел в кузове, чтобы не придиралась ГАИ, а потом снова перебрался в кабину.

К вечеру жара спала. В открытые окна кабины врывался приятный освежающий ветерок. Бегущая рядом тень машины вытянулась в глубину степи, к холмам, касалась их своей макушкой.

Проехав километра три, Кокбай свернул с шоссе на серую от пыли степную дорогу. Когда-то она соединяла напрямик город с аулом. Но после того, как были построены удобные объездные пути, дорога опустела. Разве что покажется иногда редкий путник на телеге с меланхоличным быком в упряжке.

— По асфальту до нашего аула восемьдесят километров, а по этой дороге всего шестьдесят, — пояснил Кокбай Кулшаре. — Да и проходит она рядом с твоим домом. У самых дверей тебя ссажу!

— А если и не ссадишь, я не обижусь. С тобой могу и на край света поехать, — сказала Кулшара и звонко рассмеялась, довольная шуткой.

И снова машина прыгала с кочки на кочку, ныряла в ямы, переваливалась с боку на бок. В кабине трясло. Кулшара и Бокен то и дело сталкивались плечами, стукались теменем о потолок. Зато Кокбай чувствовал себя в этой тряске как рыба в воде, небрежно откинулся на спинку сиденья, держась за руль одной рукой. Его глаза хитро блестели, словно он задумал очередное баловство.

Перед машиной неожиданно появился старый полузасыпанный арык. Кокбай невольно сбавил скорость, и машину догнало, накрыло густое облако пыли, которую она же сама и подняла. Все трое стали чихать и кашлять, и всем троим было очень смешно.

Потом Бокен высунулся из кабины и начал смотреть на степь. Отсюда, из движущейся машины, она казалась совсем другой. Она будто тоже двигалась, не стояла на месте. Особенно это было заметно по холмам. Вот те, дальние, округлые, подобно тюбетейке, бежали вперед, словно хотели обогнать машину и встать у нее на пути. А те, что были поближе, похожие на горбы верблюдов, уходили назад. И от всего этого, от пестроты движений, слегка кружилась голова, точно на карусели, точно степь вращалась вокруг своей оси.

А позади, вдогонку за машиной, летел красноватый луч заходящего солнца. Словно машина и луч играли в догонялки. Но постепенно луч отстал. Теперь его было видно только после того, как машина взобралась на высокий холм. Он лежал на вершинах соседних

холмов. Машина покатилась вперед, под уклон, будто падающая звезда, и в этот миг погас последний солнечный луч.

Бокен втянул голову в кабину и сел прямо, глядя перед собой. Кокбай и Кулшара, говорившие о чем-то, сразу умолкли, но Бокен не придал этому значения.

— Ну вот и проехали половину, — бодро сказал Кокбай.

— Всего половину? — расстроилась Кулшара. — А я воды хочу. Пить хочу. Умираю, — произнесла она слабеющим голосом.

— Чуточку потерпи. Вон за тем подъемом есть родник. Там мы остановимся, и ты попьешь, — сказал Кокбай.

На степь легли плотные сумерки, но было и вправду видно, как впереди дорога круто уходит вверх.

— Да, Кокбай, я еще вчера хотела спросить и забыла. Люди говорят, будто ты хочешь жениться. Это верно? — живо спросила Кулшара, забыв о жажде.

— Кто тебе сказал? — удивился Кокбай.

— Слышала, хоть ты и скрываешь.

— Нечего мне скрывать. Ну и люди! Услышат краем уха, а потом болтают бог знает что. Как испорченное радио. На самом деле что было? Сидим на днях, пьем чай. Мама и говорит: «А что, если посватаем дочь старика Жумагула?» Ну и я сказал: «Как хочешь». А люди, выходит, уже меня женили!

Кокбай одолел крутой подъем и остановил машину.

— Пойдем. Покажу, где родник, — сказал он Кулшаре.

Они вылезли из машины и пошли прочь от дороги, в темноту. Когда они скрылись из виду, Бокен тоже почувствовал жажду и направился следом за ними.

Он едва не наткнулся на них. Они стояли прижавшись друг к другу, и Бокен вначале не сообразил, что перед ним два обнявшихся человека. Понял лишь тогда, когда они, заметив его, отпрянули в разные стороны.

— Тебе что надо?! — растерянно крикнул Кокбай.

— Я тоже хочу воды, — пробормотал Бокен, растерявшись не меньше этих двоих.

— Ну что ты за нами следишь? Тебя что — кто-то приставил? — обозлился Кокбай.

— Я тоже пить хочу, — бестолково повторил Бокен.

— Дурак! Здесь нет воды, — сказал Кокбай и яростно рассмеялся. — Кулшара, ты только взгляни на него! Он поверил, что здесь родник! — И заорал на Бокена: — Иди сейчас же к машине. Иначе я тебе шею сверну!

— Ладно. Пусть смотрит, если ему не стыдно, — вмешалась Кулшара. — Ну что же ты стоишь, Бокентай? Подойди еще поближе!

— Вы оба… плохие люди. А вы еще и обманщица, красивое платье надели, — выпалил Бокен, едва не плача.

— А ну повтори, что ты сказал?

Кокбай шагнул к нему и ударил тяжелой ладонью по щеке. Бокен повернулся и побежал к машине. На панели в кабине висел ключ. Когда-то один колхозный шофер, возивший с фермы молоко, учил его, как заводить машину. Бокен повернул ключ, и сразу засветились циферблаты, качнулись язычки стрелок. Он зажег фары, нажал на стартер. Машина послушно заурчала и тронулась с места. «Не люди они… не люди», — шептал Бокен.

— Бокен! Сукин сын! Сейчас же остановись! Убью! — закричал позади разъяренный Кокбай.

Но Бокен прибавил газу. Машина, гремя и сотрясаясь, виляла из стороны в сторону, ударяясь о крутые края дороги, грозя перевернуться. А вдогонку летели душераздирающие вопли Кокбая:

— Бо-кен!.. Бо-кен!.. Остановись!.. Разобьешься!..

В лучах света запоздало разверзся старый арык. Бокен не успел даже подумать, да и успей, все равно бы не знал, что нужно делать. Машину бросило вниз, потом она взмыла вверх. Бокен больно ударился о потолок кабины, прикусил язык. Ход машины как бы выправился, но дорога почему-то казалась все уже и уже. Полынь и волоснец, стоявшие вдоль обочины, выросли в свете фар до размеров деревьев, наступали на машину с обеих сторон.

— Бо-оке-ен!

Голос Кокбая, казалось, догонял машину. Она медленно одолевала подъем, ход ее стал тяжелым, вязким. Бокен неистово давил на газ. Мотор выл, ревел, словно хотел разорвать пополам землю. Наконец на последнем дыхании, нервно дрожа, грузовик взобрался на холм. И тут будто кто-то державший его сзади за борт бросил руки, и грузовик покатился вниз, словно полетел в пропасть…

СТУЖА

Этот страшный буран налетел ранним утром, словно норовил застать людей врасплох. Снежные смерчи закрутились между небом и землей в первобытном танце. Бешеный ветер запросто слизывал огромные сугробы, гнал их перед собой, засыпая закоулки. Буран гулял целые сутки и на другое утро притих. И тогда небо чуть-чуть прояснилось, над степью выглянуло солнце, тусклое, точно глаз, пораженный бельмом. Степью завладела лютая стужа.

Заведующий фермой выбрался из дому с рассветом. Едва он высунул наружу лицо, как щеки и нос обожгло холодным огнем. Заведующий зябко поежился: с севера нудно тянуло ледяным сквозняком. «Ну и стужа!» — озадаченно подумал он. И про себя отметил, что в такой мороз не то что дышать, думать и то нелегко. Дурела голова от стужи.

Заведующий отправился на скотный двор, обошел его, придирчиво проверил, хватит ли корма скотине на ближайшие дни, и оказалось, что корм уже на пределе, и если не пополнить запас вовремя, жди неприятностей. Пока он ходил по холоду, его тулуп задубел, поскрипывал при ходьбе, а сам он, заведующий, весь заиндевел, точно новогодний дед.

Со скотного двора он пошел к дому Данеша, а потом завернул в дом Кайрака и распорядился, чтобы Данеш и Кайрак собрали подводы и съездили за сеном на одно из далеких угодий, где стоял нетронутый стог. Работа предстояла нелегкая, на стуже-то, да и трудна дорога. Поэтому он посоветовал кроме вил взять с собой и лопаты. Снега выпало много, и, возможно, без лопат к стогу не подойдешь, не проедешь. Да и сам стог, поди, замело, так что опять не обойтись без лопаты.

И Данеш и Кайрак, отоспавшись за время, что хозяйничал буран, сытно поевшие перед дорогой, пришли на скотный двор почти одновременно и начали запрягать лошадей в сани.

Оба джигита были в отличном настроении, горячая кровь играла, бурлила в их жилах. Об этом не знала молодая цветущая доярка, а

может, знала и потому выскочила во двор в то самое время, когда молодые люди не знали, куда деть буйную силушку. Девушка выбежала во двор в одном ситцевом платье, помчалась между санями, и тут-то джигиты поймали ее за жаркие руки.

— Ага, попалась! А ну-ка, поедем с нами! — закричал Кайрак.

— Ой, я замерзла! Ну, пустите же! Ой, ой! — запищала девушка, упираясь полными крепкими ножками в хромовых сапогах.

Снег весело похрустывал под ее сапогами, и сразу было видно, что мороз для нее нипочем, что возмущалась она для вида. А румянец так и пылал на ее щеках. А черные глаза так и поблескивали. И ей хотелось подольше продлить забаву с бойкими молодцами.

— Ой, окоченела уже! — закричала она, не удержавшись от смеха.

— Поцелуешь — отпустим! — сказал Кайрак.

— Вот еще! Ишь что придумали!

— Поцелуй нас по очереди, иначе прихватим с собой! — поддержал Данеш напарника.

— Так и быть, негодники!

Девушка потянулась на цыпочках, чмокнула их в щеки, сначала Данеша, за ним Кайрака.

— Ну вот! Теперь отпустите!

— Э, так не пойдет, — запротестовал Кайрак. — Почему ты сперва целовала Данеша? Придется все повторить! Но теперь ты начнешь с меня!

— Данеш, скажи ему. Пусть отпустит.

— Ладно, Кайрак, отпусти ее.

— Может, ты думаешь, что я боюсь Данеша? — усмехнулся Кайрак. — Как бы не так! Целуй — и все тут!

— «Как бы не так»! — передразнила девушка. — С такой небритой рожей, хоть бы был еще холостой!

Она ловко вывернулась из рук оторопевшего Кайрака, отбежала на несколько шагов, показала ему язык, а потом поманила Данеша:

— Данеш, поди сюда. Скажу что-то!

Джигит подошел к ней с опаской. Но вот она прошептала ему что-то на ухо, и Данеш заулыбался широко и светло.

— Эй, скажи и мне! То же самое! — потребовал уязвленный Кайрак.

Но доярка засмеялась и убежала в коровник. А Данеш вернулся к саням, улыбаясь своим потаенным мыслям.

— И что же она сказала тебе? — спросил Кайрак небрежно, будто это его не очень-то интересовало, но вздрагивающие широкие ноздри выдавали его волнение.

— Что она говорила? Да так просто, — рассеянно произнес Данеш.

На губах его бродила счастливая улыбка.

— Значит, так? Скрываешь? Ну, ну, можешь не говорить, — сказал Кайрак обиженно и полез в свои сани. — Давай трогай! Что стоишь? — прикрикнул он на Данеша.

— Поезжай, поезжай! Я сейчас же, следом, — очнулся Данеш.

— Следом? Ишь ты! Значит, я должен тебе путь расчищать? Так, что ли, выходит?

— Ладно, ладно, первым поеду я, — немного смутился Данеш и добавил, стараясь закончить шуткой этот спор: — Ты еще заведешь и себя и меня куда-нибудь на обрыв! А, по-о-ошли, коняшки!

Он прыгнул в сани, дернул вожжи, свистнул, щелкнул кнутом с рукоятью из вереска и пристывшие на холоде кони рванулись с места, рысью вынесли сани на дорогу, словно только и ждали хозяйского сигнала.

Ветер потихоньку смел с дороги не успевший слежаться снег, открыл покрытый старым гололедом путь, гладкий, точно полированная доска. По нему-то и пустил своих коней Данеш.

Кони опушились инеем с головы до хвоста, и оттого не разобрать, кто из них рыжей, а кто темно-гнедой масти. На гривах намерзли сосульки, а мерно вздымающиеся бока темнели одинаковыми пятнами. Копыта коней гулко стучали по наледи, сани скользили легко, и полозья напевали тягучую мелодию, будто кто-то тихонько наигрывал на кобызе.

Дорога то тянулась вверх на холмы, то скатывалась в низины, и сани взлетали, будто стружка на гребнях волн. А по обочине караулили рыхлые, коварные сугробы. Попробуй ступи в сторону от дороги, тотчас увязнешь в белой ловушке. Опытные кони чувствовали это и держались знакомой и надежной колеи. Они бежали резво, точно знали, что впереди их ждет корм, точно их нервные ноздри уже ловили далекий аромат сухого сена.

Данеш стоял в санях, прочно расставив крепкие, чуточку кривые ноги. Он оделся полегче, в ватник и стеганые шаровары, чтобы одежда не связывала движения. Данеш свистел, хлопал кнутом по воздуху, и воздух звонко разрывался, словно от выстрелов. Кони прядали ушами и неслись все быстрей и быстрей, и, может, поэтому не сразу его догнал отчаянный вопль Кайрака:

— Э-эй! Дане-е-е-ш!

Данеш придержал коней и, обернувшись встревоженно, увидел, что упряжка Кайрака стоит чуть ли не поперек дороги, что передние ноги лошадей едва не увязли в сугробе, а сам Кайрак стоит перед лошадьми, держа их под уздцы.

Данеш вылез на дорогу и заспешил к напарнику. Кайрак смотрел на него из-за широкого воротника шубы.

— В другой раз, если захочешь избавиться от меня, придумай что-нибудь получше. Вилами только покалечишь коней, — пошутил Кайрак, но глаза его были злыми.

Только сейчас Данеш заметил лежащие посреди дороги вилы. Они выпали из его саней и, наверное, чудом их острые зубья не угодили под ноги лошадям Кайрака. Данеш виновато почесал затылок — ну что тут скажешь! Но Кайраку, видно, было мало того, что человек обескуражен своей оплошностью.

— Хочешь сказать: случайно? Так я тебе и поверил. Это ты нарочно подстроил, — не унимался Кайрак. — Подстроил, чтобы я твоему свиданию не помешал. Ведь она тебе свидание назначила. Угадал?

«Далось ему наше свидание. Он до сих пор не обращал на девушек внимания. Ни на эту, ни на других», — забеспокоился Данеш.

Впрочем, у них с Кайраком давно были сложные отношения, еще с раннего детства. Но теперь его неоправданная злость вызвала у Данеша чувство протеста.

— Ты угадал! А что касается вил, то, кто знает, может, еще бы немного, и они воткнулись бы тебе в живот, — сказал он, насильно улыбаясь.

Данеш поднял вилы и зашагал к своим лошадям. По дороге он оглянулся. Кайрак уже сидел в своих санях, ссутулился под огромной черной шубой, ни дать ни взять копна, охваченная белой изморозью.

Он сделал все для большего удобства, даже концы вожжей подложил под себя, чтобы не очень-то утруждать свои руки.

Данеш залез в сани и тронул коней, Кайрак пустился следом. И снова запели полозья, но теперь их песня царапала сердце печалью.

Мороз крепчал, царапал лицо ледяным языком. Кайрак все глубже зарывался в просторную шубу, но мороз доставал его и там, щипал за нос и щеки. Брр!.. А Данешу хоть бы что! Стоял в полный рост, посвистывал, погоняя лошадей, да помахивал кнутом. Когда он поворачивался в профиль, Кайрак видел его красное, словно распаренное лицо, и почему-то его беззаботность в этакую стужу возмущала Кайрака.

— Ишь: «Вилы тебе в живот», — вспомнил Кайрак слова Данеша. — Я тебе такие вилы воткну! Слабак, а туда же еще… И вечно ему везет. Вот вчера, например.

Вчера по случаю ненастья они встретились в гостях у одного из сверстников. Вначале был обед из телки, которую хозяин специально зарезал для гостей. Наевшись, джигиты уселись за карты, и Данешу, конечно, везло, как всегда. Но ему и этого было мало. Каждый раз, когда заканчивалась игра, он приговаривал:

— Вот как надо играть! Учитесь!

Пришлось возражать: мол, зря не хвастайся, если бы я играл под интерес, ты бы не выиграл ни одной партии.

Но Данеш, вместо того чтобы уняться, сказал:

— Ну коль ты такой игрок, сыграй на свою жену! Что, Кайрак, боишься?

Конечно, Данеш шутил, но все же было неприятно, что шутил не кто-то, а именно Данеш. Жаль, не к чему было придраться, не то бы он, Кайрак, показал ему, почем фунт лиха.

Кони его зафыркали и встали, точно перед ними оказалась стена. Кайрак поднял голову, выглянул из-за ворота и обнаружил, что у Данеша опять выпали вилы. Только Данеш на этот раз заметил сам и вылез из саней, не ожидая окрика. Он поднял вилы и пояснил сокрушенно:

— Какое-то наваждение. Кажется, накрепко привязал — и на тебе! Опять упали!

Но Кайрак уже очутился во власти бешенства.

— Я же предупредил тебя: придумай что-нибудь другое, — процедил он с ледяной улыбкой. — Попробуй еще урони, и я вгоню их в брюхо твоих лошадей. Если уж ты хочешь найти им такое применение! И не я, а ты потащишь сани на себе!

В глазах Данеша мелькнула растерянность, но затем этот самолюбивый парень взял себя в руки и сказал с замороженной улыбочкой:

— Ну тогда, Кайрак, мне придется постараться, чтобы в третий раз они все-таки попали по назначению.

«Что за шутки у нас? Будто мы бандиты с большой дороги», — подумал Кайрак с досадой и выпалил первое, что пришло в голову:

— Ты совсем потерял голову из-за… из-за той девки!

— Я человек холостой, — возразил Данеш, пожимая плечами. — Это у тебя жена и сын. И кроме жены тебе никто не нужен.

— Больно ты знаешь, — раздраженно пробормотал Кайрак.

— Больно не больно, а видел, как ты смотришь на нее.

Кайрак помолчал, не найдя, что сказать.

И опять под копытами коней, под санями замельтешила дорога. По сторонам мелькали и оставались позади заснеженные холмы, издалека похожие на прилегших пушистых зайчат. Но Кайрак не сводил глаз со спины Данеша. «Вот такие и нравятся всем. Такие кого хочешь обведут вокруг пальца. Мол, свой парень», — думал он, и ему хотелось обидеть тех, кто любит Данеша, а еще более его самого. И тут еще эта стужа!

— Эй, Данеш, куда так спешишь? Никак на похороны отца? Можешь не торопиться, он помер давно! — крикнул Кайрак, не сдержавшись.

Он понимал, что говорит не то, но уже не мог остановиться.

— Слышишь, Данеш! Можешь не торопиться!

Данеш обернулся. Тесемки его шапки-ушанки были туго завязаны под подбородком, поэтому его пылающее от мороза лицо было точно обрамлено древним шлемом. Брови его казались седыми. Данеш приоткрыл губы, и из его рта вырвалось густое дыхание. Данеш засмеялся. Так пронзительно он смеялся только в тех случаях, когда им овладевала холодная ярость. И кто-кто, а Кайрак знал это с детства.

Данеш ткнул пальцем в его сторону, точно собираясь пригвоздить к серому небу, и крикнул:

— Мой отец погиб на войне смертью храбрых! А вот где твой отец, Кайрак, кто это знает?

Кайраку почудилось, будто лошади рванули вперед, напуганные страшными словами Данеша. Он качнулся, встал коленями на охапку сена, служившего сиденьем, и отвернул ворот шубы. Стужа сейчас же вцепилась в его беззащитное лицо, провела по нему острыми когтями. Но он не заметил этого, так больно его ударили слова Данеша. Данеш знал, куда бить.

Их поединок тянется с тех пор, как они помнят себя. Родились они в один и тот же год и росли вместе, как жеребята-одногодки. В одном табунке бегали, играли и дрались. И все эти годы копят по капельке яд друг против друга, словно та пестрая змейка, что ползает среди полыни. Размером змейка с палец джигита, но от укуса ее нет никакого спасения. Бывалые люди говорят, что набирает свой яд эта змейка все лето, капелька по капельке, капелька по капельке. Так вот и они.

А начали прадеды, и что они не поделили в этом просторном мире, неизвестно ни Кайраку, ни Данешу. Они знают только одно, что потом враждовали их отцы. Когда началась война, отец Данеша уехал на фронт и погиб. Почти в то же время ушел в город отец Кайрака, и с тех пор о нем не слышали ничего. Правда, сплетницы уверяли, будто он завел в городе новую семью. Но им не верил никто.

Так отцы канули в вечность, оставив им в наследство свою вражду.

Кайрак потер закоченевший на морозе нос, не сводя глаз со спины Данеша, и прикинул, кто же из них одолеет, если между ними вдруг настанет решительный бой. Уж тут они не станут жалеть друг друга. Когда это случится, пока лишь можно гадать. Спора нет, Данеш сейчас первым не полезет, да и к чему ему задираться, если во всем ему везет? Это у него, у Кайрака, не все складывается, как нужно, и не так умело он ладит с людьми.

«Когда это наступит, я должен одолеть его. Хотя бы разок сесть на голову ему, проклятущему», — подумал он и посмотрел с сомнением на свой бич, четыреххвостый, с кривой деревянной рукоятью.

А дорога тянулась и тянулась. Казалось, что так же бесконечно будут скрипеть полозья и сыпаться в сани ледяная крошка из-под задних копыт лошадей. Глазам уже стало больно от бело-серой ряби, бегущей по сторонам.

Часа через два они покинули дорогу и свернули в снег, направились краем глубокого оврага к темнеющей вдали глыбе сена. Поначалу кони не хотели уходить с укатанной дороги, пятились, кося кровавым оком, и только свист бича да удила, врезающиеся в губы, заставили их подчиниться людям. Теперь начиналась самая трудная часть пути.

Мороз и ветер будто полили степь тусклой грязновато-белой глазурью. И оттого наст мог показаться прочным. Но лошади сразу же провалились в сугроб по брюхо, и Данешу пришлось выйти из саней, взять коней под уздцы и так, когда подбадривая, когда угрожая, вести их по степи. «Только бы они не переломали себе ног», — беспокоился Данеш.

Как-то он обернулся и увидел, что Кайрак сидит в санях как ни в чем не бывало, предоставив своим лошадям выбираться из сугробов самостоятельно. Бедные животные подскакивали в глубоком снегу, точно кузнечики.

Данеш возмутился, ему так и хотелось крикнуть:

«Чтоб ты примерз своим ленивым задом к саням, негодяй ты этакий! А ну-ка, сейчас же слезай!»

Но в последний момент он сдержал себя, решив, что злость не приведет к добру.

Когда до стога осталось рукой подать, Данеш взял железную лопату и принялся расчищать подъезды к сену, а заодно и обратный путь.

Временами он передыхал, поджидая Кайрака. А тот, словно нарочно, еле полз на своих санях. «Да что он там ковыряется? Наверное, хочет, чтобы я расчистил снег один? Ну, так не пойдет!» — сердился Данеш, но брался за дело вновь, потому что стоило опустить руки, как сейчас же холод пробирал его до косточек.

Данешу подумалось, что он перелопатил все снега мира, пока добрался до стога. И все равно еще оставалась уйма работы, потому что сани никак не становились к стогу впритык.

В конце концов подоспел Кайрак. Он взглянул на Данеша, который ждал, опершись на лопату, и нахмурился: «Что же он стоит? Или надеется, что самое трудное сделаю я? Меня не проведешь, голубчик!»

Он неторопливо сбросил шубу, взял из саней лопату и так же не спеша вонзил в снег.

— Так мы не вылезем отсюда до утра, — пробурчал Данеш, поднимая голову.

— Тогда пошевеливайся живее. Могу уступить свои трудодни, — насмешливо ответил Кайрак.

В душе у Данеша будто взорвалась бомба, он еле сдержал себя и не бросился на Кайрака. «Данеш, спокойнее, — сказал он себе, — гнев не доведет до добра, Кайрак только и ищет причину для открытой ссоры».

Несколько минут они работали молча, будто не замечали друг друга. Потом Данеш почувствовал, что под подошву его сапога попало что-то живое. Данеш отскочил в сторону, и тут же послышался довольный смех Кайрака.

— Заработался и чуть не выбросил тебя. Заодно со снегом, — сообщил Кайрак, очень довольный тем, что застал Данеша врасплох.

— А попробуй сейчас выброси! — усмехнулся Данеш, выхватил из саней вилы и взял их наперевес.

— Ага, ты так? — удовлетворенно отметил Кайрак.

Он тоже схватился за вилы и выставил их навстречу Данешу.

— Ну попробуй, попробуй, выброси, — вызывающе предложил Данеш.

— Выброшу, вот увидишь.

Они топтались вокруг невидимой оси. Зло дразнили друг друга, словно петухи. А стужа еще больше разжигала страсти.

— Ну, выбрось, выбрось, — дразнил Данеш Кайрака.

— И выброшу, выброшу, — дразнил Кайрак Данеша.

Они будто шутейно тыкали вилами перед собой, и вдруг зубья столкнулись. Жуткий лязг железа, казалось, наполнил их уши. Враги отскочили в разные стороны, тяжело дыша.

— Ты чего? — испуганно спросил Данеш.

— Я нечаянно, — виновато сказал Кайрак. — А вот ты чего?

— Я тоже нечаянно, — пояснил Данеш. — Я не хотел.

Они опустили вилы, постояли так, не сводя друг с друга глаз. Им казалось, будто они одни во всей бескрайней степи. Потом Данеш отбросил вилы, нагнулся, прихватил горсть снега и сунул в рот.

— Жарко? — спросил Кайрак, будто бы даже с сочувствием.

— Жарко, — признался Данеш.

— Мне тоже, — сказал Кайрак и, бросив вилы, опустился, сунул в сугроб разгоряченное лицо и начал хватать снег губами.

Когда он поднял голову, его ресницы, щеки и подбородок оказались украшенными снегом, точно ватой. Кайрак вытер лицо рукавом и с притворным добродушием сказал:

— Ну что, повеселились? Разогнали кровь?

— Пора за дело! Иначе не успеем, — охотно подхватил Данеш. — В самом деле, погрелись — и довольно.

Они поднялись, все еще возбужденно дрожа, как псы после незаконченной драки, и Данеш полез на стог. Взобравшись на вершину, он поддел на вилы заснеженный, смерзшийся слой снега, отбросил в сторону, и в ноздри его ворвался терпкий запах прошлого лета. Внизу заржали, заволновались лошади, потянули морды вверх.

— Чуешь? — спросил он у Кайрака.

— Пахнет, — прошептал нервно Кайрак, раздувая ноздри.

Данеш скинул лошадям пару охапок сена, а Кайрак снял узду, ослабил подпруги.

— Давай сюда сани! Начнем с твоих! — крикнул Данеш.

Кайрак кивнул, подогнал сани, и джигиты принялись за погрузку. Они прятали друг от друга глаза, лишь изредка перебрасывались необходимыми односложными фразами и, стараясь уйти от только что происшедшего в работу, орудовали вилами с удвоенной энергией. Но в их движениях, в том, как была закрепощена спина и скованы в суставах руки, чувствовалось не остывшее до сих пор напряжение.

«А смелый, черт! Запугать его не так-то просто, — размышлял Кайрак. — Только ему подвернись, зевни, мигом шею свернет!»

«Зачем я поехал с этим психом? Знал, чем кончится, а поехал, — досадовал тем временем Данеш. — Мог отказаться. Мол, так и так, дня три назад посылали за дровами. А за сеном пусть съездит кто-нибудь другой. Нет, захорохорился, хотел показать характер. Ну и показал!»

Нагрузив сани Кайрака, они быстро управились со вторыми, и Данеш прикинул, что можно вернуться в аул еще до сумерек. Главное было — перебраться через снежную целину и выехать на дорогу, а там уж только держи лошадей.

Данеш вспотел, чувствовал, что измотался вконец. Стоя все еще наверху, на разобранной половине стога, он извлек из кармана

стеганых штанов носовой платок, вытер лицо и огляделся. Внизу его покорно ждали совсем седые от изморози кони, Кайрак в последний раз проверял, как уложено сено на его возу. А вокруг громоздились горбатые холмы, точно волны вмиг застывшего океана. А степь и в самом деле, как оледеневший океан, уходила далеко-далеко, и не было ей конца и края. Но временами на ее омертвевшем просторе мелькала жизнь. Вот показалось рыжее пятно на белом — это рыскала лисица, копала снег, пытаясь извлечь на белый свет зазевавшуюся полевую мышь. А там, далеко в стороне, кто-то прокатил по дороге в санях, исчез в ущелье. На самом горизонте четким силуэтом виднелся его родной аул. У каждого дома торчал синеватый отсюда тополь или карагач с будто бы остриженной верхушкой. Над крышами медленно и низко полз густой дым, цеплялся за ветки деревьев.

— Эй, что ты там не видел? — спросил заинтересовавшийся Кайрак.

— Красиво тут! Видать полмира. И наш аул.

— Да ну?

Кайрак взобрался к Данешу. Встал рядом с ним и поцокал языком.

— А отсюда упаси свалиться! Вот уж не думал, что здесь такой обрыв. Упадешь — не остановишься. Так и будешь катиться кубарем.

Данеш заглянул по ту сторону стога и тоже удивился — такой тут вырос овраг.

— А на дне вода. Смотри, мороз, а она хоть бы что, не замерзает, — удивился Данеш.

— Там из земли бьет родник. Летом мы здесь косили, чуть что — и к роднику. Вода такая вкусная, пьешь — не напьешься.

Данеш снял ушанку и начал счищать с нее приставшую сенную труху. Он сделал неловкое движение, и шапка упала к ногам Кайрака.

— Надень. Простынешь. Тоже мне спортсмен, — сказал Кайрак с иронией.

— А что? Я закаленный, не то что ты! Видно, и ночью не расстаешься с шубой, спишь в ней около печи, — ответил Данеш и потянулся за ушанкой.

— Ты закаленный, говоришь? Сейчас посмотрим, — и Кайрак пнул шапку ногой.

Шапка взлетела над стогом и упала под откос и медленно, как бы дразня своего хозяина, покатилась вниз.

— Ой, не могу! Беги догоняй! — захохотал Кайрак; он хлопнул в восторге себя по ляжкам и слез к своим саням, продолжая смеяться.

А Данеш, оцепенев, следил, как шапка будто нехотя переваливалась через край оврага. Он надеялся, что в последний момент она зацепится за какой-нибудь старый корень. На какое-то время крутой обрыв скрыл от него шапку, и тогда Данеш заскользил вниз. Добравшись до обрыва, он заглянул вниз — шапка, точно гонимое ветром перекати-поле, мчалась ко дну оврага. Затем она перевернулась в последний раз, мелькнув старенькой подкладкой, и с плеском упала в родник.

«Этого еще не хватало!» — огорчился Данеш. Он взял вилы и начал спускаться на дно оврага, опираясь на вилы. Сейчас, среди снега, родник казался дегтярно-черным. Будто и не было лета, когда он серебристо вызванивал среди камней. Теперь он был неподвижен, точно под ним таилась мрачная бездна.

Когда Данеш добрался до воды, шапка уже полузатонула, наполнилась водой. Он вылил воду из ушанки, яростно встряхнул, выжал, но шапка набухла точно губка, точно состояла из одной воды. Данеш сгоряча натянул ее на голову и тут же сорвал, потому что и темя и виски тотчас же обхватило ледяным обручем. Он связал тесемки и, повесив шапку на руки и осыпая Кайрака проклятиями, полез из оврага. Вот где сказалась усталость: он задыхался, поджилки его тряслись, и однажды ему подумалось, что так он не выберется из оврага и до конца зимы.

Кайрак уже уехал. Его сани маячили метрах в двухстах от стога. Сам он сидел нахохлившись, даже не повернул головы.

— Ну, подожди у меня, — прошептал Данеш, скрипя зубами.

Он залез на воз и поднял бич, но притомившиеся лошади тронули с места сами, не дожидаясь команды.

Стужа, видно, только и ждала, чтобы он остался без шапки. Теперь-то она взялась за него всерьез, обхватила голову Данеша, больно прижала к своей стылой груди, прищемила нос, задула в уши.

— Уу! — закричал Данеш, поднял бич, хлестнул по воздуху, вкладывая в удар всю злость.

Кони испугались, прибавили прыти, сани запрыгали по снежным ухабам, опасно кренясь. Лицо и уши Данеша залила колющая боль. Он понимал, что нужно остановиться и хорошенько натереть их снегом.

Но его торопила жажда мести. Данеш только снял рукавицы и потер лицо и уши ладонью, потому что теперь он думал лишь об одном — как поскорей настичь Кайрака.

Догнал он Кайрака уже на дороге. Услышав неистовый топот его коней, Кайрак обернулся, брови его полезли на лоб, изломились углом.

— Все хвастаешь закалкой! Пижон! — крикнул он, усмехаясь.

«И он еще смеется?» — изумился Данеш, и в сердце его ворвалась дикая ярость.

— Сейчас ты еще не то увидишь, — процедил Данеш и стегнул лошадей, посылая в обгон Кайрака.

Его воз, взлетая полозом на обочину, поравнялся с упряжкой Кайрака и начал теснить ее к краю дороги.

— Осторожней! Куда прешься? Перевернешь, не видишь, что ли? — завопил Кайрак.

В ответ Данеш поднял бич.

— Э, тоже могу! — встревожился Кайрак и взял было свой бич.

Но Данеш опередил его. Не помня себя от бешенства, он широко размахнулся и хлестнул Кайрака по голове.

Кайрак завалился на бок и пополз с саней. Данеш победно поднял руку с бичом, и кони вынесли его на дорогу.

— На помощь! Убили! — заорал за его спиной Кайрак.

Данеш обернулся, увидел, что тот лежит на дороге, схватившись обеими руками за ногу, и остановил упряжку. От поверженного противника его отделяло около полусотни метров, но Данеш остыл уже с первым шагом. «Зачем я сделал это? — спросил он себя. — Откуда ему было знать, что шапка скатится в родник?»

— Что тебе еще нужно? — спросил Кайрак с ненавистью и поднял на Данеша налитые кровью глаза.

— Дурак! Я хочу тебе помочь, — сказал Данеш, остановившись над ним.

— Уходи! — произнес пострадавший сквозь зубы.

— Давай помогу, — сказал Данеш и взял Кайрака за талию.

— Уходи, говорят! — повторил Кайрак.

Данеш невольно отступил в сторону и тут почувствовал, что еще немного, и ему самому будет плохо. Голова так промерзла, что на плечах у него, казалось, вместо нее кусок льда.

— Ноги-то как? Ничего? — спросил он, стуча зубами.

У Кайрака едва не брызнули слезы.

— Да оставь меня! Оставь!

— А сам заберешься на сани?

— Без тебя обойдусь! Слышишь? Обойдусь без тебя!

Данеш вернулся на свой воз, подождав немного, растирая нос и уши, и, убедившись в том, что Кайрак хоть с трудом, да забрался в свои сани, погнал лошадей.

Никогда он не думал, что холод может быть таким нестерпимым. Боль в голове теперь не отпускала его. Глаза слезились от встречного ветра, он не успевал вытирать их, и слезы, наверное, замерзали на ресницах, на щеках, возле носа. Он решился, снял ватник и закутал им голову, оставив щель для глаз. Теперь беззащитным оказались его торс и руки, одетые в рубашку и старенький пиджак. Стужа тотчас сдавила его грудь холодными железными щупальцами, не давая дышать. Когда на его теле не осталось ни одного не простуженного места, он вновь надел ватник.

Данеш нахлестывал лошадей, но время будто замедлило ход, растянуло дорогу на целую вечность. Он неистово тер уши, щеки, шею, вначале они болели от мороза. Потом боль исчезла. Когда он коснулся своих волос, ему почудилось, что это не его волосы, а жесткая проволока. Он начал растирать голову с удвоенным ожесточением. И почему-то вдруг вспомнил руки давешней доярки. Они были горячими, вот что. И она сегодня вечером будет ждать его. Именно это и сказала она, когда отозвала в сторону. Так поскорей же! Заботливые горячие руки спасут его!

Предзакатное солнце стояло в небе огромным раскалившимся до багрянца шаром, этакий огромный красный кусок угля. Только от него не было тепла, от этого большого бесполезного солнца. Оно висело почти над плечом Данеша, казалось, протяни ладонь — и обожжешься, а Данеш замерзал. Для чего же тогда взошло солнце в этот день, если у него не хватало сил отогреть даже одного человека? Отогреть именно сейчас, потому что потом будет поздно.

Данеш снова снял ватник и накрыл голову, стараясь согреть ее своим дыханием. Но в легких теперь тоже стоял холод, и дыхание выходило оттуда стылое, точно из погреба-ледника. Так он несколько раз снимал ватник, прятал в нем голову, словно затеял со стужей опасную игру.

«Да что же это такое? Когда наступит конец этой ужасной дороге? Неужели, пока меня не было, аул перенесли в другое место?» — думал Данеш. Это было нелепое предположение, он понимал сам, и в то же время теперь могло быть всякое, потому что в его мозгу исчезла грань между явью и вымыслом. Где он теперь? В казахской степи или в дьявольском котле, в котором жарят на трескучем морозе.

Потом мороз оставил его в покое, и ему захотелось спать, спать. Глаза слипались, слипались… Сейчас бы прилечь на мягкое сено. Разве найдется ложе удобнее этого. И полозья споют тебе песню, точно струны кобыза. Но он родился в суровой степи и поэтому знал, как опасен сон для замерзающего человека.

Кони будто понимали его, неслись как оглашенные, но ему все труднее и труднее было бороться со сном. Ресницы слипались, будто их смазали клеем. И сквозь дрему слышался треск. Словно весь мир потрескивал от мороза. В конце концов Данеш устал бороться, закрыл глаза, и ему стало тепло. Стало тепло, как летом. А вот на сани и доярка взошла, теплая, ласковая…

Но почему лошади встали? Данеш хотел приподняться, прикрикнуть на лошадей, но потерял равновесие и повалился на чьи-то крепкие руки. Его поставили на ноги, придержали за плечи. Ах, вот оно что: он все-таки добрался живым. Теперь можно и умереть, но, впрочем, зачем умирать теперь-то, когда он приехал домой? Отныне ему только и жить…

Его потрясли за плечо.

— Данеш, очнись! Где Кайрак? Слышь? Ты слышишь: где Кайрак?

Это голос заведующего фермой. Он пришел утром и сказал… Что он сказал утром? А сейчас он интересуется, где Кайрак. Разве Кайрак был с ним?

— Молодец, столько сена привез! — произнес чей-то знакомый и незнакомый голос.

— Будь проклят тот час, когда я послал их за сеном! — выругался заведующий.

Затем Данеш смутно ощутил, что его втащили в дом и принялись раздевать. Вначале отняли шапку, а он-то забыл про нее с тех пор, как повесил через руку. Потом стащили рубаху. Тепло вонзилось в него тысячей игл, прожгло суставы. Он не выдержал и застонал.

— Потерпи, милый, потерпи, — услышал он ласковый женский голос.

Может, это была она, к кому он так рвался в последнюю минуту?..

И тут у него закружилась голова.

* * *

После густого снега, после того, как буйный буран вволю погулял по степи, настала ясная погода. Но над степью еще царила злобная стужа, ее цепкая ледяная рука держала в тревоге все живое. Ох и неумолима ты, стужа!..

Мороз лепил на окне узор за узором. Не окно, а цветочная клумба. Только все цветы были одинаково серебристыми.

Когда не встаешь с постели и делать особенно нечего, ювелирная работа мороза вызывает даже интерес. Вот вырос один цветок, а потом у него появились новые лепестки, и уже на его месте цветок другой, диковинней прежнего. За окном мороз не страшен. Пусть рисует сколько угодно.

Так рассуждает сознание. Сознание человека отходчиво.

Но тело Данеша помнит до сих пор, что такое стужа, и когда мороз пишет свои узоры, оно переживает все заново: и бесконечную дорогу, и ледяные тиски, охватившие голову, и печаль, и безнадежность.

Голова Данеша перебинтована, видны только поблескивающие от жара глаза. А бинты белы-белы, точно снег, точно изморозь. Даже хрустят от крахмала, как наст.

Он редко остается один. Его то и дело навещают люди. Двоюродные братья сидит у постели часами, пытаются узнать, что произошло между ним и Кайраком. И когда они уходят, в их глазах горит жажда мести. Их сменяют другие, они участливо интересуются его самочувствием. А третьи, поболтав для маскировки о том о сем, заводят речь о его примирении с Кайраком.

Вот и сейчас это делает заведующий фермой. Он у постели Данеша уже во второй раз, хотя и в летах, и занимает на ферме высокое положение. Он сидит на табурете, сгорбившись, трогает седой короткий ус и говорит:

— Кайрак не уходит со двора. Замерз, сукин сын, а не уходит. Хочу, сказывает, упасть в ноги и попросить прощения. Плачет, бедняга. Хотя шут с ним-то с самим. Может, он и недостоин прощения. Может, ему только и место что за решеткой. Но семья у него, понимаешь, семья.

Он рассуждает долго, и так, и эдак, приводит всякие доводы. Хотя все это и ни к чему. Только у Данеша не хватает сил высказать то, что он думает. Он произносит лишь одно:

— Пусть идет домой. Пусть не боится. Я же говорил: между нами ничего не было…

* * *

В один из весенних дней, когда степь освободилась от снега, и стужа вспоминалась, как нечто давнее из чужого сна, в такой теплый день Кайрак искал свою заблудшую корову. Он объехал все подозрительные места, густо поросшие сочной весенней травой, и поиски случайно привели его на кладбище. Здесь у самой дороги горбилась невысокая, еще свежая могила. Земля была сырой и нагревшейся, и оттого над могилой струился пар.

— Это ты? — пробормотал Кайрак, придерживая коня.

Его недавний противник болел долго и умер перед самой весной, унеся с собой их тайну. Никто так и не узнал о том, что произошло между ними там, у злополучного стога. Молча хворал и молча умер.

А расскажи он, как все случилось, не миновать ему, Кайраку, беды. Того и гляди, угодил бы за решетку. И уж без чего бы не обошлось, так это без мести родичей Данеша. А там бы пошло, пошло — на веки вечные вражда между потомками Данеша и его, Кайрака. Разве не утешение для умирающего знать, уходя из этого мира, что все-таки вознес он над головой врага свой карающий меч? Другой бы так и поступил на месте Данеша. Но тот промолчал. «Почему он это сделал?» — частенько думал Кайрак, ломая голову над загадкой. И в который раз отступал, не в силах решить задачу, что задал ему перед смертью Данеш…

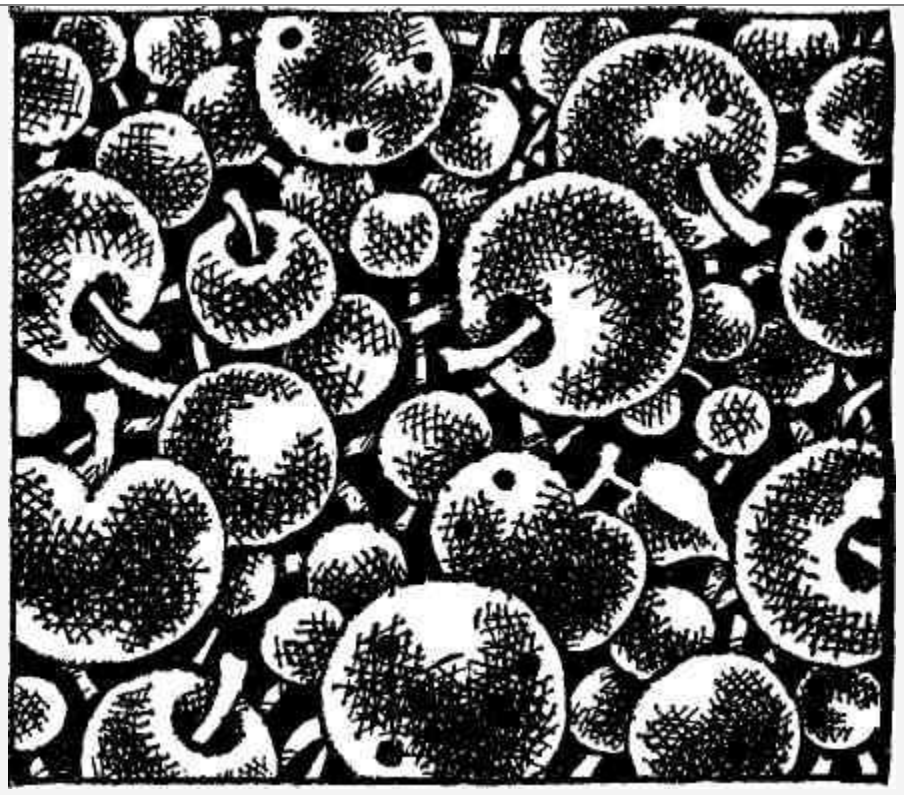
У этой могилы он плакал в день похорон, рыдал всех безутешнее. Упал на могилу и звал Данеша, а старики качали головой и говорили:

«Что ж, вместе росли, играли, теперь нелегко расстаться. А мы-то считали их недругами». И растроганно вытирали слезы. Откуда им было знать, что он рыдал совсем по иной причине? Он боялся одного: а вдруг кто-нибудь знает правду, и плакал навзрыд, стараясь показать, будто его горю нет предела.

Сейчас он вспомнил об этом, и ему стало совестно перед самим собой за свою неискренность, так стыдно, хоть впору провалиться сквозь землю. Кайрак потрогал щеки. Они горели от стыда, они были горячи, словно свежее клеймо. Кайрак поднял плеть и ударил коня. Конь, тянувшийся в это время длинными губами к траве, шарахнулся в сторону.

Обогнув могилу Данеша, Кайрак выехал на дорогу. На душе у него было неспокойно. Он понял, что Данеш все-таки победил.

ДИКАЯ ЯБЛОНЯ
Повесть



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Склоны гор в наших местах сплошь заросли дикими яблонями. Они и сейчас стоят от подножия до альпийских лугов, эти не совсем обычные леса. Их плоды кислы и невзрачны, и разве что крайне неосведомленный горожанин вдруг позарится да надкусит дичок, а затем будет долго плеваться да проклинать злые шутки природы. Но в годы войны мы, голодная ребятня, целыми днями бродили по этим лесам, подбирали дички, что казались на вид получше. Бывало, вопьешься в яблоко зубами, и оно, белое, твердое, хрустит точно лед, холодит язык и нёбо. Откусишь от него раз-другой, и рот начинает ныть от оскомины, а зубы нельзя свести, до того становится больно. И все нее, переведя дух, мы снова принимались за дички, стараясь обмануть пустые, подтянутые от голода желудки. А набив кое-как животы, валились тут же на траву и постанывали не столько от пресыщенности, сколько от боли. Над нами веял ветерок, благоухали шиповник и смородина. Но сильнее их был аромат диких яблок. Они покачивались, густо облепив ветви, готовые переломиться от их тяжести, радовали нас своим изобилием. И мы, поднявшись, снова принимаемся за яблоки. Они белы, белы наши зубы, и в лесу только и слышно: хруст-хруст…

В аул мы возвращались вечером, когда пастухи пригоняли с пастбищ скотину. За нашими спинами висели переметные сумы — коржуны и торбы, полные яблок.

На окраине аула нас встречала одинокая и тоже дикая яблоня. Но ее яблоки были крупнее лесных и не такие кислые. Они дразняще покачивались на ветвях, а самые спелые, упавшие, манили с земли, поблескивая литыми боками, но мы обходили дерево стороной, старались держаться от него подальше. Потому что в норе, между его корнями, обитало страшное и загадочное существо — бездомная черная сука Караканшык со своими щенятами. Из норы доносилось щенячье повизгивание, а стоило, забывшись, подойти к дереву чуть ближе, из-под корней тотчас раздавалось рычание Караканшык, глухое и страшное, точно подземный гром.

Из рассказов взрослых мы знали, что до войны у Караканшык были и дом, и хозяин по имени Басен, а сама она считалась лучшей охотничьей собакой в округе. Но потом Басен ушел на фронт, а жена его Жайдар, чтобы не оставаться одной, собралась к родителям, жившим в соседнем районе. Жайдар хотела взять с собой и Караканшык, но та, видно, твердо решила дожидаться Басена в его родном ауле, и сбежала со двора. Уж как Жайдар ни уговаривала ее, как ни умоляла, ходила за ней по всему аулу, собака не позволяла ей приблизиться и взять на поводок. «Кокинай-ау, — говорила собаке Жайдар, — почему ты не хочешь ехать со мной? Что я сделала тебе плохого? Когда придет наш Басен с войны, мы сразу вернемся в аул». Но Караканшык так и не поддалась на уговоры, и Жайдар уехала одна. После ее отъезда не один аульчанин пытался приручить собаку, однако Караканшык оставалась верной своему хозяину.

Она поселилась в норе под деревом, научившись питаться его кисло-сладкими яблоками, и каждое лето с отчаянным постоянством приносила по выводку пестрых беспородных и вечно скулящих щенков. Когда щенки начинали ходить, мужчины отгоняли суку от норы и, подставив вместо платы миску с бурдой, разбирали потомство по дворам, но через год из норы снова раздавались скулеж и строгое ворчание Караканшык. Так постепенно ее дети заселили почти половину дворов в нашем ауле. Однако старик Байдалы, слывший большим знатоком собак, уверял нас, будто у черной суки еще не явился на свет ее лучший щенок. Он будет, говорил старик Байдалы, той же редкой породы, что и его мать, и такой же черный как уголь. И если этот щенок попадет в умелые руки, из него выйдет охотник, быстрый как вихрь, от которого не скрыться даже самому ловкому зверю.

И мы верили ему. Черная сука и сама казалась нам сказочным существом. Бывало, валяясь в лесу, на поляне, с туго набитыми животами, мы сочиняли легенды о Караканшык. Будто мать ее рождена от барсука и охотничьей собаки и на передних лапах ее росли настоящие крылья. И каждый старался перещеголять других, сочинял что-то крайне невероятное.

Возвращаясь из леса и обходя одинокую яблоню стороной, мы окликали Караканшык: «Кокинай! Кокинай! Ка! Ка!» И она иногда

выходила наружу, задумчиво смотрела на нас, поводя носом, словно обнюхивая издалека, и потом, вильнув хвостом, скрывалась в норе.

Мы и побаивались ее, и привыкли к ней, как привыкают к участнику игр. И потому всполошились, когда она однажды вдруг пропала на целых три дня. Мы топтались под ее яблоней и хором звали: «Кокинай!» И ставшие так вдруг доступными яблоки теперь почему-то нас не привлекали. Мы смотрели на ее нору, а там было тихо.

— Наверное, она подохла, — предположил кто-то из ребят.

Но нам не хотелось верить в исход, свойственный обычным смертным, и тогда кто-то еще сказал:

— А может, она убежала на фронт, воевать вместе с Басеном?

Утром четвертого дня мы, как обычно, отправились за яблоками в лес; шедший впереди всех Садык вдруг обернулся и радостно закричал:

— Ребята, смотрите: Караканшык!

Черная сука стояла под своим деревом и жадно грызла опавшие яблоки. Ее брюхо отвисло чуть ли не до земли, шерсть на боках намокла, торчала клочьями. А лапы подламывались, еле держали большое тело Караканшык. Словом, это была жалкая тень некогда грозной собаки.

— Бедняжка! Что это с ней? — сказал Кайрат. — Такая худая!

— Я же говорил, она подыхает, — ответил Ажибек, самый старший из нас.

Караканшык повернула голову в нашу сторону и, оскалившись, зарычала, как в прежние времена.

— Подыхает! Как бы не так, — возразил мой сверстник Асет, хотя спорить с Ажибеком было опасно. — Ребята, Караканшык ощенилась! Разве вы не видите ее соски?!

— Ура! Кокинай ощенилась! Кокинай! Ка! Ка! — закричали мы разом, радуясь за Караканшык.

— Она голодная! Вон как яблоки ест, — сказал Асет.

Но уж кому-кому, а нам-то было известно, что дикие яблоки — не еда, а груз для обмана желудка.

Асет достал из торбы великую ценность — ломоть хлеба, выданного матерью на весь день, и бросил собаке. За ним бросил и я, и Спатай, и Кайрат, и другие.

— А я свой уже съел, — сказал Ажибек. — Я старше вас на целых три года, и мне надо есть больше, чем вам, — и заранее показал кулак тем, кто мог не поверить.

Караканшык вцепилась в хлеб, утробно заурчала, глаза ее налились кровью. А мы присели на корточки, прислушались. И вскоре из норы донеслось жалобное повизгивание щенят.

Этот день стал для нас особенным, радостным. А в наше военное детство не так-то много было праздничных дней. Собирая дички на склонах гор, мы только и говорили о Караканшык, вспоминали ее историю, все были и небылицы.

— Ребята, а мне кажется, что тот щенок, ну, помните, про которого говорил старик Байдалы, сейчас и родился, — сказал Асет. — Неспроста она не появлялась так долго. Три дня лежала в норе!

— Если так, я возьму его себе, — выпалил Кайрат первым.

— Нет, он будет мой, — возразил Спатай.

— Щенок этот маленький, худенький. За ним смотри и смотри. А ты известный лентяй. Если уж кто и сможет вырастить из него настоящую охотничью собаку — так это я! — вмешался Садык.

— Этот щенок маленький, худенький? — возмутился Асет, заступаясь за воображаемого щенка.

— Так сказал старик Байдалы. Да ты и сам посуди, разве он сможет бегать быстрее ветра, если будет большим и тяжелым.

Мы заспорили, каждый почему-то считал, что именно он имеет право на черного щенка. И только Ажибек, самый сильный из нас, молчал и многозначительно усмехался, а потом спокойно сказал:

— Ну, чей будет щенок, это мы посмотрим.

И все обескураженно умолкли, всем стало ясно, чьим станет щенок.

Вечер наступил незаметно. Спохватившись, мы взвалили набитые коржуны и торбы на спины, заспешили вниз и, подходя к одинокой яблоне, услышали рассерженный женский голос и громкий детский плач.

— Да это же мама и Тоштан, — проговорил Спатай, навострив уши.

Мы бегом взобрались на холм, на котором стояла одинокая яблоня. И точно: Бубитай, мать Спатая, с палкой в руке гонялась за своей племянницей Тоштан вокруг дерева, у самой норы Караканшык,

а чуть поодаль валялась лопата. Мы сразу подумали о Караканшык, как она отнесется к нарушителям ее покоя. Но собаки не было видно.

— Бездельница! За что я тебя кормлю? Возьми сейчас же лопату и делай, что я говорю! — кричала Бубитай.

— Тетечка, тетя! Я сделаю все, что хотите, только не это. Я не могу сделать это, тетечка, дорогая! Мне жалко их, тетя! Они такие крошечные, — причитала Тоштан.

Тоштан старше нас года на полтора. Когда на фронте погиб ее отец, а мать умерла от неизлечимой болезни, тетка Бубитай взяла ее к себе. И с тех пор, казалось, девочка все свободное после уроков время только и занималась тем, что стирала, носила воду да колола дрова. Бубитай не любила кормить даром.

— Ах, тебе их жалко, негодница ты этакая! А молоко и хлеб, которые эта тварь съела по твоей же вине, не жалко?! — совсем разъярилась Бубитай и, изловчившись, стегнула девочку хворостиной. — Ты проглядела, ты и зароешь!

— Все равно не буду! Не стану закапывать, хоть убейте! Ой, тетя! — И Тоштан увернулась от хворостины, побежала туда, откуда мы только что пришли.

— Держите ее! Что ж вы смотрите? — закричала нам Бубитай и погналась за племянницей.

Мы, так ничего и не поняв, побросали наземь свою поклажу и побежали за ними следом. Но разве догонишь легкую, как коза, длинноногую девчонку? Тоштан юркнула в спасительные кусты шиповника, а там ее и след простыл.

Бубитай возвращалась к яблоне вместе с нами, тяжело дыша.

— Мама, а в чем провинилась Тоштан? — осторожно спросил Спатай.

— Эта дуреха оставила открытой дверь, и Караканшык выпила казан молока и съела целую булку хлеба, — пожаловалась Бубитай.

— Казан молока? Булку хлеба? — нахмурился Спатай. — Ну, попадись мне Караканшык! Я ей покажу!

— А ты помолчи! — отрезала Бубитай. — Ты сам ей отдал целый кусок хлеба. Видели добрые люди, как ты кормил Караканшык! Эта собака воровка! Люди, что же будет, если Караканшык наплодит таких же, как она, воришек? Так мы скоро все от голода перемрем. Ну, если

никто не хочет кончать с гнездом разбойницы, то это сделаю я, Бубитай!

Она схватила лопату и, яростно вонзив в землю, бросила первый ком земли в жилище Караканшык. Щенки испуганно заскулили, но это только еще сильнее ожесточило Бубитай.

— Пропади она пропадом, тут самим нечего есть! Все отдаем для фронта. Пропади она пропадом! — твердила она, зарывая нору.

Щенки вскоре затихли. Бубитай была сильной женщиной и умела обращаться с лопатой. Она забросала нору буквально в считанные минуты.

Мы растерялись, точно онемели. Только переглядывались, как бы ища друг у друга ответа. Даже наш предводитель Ажибек, который не боялся ни бога, ни черта, и тот застыл с открытым ртом.

Вот и сейчас, много лет спустя, стоит мне закрыть глаза, и я вижу, как мелькают крепкие загорелые руки Бубитай с темной кожей на локтях, слышу, как глухо звенит лопата, натыкаясь на камень.

— Ну вот и все. Кончено дело, — сказала Бубитай и, похлопав лопатой по свежему пятну, означавшему, что здесь когда-то был вход в нору, направилась в сторону аула.

Мы поплелись следом за женщиной. Но, поравнявшись с первым домом, не выдержали, оглянулись.

— Почуяла, пришла, — прошептал кто-то из ребят.

Уже наступали сиреневые сумерки, но одинокая яблоня еще ясно виднелась на фоне чистого неба. А под ней, обнюхивая землю, металась Караканшык. Вот она задрала морду к темнеющему небу и дважды пролаяла, словно призывая кого-то. Потом принялась разгребать землю там, где совсем недавно находилась ее нора. Ее движения все ускорялись и ускорялись, будто каждая лишняя секунда что-то значила для щенят. Комья земли так и летели из-под могучих лап собаки.

— Нечего вам глазеть, а ну, все по домам! — прикрикнула на нас Бубитай.

Утром, едва встав с постели, мы, не сговариваясь, сбежались к одинокой яблоне. Поначалу никто из нас не решался, страшась гнева Караканшык, подойти близко к дереву. Мы стояли в некотором отдалении и звали собаку.

— Кокинай! Кокинай! Ка! Ка!

Но Караканшык не показывалась, не было слышно и ее привычного предупредительного рычания. Тогда Ажибек не выдержал, смело двинулся к дереву, а за ним все еще с опаской потянулись и остальные ребята.

Нора была отрыта заново, вокруг нее лежала разбросанная земля. Ажибек подобрал старый сук и поводил им в норе, заставив нас шарахнуться в сторону.

— Пусто! Нет там ничего, — сообщил Ажибек. — Наверное, она их всех унесла. И где-то похоронила.

Мы облазили все окрестности аула, искали до самого вечера, но не нашли ни собаки, ни ее мертвых щенков.

С тех пор Караканшык словно провалилась сквозь землю. Никто не видел ее, не слышал о ней.

Мы погоревали о знаменитой собаке, о черном щенке, — теперь мы были твердо уверены, что он родился в этом выводке, — а потом постепенно память о ней померкла. Слишком много событий произошло в то военное время в нашем ауле.

Отныне холм, на котором стояла одинокая яблоня, стал нашим излюбленным местом. Здесь мы с утра до вечера играли в альчики, расширили нору, устроили подобие землянки, застелив ее соломой, воображали, будто она наш дом. А когда поспели яблоки, налились желтым светом, собирали их и ели без всяких помех. Ах, что это были за яблоки, неровня тем дичкам, что росли на горных склонах, — мягкие, сладкие. Сколько ни съешь, и все никакой тебе на зубах оскомины! Наевшись до отвала, мы набирали яблок и сушили, нарезав, нанизав их на нитку. Под деревом в эти дни так и кипело. А потом закончился волшебный пир, — плоды остались только на самой макушке. Они висели там, дразнили нас, румянясь на солнце. Добираться к ним было опасно — и высоко, и ветки тонки. Бывало, потрясешь за нижние ветви, а они покачают тебе головой и еще крепче сидят, словно над тобой смеются. И мы лишь глотали слюни, глядя на них, и восклицали «ширкин-ой!», выражая сожаление. Как та лиса, которая не могла сорвать кисть винограда.

И все же Спатай решил достать эти уж очень соблазнительные яблоки и, не слушая нас, полез на верхушку дерева. Поначалу ему везло, ветви сгибались под ним, скрипели, но он благополучно взбирался все выше и выше. Вот уже яблоки оказались над самой его

головой. Спатай издал победный клич, протянул к яблокам руку, и в этот момент обломился сук под его ногами. Это произошло так неожиданно и стремительно, что Спатай не успел даже крикнуть. Придя в себя, мы подбежали к нему, а он уже не дышал, лежал какой-то сплющенный и мягкий, словно тряпичная кукла.

Мы испуганно закричали, но Ажибек цыкнул на нас и послал Кайрата в аул, за матерью Спатая. Тот вернулся с рыдающей Бубитай, за ней, причитая, бежали другие женщины. Бубитай подняла тело сына и бережно унесла домой.

На другой день старик Байдалы сказал нам тайком, что дерево отомстило Бубитай за горе Караканшык. Слух об этом прополз по всему аулу, и наши мамы строго-настрого запретили нам даже подходить к одинокой яблоне. Повторяться им не приходилось: мы были сами потрясены смертью Спатая и, как в недавнее время, снова обходили дерево стороной.

А потом наступила зима.

Темными зимними вечерами, сидя у домашнего очага, мы слушали рассказы взрослых о прошлом своего аула. По их словам, когда-то семьи наших предков были разобщены, точно зерна рассыпанного проса, каждая семья кочевала сама по себе по ущелью Джунгара, и до других ей не было дела. Но в конце двадцатых годов, вняв совету мудрых людей, наши деды собрались воедино — осели на одном месте и создали колхоз.

В рассказах взрослых правда переплеталась с легендами. И нам в свои годы очень трудно было разобраться, где выдумка, а где быль. Мы охотно верили самым невероятным сказкам, но не могли представить, что еще лет за пятнадцать до нашего появления на свет не было колхоза, а скот принадлежал одному человеку. Как он мог в одиночку пасти столько овец, если в ауле еще не было колхозников, говорили мы друг дружке, нет, это взрослые сочиняют. Да если бы так и оказалось на самом деле, самые сильные джигиты уже в первый день пошли к этому человеку, забрали скот и поделили между жителями аула. Ведь если верить тем же взрослым, в ту пору многим людям совершенно нечего было есть и не во что было одеться. «Как же эти бедняги сумели дожить до колхоза, — спрашивали мы, — и не умерли сразу от голода?» — «Вам еще трудно понять, вот подрастете и тогда разберетесь, что к чему», — улыбаясь, отвечали взрослые.

Места, где мы живем, издавна славились яблоневыми лесами, и потому-то, что тут видимо-невидимо диких яблонь, наш аул так и называют Яблоневым. А до того как здесь осели наши прадеды и деды, в лесах пиршествовали медведи, большие любители дичков. Самые древние старики и сейчас называют эти яблони медвежьими. А в ту пору, говорила моя бабушка, тот, кому хотелось полакомиться лесными плодами, приезжал в лес на коне и рвал яблоки, не слезая с седла. И когда появлялся косолапый хозяин, охотник до дичков, не мешкая, трогал коня и уносился с тем, что успевал набрать. Медведь же бросал вслед воришке тяжелые камни, ревел, негодуя. На его крик сбегались медведи со всей округи и тоже возмущенно кричали: «Это безобразие! Да какое имеют люди право рвать наши яблоки?! Ну, погодите, мы вас накажем!» И склоны гор дрожали от их ужасного топота, пугая людей. У меня тоже уходила в пятки душа, когда бабушка рассказывала эту историю.

Но к нашим временам все медведи исчезли. Одних перебили, другие сами ушли в далекие тихие места. А после них под одинокой яблоней осталась эта большая берлога, в которой, по словам бабушки, жил сам медвежий царь. Старую яблоню, могучую, в два обхвата, еще долго считали заколдованной. Проезжая мимо нее, путник старался задобрить дух царя медведей, привязывал к ветвям красную ленту или вешал монету. И сообразительный дух понимал, что от него хотят, и никого не трогал.

— Вот и вы проходите под яблоней, не поленитесь лишний раз, повесьте на ветку ленточку, — советовала бабушка, когда мы, ребята, уходили гулять.

— Неужели, бабушка, ты веришь в это? Обычное дерево, разве что старое, и вообще на свете нет никакого колдовства, — возражала ей моя старшая сестра Назира.

— А бедный мальчик Спатай? А собака Караканшык? — напоминала бабушка.

— Тоже обычное животное. В истории было немало собак, очень преданных человеку. А что касается Спатая, то он погиб из-за собственной глупости, — возражала сестра Назира.

— Если ты еще будешь кощунствовать, у тебя отсохнет язык! — угрожала бабушка, не зная, что еще сказать.

Она была очень набожным человеком. С утра до вечера только и слышишь: «Аллах, будь милостив, сделай то», «Аллах, будь великодушен, сделай это». Намаз совершает по пять раз в день, но никогда не просит благ от аллаха лично для себя. Так и бормочет в конце молитвы: «О создатель, будь опорой и тем, кто там, и тем, кто здесь». То есть, просит блага для тех, кто умер, и для тех, кто еще жив. Мне и моим младшим братьям и совсем маленькой сестренке любопытно, мы подглядываем за ней, толкая друг друга локтями. Заметив нас, бабушка говорит: «Ах вы, сорванцы! А ну-ка раскройте ладони да, вместо того чтобы таращить глаза да потешаться над старухой, просите бога, пусть он побережет вашего отца».

Нам очень хотелось, чтобы скорее закончилась война и наш отец вернулся живой и невредимый. И мы, послушно раскрыв перед невидимым и совсем неясным созданием — богом ладони, повторяли за бабушкой слова: «О аллах, будь милостив, сохрани живым нашего отца». Наверное, наш вид, преисполненный смирения и усердия, был очень смешон. Назира, хлопотавшая дома по хозяйству, не выдерживала и, звонко расхохотавшись, выскакивала на улицу.

— Ох и безбожница! Накликаешь на себя беду! — возмущалась ей вдогонку бабушка.

Такие столкновения между бабушкой и Назирой случались почти каждый день. Старшая сестра подтрунивала над религиозной и суеверной бабушкой, а та сердилась, грозила ей всяческими карами за насмешки над богом.

Назира считалась в нашей семье ученым человеком. Перед войной она училась в районном центре и успела закончить семь классов. Когда же отец уехал на фронт и мама осталась с четырьмя малыми детьми и старой бабушкой на руках, Назира бросила школу, вернулась в аул, чтобы помочь ей прокормить большую семью. Поначалу ей было трудно работать в колхозе наравне со взрослыми. Я помню, как она приходила, еле держась от усталости на ногах, маленькая, худенькая, совсем еще девочка. Но с тех пор минуло четыре года. Назира повзрослела, стала крепкой, сноровистой девушкой.

Соседские старики и старухи говорили, глядя, как она, вернувшись с поля, ловко, не зная устали, хозяйничает дома:

— Ах, ширкин, если бы все девушки были такими, как Назира. С ней, наверное, и не чувствуешь, что в доме нет мужчины. Руки у нее

так и летают.

Суеверная бабушка тотчас вмешивалась в разговор:

— Что вы делаете, люди? Так ведь и недолго сглазить человека, накликать на бедную внучку болезнь или еще какие напасти. А ну-ка, сейчас же скажите «тьфу, тьфу», — требовала она от смущенных соседей.

И те послушно плевали через плечо и говорили «тьфу». А бабушка, стараясь понадежнее уберечь Назиру от чужого глаза, заходила в дом и снова появлялась с пальцем, намазанным сажей.

— Назира, а ну-ка иди сюда, — звала она старшую внучку.

— Бабушка, что случилось? — отзывалась сестра, занимаясь стиркой или другой домашней работой.

— Подойди ко мне, моя радость.

Назира шла к бабушке, вытирая о фартук мокрые руки.

— Я слушаю, бабушка.

— А ты нагнись ко мне поближе. Я что-то скажу тебе на ушко.

Сестра Назира наклонялась над бабушкой, и та проводила сажей по ее виску.

— Все, теперь ступай, — говорила, успокоившись, бабушка.

— Ну вот, ты опять за свое, только зря оторвала от дела. Сколько раз можно тебе говорить? Никто, никто не сглазит меня! Ни языком, ни глазами!

— Иди, иди. Не говори лишнего, — снова беспокоилась бабушка.

И вот еще что, наверное, навсегда осталось в моей памяти от той поры: усталость матери и старшей сестры, когда они весной возвращались с работы. Машин тогда не хватало, и женщины с рассвета дотемна ходили за плугом. Весенний холодный ветер сушил и чернил их лица, обдавал пылью с ног до головы. У мамы еще ко всему невыносимо болела поясница. Видимо, потому она приходила домой какой-то неласковой, каменной, с нахмуренными бровями. Мы, соскучившись за день, бросались ей навстречу, а она молча отстраняла нас, проходила в дом и, развязав шерстяной пояс, которым туго перевязывала поясницу, садилась к печке спиной и сидела до тех пор, пока ноющая боль на время не оставляла ее. Мы ловили ее взгляд, надеясь найти в нем привычную нежность, но глаза мамы были печальны, в эти минуты она уносилась куда-то далеко. Наверное, туда, где находился отец. Успокоив боль, мама придвигала к себе шумно

кипящий чайник и пила чай — кипяток с солью. На лбу ее мелкими каплями выступал пот.

Постелив постели, мать и сестра Назира брались за ручные жернова и мололи зерно для завтрашнего хлеба. Нам, малышам, почему-то становилось тревожно. Мы, словно цыплята к клушке, жались к бабушке, просили что-нибудь рассказать. Стараясь нас успокоить, бабушка заводила длинную-предлинную сказку.

В комнате было неуютно и сумрачно. Фитиль керосиновой лампы горел тусклым зыбким пламенем. Его свет не доставал во все углы. На стенах, пугая нас, колыхались тени. «Бабушка, ну, бабушка, повернись ко мне», «Нет, ко мне, ко мне!» — дергали мы то и дело бабушку.

А у мамы и сестры Назиры текла своя взрослая беседа. Под мерный шорох жерновов они обсуждали колхозные дела, говорили о последних вестях с фронта.

Бабушка краем уха прислушивалась к ним и временами, прервав сказку, как нам казалось, на самом интересном месте, озабоченно спрашивала у матери:

— Ну, как сев? Закончили везде?

— Почти что. Вот завтра спустимся в Малый Акбел и на этом закончим, — отвечала мать, повысив голос.

— Поторопитесь! Как бы не пересохла земля, — предупреждала бабушка.

— Людей не хватает, мама. Где их возьмешь?

— О аллах, наш единственный создатель, помоги им! — взывала бабушка к потолку комнаты, ушедшему куда-то высоко в темноту.

Темнота нам казалась глубокой, бескрайней. И невидимый, загадочный бог, к которому обращалась она, мог там проживать и в самом деле.

— А что собираетесь сеять на Малом Акбеле? — спрашивала бабушка, переходя на будничный тон.

— Просо.

— Правильно решили, — соглашалась бабушка. — На том месте просо принимается хорошо. Помню, как-то бедняк Жапиш засеял Малый Акбел одним мешком проса. Да и больше взять ему было негде. А собрал двадцать, а может, и все тридцать мешков. То-то радости было.

Удовлетворив на короткий срок свое любопытство, бабушка продолжала сказку. А потом снова начинала сбиваться и в конце концов умолкала, слушая, что говорят мать и сестра Назира.

— Бабушка, а что было потом? — хныкали мы, дергая за рукав. — Бабушка, продолжай.

— Да подождите, дайте и мне послушать, — отбивалась она.

Мама и сестра Назира, видя, что бабушке тоже интересен их разговор, беседовали громче.

— Я видела в конторе вчерашнюю газету, — рассказывала сестра Назира. — Наши войска освободили еще два города на Украине. Уничтожили много вражеских солдат и техники. Кровопролитные были бои.

— Какие, ты говоришь? — тревожно переспрашивала бабушка.

— Кровопролитные. Наверное, и наших тоже много полегло.

— Всемогущий, помоги им, защити!.. А твой отец тоже там?

— Отец где-то на Северном фронте.

— Пусть держится подальше, где меньше стреляют. Так и напиши, — это указание относилось к матери.

— Ну что ты, мама, мой муж не трус. Он настоящий джигит. Как же я ему напишу? — растерянно возражала мать.

— Да, мой сын — настоящий мужчина, — с гордостью подтверждала бабушка.

В один из таких поздних вечеров бабушкину сказку прервал донесшийся с улицы душераздирающий женский крик. И тотчас, казалось, поднялся, зашумел весь аул.

— Господи! Назира, милая, а ну-ка узнай, что случилось? Никак у кого-то беда. Еще в чей-то дом пришла черная бумага, — так бабушка называла печальной памяти похоронки, приходящие с фронта.

Сестра Назира выскочила на улицу, даже не набросив платок.

— Я недавно заходила в сельсовет. Вроде сегодня не было почты, — сказала мать, поспешно собирая в чашку намолотую муку.

Минут через пять в комнату влетела запыхавшаяся сестра Назира. Глаза ее были широко открыты от ужаса. Сестра долго не могла собраться со словами, перевести дух и, наконец, выпалила:

— Сошла с ума Бубитай!

— Ты понимаешь, что говоришь? — накинулись на нее бабушка и мать.

— Но это правда. Соседи говорят, как только вечером пригнал пастух стадо, она подоила корову, вылила в корыто молоко и вынесла на крыльцо. Села рядом и смотрит на молоко. Ее спрашивают: «Что ты делаешь, Бубитай?» А она: «Разве не видите? Молоко кипячу. Для Спатая». А потом в слезы и ну царапать себе лицо.

— Помилуй, аллах! — воскликнула бабушка и, сложив на груди руки, пробормотала молитву. — Бедная женщина, — вздохнула она, закончив молиться. — Потерять мужа на фронте. Потом сына. И теперь вот сама… Видно, никак не успокоится Караканшык. Ох, на кого еще падет ее проклятье?

С тех пор Бубитай целыми днями сидела на пороге своего дома, жалобно пела, плакала и громко звала мужа и сына. Горе высушило ее, цветущая сильная женщина стала похожа на черную страшную старуху.

Этой же весной я начал тайно следить за своей старшей сестрой. Куда бы ни отправилась сестра Назира, я тут же за ней. Она шла по воду к роднику, а я крался чуть поодаль кустами шиповника. Она уже затемно выбегала к соседям попросить молока или какую-нибудь посуду, и я выбирался следом за нею, подсматривал из-за угла, вовсю напрягая глаза. Мои попытки оставаться незаметным вскоре были разоблачены. На третий день она, выйдя на улицу, схитрила, быстренько обогнула наш дом и в тот самый момент, когда я усиленно всматривался из-за угла в темноту, подошла ко мне сзади и неожиданно схватила за ухо.

— Ну что ты подглядываешь за мной? И ходишь, и ходишь? — спросила сестра Назира, отпустив мое ухо.

Я промолчал, думая только об одном: как бы проскользнуть у нее под рукой и пробраться в дом. Уж там-то она меня не тронет.

— А может, тебя подсылают бабушка и мать? — продолжала сестра Назира, и в голосе ее послышалась тревога.

— Никто меня не подсылал! — крикнул я и, проскочив мимо нее, бросился в дом.

А на другое утро я снова упрямо крался за сестрой Назирой. И бабушка, и мать и в самом деле были ни при чем. Виновником этих бдений явился молодой джигит Токтар, сын того самого старика Шымырбая, который в своей лощине выращивал самые вкусные на

свете дыни. Я боялся, что этот красивый светлолицый парень заберет у нас сестру Назиру.

Взрослые еще называли Токтара мальчишкой. Но нам-то, ребятам, он уже казался рослым и могучим джигитом. И мы заметили то, что укрылось от взрослых, — тонкий темный пушок над губой Токтара. Для нас это были самые настоящие усы — украшение истинного мужчины. Когда я впервые увидел его и мою сестру Назиру вместе, то не придал этому никакого значения. Помнится, на третий, четвертый раз их совместные прогулки меня удивили. Зачем Токтару Назира? Хоть она и моя сестра, но все-таки девчонка всегда остается девчонкой. И если уж такому парню, как Токтар, с кем водить дружбу, так это с настоящими джигитами.

— Видел жениха и невесту? — сказал мне, смеясь, Ажибек. — Скоро уведет Токтар твою сестру. Прощайся!

И с того дня я стал тенью сестры Назиры и Токтара. Встретившись, они начинали кружить, чтобы избавиться от моей слежки, уходили в яблоневый лес. Отделавшись, как им думалось, от меня, стояли под каким-нибудь деревом часами, смеялись без конца и говорили, говорили, жадно глядя друг другу в рот, как будто ожидая чего-то необычайного. А я в это время изнывал от скуки чуть поодаль, в колючих кустах, и гадал, почему они так жадно слушают друг друга? Но о чем еще может рассказывать сестра, как не о домашнем хозяйстве? То есть о том, что совершенно чуждо настоящему джигиту. И что она, в свою очередь, находила в словах Токтара? Как смелый и ловкий парень, он, конечно, рассказывал о горячих, строптивых конях, о метких выстрелах на охоте. Неужели сестру Назиру могли увлечь такие разговоры?

Как-то я решил это проверить и сказал сестре, по-свойски подмигивая:

— Как тебе новый жеребец у председателя? Огонь! Правда?

— Вот уж что никогда меня не интересовало. Поди лучше поговори об этом со своими друзьями-мальчишками, — рассеянно ответила сестра Назира.

«А почему-то со мной о лошадях говорить не желает», — подумал я с обидой и воспылал еще большей неприязнью к Токтару.

Как я потом узнал, они скрывали встречи от нашей семьи. Дома у нас Токтар первое время даже не появлялся. Но однажды он все-таки

не выдержал и, проходя мимо нашего дома, заговорил с бабушкой, когда она грелась на солнце.

— Здравствуйте, бабушка! Как ваше здоровье? — почтительно сказал Токтар.

Лучшего нельзя было придумать, чтобы завоевать расположение бабушки. Ей очень правились молодые люди, почитавшие старших.

— Спасибо аллаху, он милостью меня не оставил. Еще могу быть своим птенчикам полезной. А ты, сынок, чей будешь? — дружелюбно спросила бабушка.

— Я Токтар, бабушка.

— Ты Токтар, сын Шымырбая?

— Да, бабушка.

— Милый мой, дай тебе бог побольше счастья, — сказала бабушка, очень довольная тем, как держится этот молодой человек.

— А как самочувствие вашего сына? Пишет ли он с фронта? — спросил Токтар и тем самым окончательно покорил ее сердце.

— Пишет, милый мой, пишет. Мы получаем письма. Назираш! Деточка, угости молодого человека айраном! — крикнула бабушка, повернувшись к дому.

— Спасибо, бабушка. Зачем беспокоите себя? Я лучше пойду, — смутился Токтар.

— Нет, свет мой, нельзя отказываться от нашего угощения. Я предлагаю его от всей души.

— Спасибо, бабушка. Я с удовольствием выпью, — еще более смутился Токтар.

А сестра Назира, будто только и ждала за дверью, вынесла деревянную миску — тостаган, полную прохладного айрана. В этот день она отпросилась пораньше с работы, убиралась дома, стирала белье.

Токтар пил не спеша, маленькими глотками, показывая, как высоко оценивает этот замечательный айран, и вел с бабушкой беседу.

Я не сводил глаз с молодого джигита и своей старшей сестры. Мне было интересно, как они поведут себя дальше, выдадут ли себя, проговорятся. У меня даже устали глаза, так я старался не упустить ни одного взгляда, ни одного движения с их стороны. Но хитрецы держались, как ни в чем не бывало. Будто встретились впервые. Даже не посмотрели друг на друга. Ну и ну!

— Милый мой, а тебя еще не призывают в армию? — спросила бабушка Токтара.

— Зимой вызывали в военкомат, и я обрадовался: наконец-то пойду воевать. Но оказалось, мой возраст еще не подошел. Ошиблись, видно, спутали с кем-то. Но летом уж точно призовут. Я очень надеюсь, — ответил молодой человек.

— Господи, что же это делается?! Только подросли дети, совсем как молодые деревца, и тут же враг хочет их срубить топором! Проклятая война! Уу, чтобы ты сгинул, пашис!

Так бабушка произносила чуждое слово «фашист».

— А ну, Назираш, принеси еще айрана Токтару!

Джигит протянул сестре опустевший тостаган и шепнул почти беззвучно:

— Спасибо, Назира!

Их руки задержались на чашке. Сестра Назира улыбнулась одними глазами, незаметно кивнула. «Ну и хитрецы, ну и ловкачи!» — подумал я.

А ничего не подозревающая бабушка продолжала ругать «проклятую войну, проклятого пашиса, чтобы он сгинул», вспоминала сына — нашего отца, посетовала «как там ему, бедняжке, на фронте», и даже всплакнула немножко.

Вечером, за чаем, когда мама вернулась с поля, бабушка вдруг ни с того ни с сего сказала:

— Только подумать, у сына Шымырбая уже под носом усы! Совсем взрослый мужчина!

— А что? Недавно его видели? — удивилась мать.

— Да сегодня сижу на пороге, вяжу носки и вдруг слышу: кто-то здоровается со мной. Смотрю, стоит молодой человек. Оказывается, Токтар, сын Шымырбая. Такой воспитанный юноша. «Пишет ли с фронта ваш сын?» — говорит.

— А что ему было нужно? Зачем он приходил? — нахмурилась мать и посмотрела на сестру Назиру.

Моя старшая сестренка покраснела до корней волос, опустила глаза. Я думал, сейчас признается, что дружит с Токтаром. Но куда там, только передернула плечами и бросила небрежно:

— Откуда я знаю. У бабушки спроси: она с ним целый час болтала.

— Да просто парень мимо шел, спросил меня про здоровье. Ну, мы и разговорились, — пояснила бабушка, простодушно не замечая маминого беспокойства. — Вот я и говорю: вырос, как молодой тополек. Высокий, красивый! Да жаль, в армию летом пойдет.

— Да что вы, мама! Далеко ему до армии еще, — возразила мать. — Два года почти. Токтар — ровесник нашей Назиры. Ну, может, старше, — она посчитала на пальцах, — месяца на три. Ну да, Назира осенью родилась, а он в середине лета.

— Это ты говоришь, ждать два года. А сам он сказал, что зимой его уже вызывали. А летом уж точно возьмут. Верно я говорю, Назира? Ведь ты слышала, как он сам сказал, — заупрямилась бабушка.

— Слышала, — кивнула сестра. — Он два года себе прибавил. Хотел пораньше вступить в комсомол.

— Ну если так, конечно, жаль. Хороший мальчик, — согласилась мать.

— А какой большой, — обрадовалась бабушка, — прямо батыр!

Вот так бабушка, по-моему, первой из взрослых, заметила, что у Токтара выросли усы и что он уже не мальчик, а муж. И еще справедливости ради нужно добавить, что у него был добрый и веселый нрав, и в ауле Токтара любили за это. И может быть, я тоже его любил бы вместе со всеми, если бы он не собирался забрать мою сестренку Назиру. А сын Шымырбая, казалось, с утра до вечера кружил над ней, как беркут над ягненком.

Вот и на днях сестра Назира пошла по воду к роднику, и я, конечно, за ней по пятам, колючими кустами шиповника, и тут же у родника появился Токтар. Прискакал верхом, будто хотел напоить своего рыжего коня. Да только он сразу себя и выдал. Выпрыгнул из седла и тотчас про коня забыл, принялся болтать с сострой Назирой. И болтали они с такой скоростью, словно бежали наперегонки, так что у них не успевали смыкаться губы. Я даже забыл про колючки шиповника, которые точно иглы впивались в мои голые руки и ноги, пронзали сквозь рубаху и штаны. Мне очень хотелось узнать, о чем же они все-таки говорят, и стал я подбираться к ним поближе.

И оказалось, говорили они о скучных вещах. О том времени, когда вместе учились в школе. За какой партой сидели и что делали на уроках. И так увлеклись этой ерундой, что забыли, что стоят на виду у всего аула. Мне стало обидно за себя. «И что интересного они в этом

нашли? Что смешного?» — подумал я, чуть не плача. Как будто меня обманули.

Я нашел в кустах камень и бросил в своих обидчиков. Камень упал рядом с ними, чуть ли не под ноги. Токтар и сестра Назира вздрогнули, словно очнулись от сна, посмотрели по сторонам, даже на небо взглянули. Наконец сестра Назира пришла в себя, повернулась к кустам шиповника и сердито крикнула:

— Какая ты заноза, Канат! Если ты не перестанешь ходить за мной, я оборву тебе уши.

А Канат — это я. Я затаился в кустах, зная, что у старшей сестры слова не расходятся с делом.

Токтар что-то пробормотал, поспешно вскочил на коня и поскакал в степь, ударяя рыжего пятками по бокам. Сестра Назира вспомнила про ведра с водой, подняла их на коромысле и, сделав шаг, другой, снова повернулась в мою сторону.

— Канат, хватит тебе прятаться. Пойдем лучше домой.

Я промолчал, боясь шелохнуться.

— Ну, погоди у меня, — пригрозила сестра Назира и, поправив на плечах коромысло, зашагала в аул.

«Пусть только попробует тронуть, — успокоил я себя. — Вот скажу маме и бабушке про Токтара, тогда еще посмотрим, кому достанется больше».

Я выбрался из своего укрытия, побежал к ребятам и до вечера гонял с ними мяч. Когда стемнело, так что не было видно не только мяча, но и собственных ног, мы, тихие, уставшие, побрели по домам. Возле коровника, мимо которого лежала дорога к нашему дому, я увидел два черных силуэта — женский и мужской. Вот мужчина протянул руку и положил ее на плечо женщины. До меня долетел приглушенный голос сестры Назиры:

— Не надо, Токтар, если ты меня поцелуешь, я умру от стыда. Я и так твоя на всю жизнь. Поверь мне, Токтар!

Он что-то сказал ей горячим шепотом. Я не расслышал, что именно.

— Отпусти меня, Токтар, — взмолилась сестра Назира. — Нас могут увидеть.

— Ну и пусть! — громко ответил Токтар.

— Что я тебе говорил? Уведет он твою сестру, — шепнул Ажибек мне на ухо и торжествующе хихикнул.

Я нагнулся, взял первый же подвернувшийся в темноте камень, бросил в Токтара и припустил во весь дух в сторону дома. За мной послышался топот погони. Сестра Назира поймала меня почти у самого порога и схватила за руку с такой силой, что я с ходу повернулся вокруг своей оси, закружился как юла.

— Это, конечно, ты! Я так и знала. Ну и заноза, ну и заноза. Видно, пока не задам тебе хорошую трепку, ты не успокоишься, не перестанешь шпионить за мной.

— Только попробуй задай, сразу пожалеешь об этом, — ответил я на угрозу угрозой.

— И ни капли не пожалею, — и она крепко взяла меня за шиворот.

Я было рванулся, да куда там! Ее пальцы держали меня как железные. Ну и здорова стала сестра Назира!

— Ну? Перестанешь следить?

— Не перестану.

— Тогда получай по заслугам.

Сестра Назира развернула меня к себе спиной и несколько раз шлепнула ладонью по мягкому месту. Она не очень старалась, да и штаны из кожи были достаточно толстыми. Словом, ее удары не причиняли боли. И все было бы ничего, если бы они не унижали моего мужского достоинства. Страшно подумать, что скажут Ажибек и другие ребята, когда узнают, что меня по мягкому месту отшлепала совсем еще недавняя девчонка?

— Бабушка! Мама! — тихо закричал я, чтобы напугать сестру.

Она сразу же отпустила мой воротник:

— Будешь следить, получишь еще.

— А я бабушке и маме все расскажу.

— Только попробуй скажи!

— Вот возьму и скажу. Прямо сейчас, — и я сделал шаг к дверям.

— Канат, подожди! Больше тебя не трону. Я пошутила, а ты и вправду обиделся.

— Не подмазывайся, все равно расскажу. И как ты встречалась с Токтаром у родника, и как он хотел тебя поцеловать.

Я сделал вид, будто сейчас открою дверь и перешагну порог.

— Канат, миленький, я сделаю для тебя все, что захочешь. Буду твоей рабой. Только не говори! — взмолилась сестра.

Ее неподдельный испуг доставил мне тогда удовольствие. Я наслаждался своей местью.

— Так и быть, промолчу, — важно сказал я, — а ты будешь моей рабой. Сама обещала. Исполнишь, что прикажу.

— Ну, конечно, исполню. Я же сказала, — обрадовалась сестра Назира.

А я чувствовал себя героем сказки, у которого есть свой волшебный раб, ему прикажи — и он все исполнит. Сестра Назира тогда казалась мне такой же могущественной, способной сделать все: построить дворец, перенестись за тысячу земель. И мне захотелось, не откладывая, сейчас же что-нибудь приказать сестре Назире.

— Ну, тогда стань на одну ногу, на левую. А в правую руку возьми кирпич. И стой, а я буду считать до ста! — торжественно приказал я.

— А зачем тебе это нужно? — удивилась сестра Назира.

— Понимаешь, в нашем классе только Асет умеет до ста стоять. А все теряют равновесие.

— Ну где я сейчас найду кирпич? В темноте-то? — пожаловалась сестра Назира. — Может, как-нибудь в другой раз?

— Ладно, перенесем, — великодушно согласился я. Когда мы вошли в комнату, мама принялась нас отчитывать. Вначале она взялась за меня:

— Где тебя носило до сих пор? На улице уже ночь!

— Мы играли, — ответил я, и сам понимая, что мое объяснение не вполне убедительно.

— Пропади пропадом твои игры! Посмотри на себя: на тебе живого места нет! Ходишь, как оборванец! А ну-ка выйди из комнаты!

На этом гроза миновала, во всяком случае для меня. Я выскочил из комнаты, радуясь, что отделался сравнительно дешево. А из-за двери донесся голос матери:

— А у тебя что за болезнь появилась? Стоит ее за чем-нибудь послать, потом ждешь целыми часами! Я же яснее ясного сказала: сходи к соседям за ситом. Но пока ты ходила, вода успела выкипеть до дна!

— Сито было занято. Соседи просеивали муку. Ну и я ждала, — с трудом ответила сестра Назира, она была не мастерица обманывать.

— Ты причину всегда найдешь! Ох и дождешься, Назира! Не посмотрю, что ты уже взрослая, оттаскаю тебя за волосы!

Сестренка моя молчала. Видно, душа у нее в пятки ушла. Наша мама шутить не умела. Если уж сказала, что за волосы оттаскает, то уж сделает это точно.

— Что стоишь словно столб? Просей сейчас же муку! — прикрикнула мать, но голос ее уже оттаял.

Обычно после ужина, после того как мы, дети, набьем животы пшеничной похлебкой, а взрослые напьются чая — кипятка с солью и сливками, в нашем доме воцарялось всеобщее благодушие. Разглаживалось, светлело лицо мамы, вечно суровое, озабоченное с тех пор, как отец ушел на фронт. О таких хмурых людях говорят, что «у них с бровей идет снег». Так вот, после чая отпускали заботы взрослых, а дети во главе с Назирой затевали веселую возню. И особенно мы резвились, если мать уходила к соседям. Тут уж дом ходил ходуном. Бабушка смотрела на наши проказы сквозь пальцы.

Так было и на этот раз. Мама повязала платок и отправилась к бригадиру по каким-то делам, а я сразу прицепился к старшей сестре, приглашая ее поиграть.

— Оставь меня, Канат. Побегай с младшими, — попросила сестра Назира.

Я возмутился: как это оставь? Она моя раба. Что хочу, то с ней и делаю! И тут мой взгляд упал на кирпич, лежащий возле печки.

— Назира, а вот и кирпич.

— Но мы же договорились на другой раз, — запротестовала сестра Назира.

— Бабушка, а сестра Назира вчера у ручья… — начал я, чувствуя, что голос мой стал каким-то подлым.

— Канатжан, я сделаю, как ты хочешь, — поспешно перебила старшая сестра.

Она подняла кирпич и выполнила мое пожелание — простояла на одной ноге, пока я считал до ста.

— Назира, ты совсем как маленькая, — говорила бабушка, добродушно покачивая головой.

Потом, уже забравшись в постель, я спохватился, сказал себе: «Эх ты, баранья голова, нашел, что приказывать! А про главное и забыл.

Надо было просто сказать: «Назира, я запрещаю тебе от нас уходить. Даже если их будет миллион, Токтаров!»

После этого случая Токтар и сестра Назира стали меня бояться как огня. Они прятались в самых потаенных местах, но я находил их и там.

— А-а, вот вы где? — говорил я, возникая, как злой дух, из-за камня или зарослей шиповника.

В их глазах появилось отчаяние. Но я твердо решил бороться за сестру Назиру и ходил за ней точно тень. Представляю, с каким бы наслаждением они надавали мне по шее. Однако вместо этого им приходилось задабривать своего маленького врага, чтобы он, не дай бог, не выдал их тайну своей матери.

Однажды под вечер, когда я играл с ребятами в альчики, ко мне подошел Токтар и отозвал в сторону.

— Канат, хочешь, я кое-что тебе подарю? — спросил он и показал великолепный граненый красный карандаш.

Таким карандашом учитель Мукан-агай ставил в наших тетрадях отметки.

— Ну, конечно, хочу! — ответил я, не задумываясь.

— Тогда возьми. Теперь он твой, — Токтар протянул карандаш. — У меня есть и другие карандаши: синий, зеленый и желтый. Если тебе нужно, я могу принести.

— Любой, какой захочу?

— Какой захочешь. Только позови сестру Назиру. У меня к ней важное дело. Очень важное, честное слово!

Я хотел вернуть карандаш, сказав, что не поменяю сестру даже на все карандаши мира, но тут же меня осенила одна хорошая идея.

— Хорошо, позову, — согласился я. — Только ты отдашь сразу все свои карандаши. Идет?

— Идет! — обрадовался Токтар, к моему немалому разочарованию.

Мне-то казалось, что он заартачится, пожалеет свое добро.

«Ничего, — сказал я ему мысленно, направляясь домой, — все равно отважу тебя от сестры. Посмотрим, как ты запоешь, когда я потребую твою красивую камчу с рукоятью из ножки горного козленка».

Мама, к счастью, с работы еще не вернулась, иначе бы нам с Назирой уже не выбраться сегодня из дома. Старшая сестра вязала джемпер, прислушиваясь к очередной сказке, которую рассказывала бабушка притихшим малышам.

— Выйдем на улицу, — шепнул я сестре Назире и многозначительно показал подарок Токтара.

— И ты меня продал за один карандаш? — спросила Назира, смеясь.

— Не бойся, одним карандашом он у нас не отделается, — твердо пообещал я. — Завтра принесет остальные.

— Глупенький, — вздохнула сестра Назира и, отложив вязанье, начала одеваться.

— Э, вы куда собрались? — спохватилась бабушка.

— Я потерял за дверью альчик. Мы с Назирой поищем, — солгал я, ни капли не растерявшись.

— Что ж, поищите, — позволила бабушка.

Едва мы вышли из дома, от стены сарая отделился Токтар, подбежал к нам, сгорая от нетерпения.

— Только не целоваться и вообще долго не разговаривайте, — строго предупредил я и добавил: — Впрочем, послежу за вами сам.

И, отойдя на четыре шага, встал как вкопанный. Пусть видят, что я начеку.

— Токтар, что-нибудь случилось? — спросила сестра Назира.

— Да ничего, просто хотелось тебя повидать.

Они замолчали, не сводя друг с друга глаз. Может, их смущало мое присутствие. А может, и вовсе не нуждались в словах. Потом Токтар забылся, взял за руку сестру Назиру.

— Эй, опусти руку! Кому говорят? А то мы уйдем! — прикрикнул я на Токтара.

Они повернули голову в мою сторону и мягко мне улыбнулись. Между ними что-то случилось, только непонятно что, и с этой минуты я стал им не страшен.

На улице едва начинало темнеть. Люди, утомившись за день на работе, уже разошлись по домам, в окнах зажегся тусклый желтый свет керосиновых ламп. Собаки и те перестали брехать, словно понимали, как нужен их хозяевам отдых. И только на краю аула, возле большой топкой лужи, нарушая тишину, квакали осмелевшие лягушки.

И вдруг из дома Бубитай вырвался ее пронзительный, тоскливый голос:

Черные глаза,
Как мне дойти до вас?
Путь к вам далек,
А я так одинок, —

пела неутешная женщина.

Я вспомнил разговоры взрослых о безумной Бубитай и, похолодев от ужаса, с надеждой посмотрел на Токтара и Назиру. Уж они-то не дадут меня в обиду. Но сестра и ее дружок были заняты друг другом и, казалось, ничего не слышали и не видели.

— Токтар, что же ты молчишь? Разве у тебя нет дела к Назире? Говори, я не буду мешать. Правда, правда, — сказал я, напоминая о себе.

— Канат, миленький, ты испугался? — ласково спросила сестра. — Ну, подойди ко мне.

— Не бойся, мы здесь, — сказал Токтар.

Я подошел и стал рядом с ними. Вдруг сестра Назира привлекла меня к себе и поцеловала в щеку.

Мне очень нравилась пора, когда из долины в аул возвращались стада. Похудевшие за зиму, со свалявшейся в сырых сараях шерстью, овцы набрасывались на сочную траву наших горных лугов. Ух, и славное наступало время! Аул переполнялся веселым шумом. Взрослые дружно доили овец, — пей молоко сколько хочешь! А в казанах кипели-бурлили иримшик и курт — сыры из овечьего молока.

У нас, у мальчишек, тоже немало дел. Мы помогаем отделять ягнят от стада, гоним домой дойных овец и после этого мчимся на окраину аула к сараю, сложенному из камней, в котором стоят лошади, тоже только что пригнанные из степей на горные луга. Около сарая собираются все, кто считает себя настоящим мужчиной. Здесь клеймят лошадей, укрощают необъезженных скакунов, отбирают лучших коней для фронта. Луг дрожит от топота копыт, с веселой злостью дерутся самцы, игриво носятся друг за другом неутомимые стригунки,

вздымают к небу передние ноги и бьют неистово задними гордые строптивцы, когда им на шею набрасывают петлю. В воздухе стоит звонкое ржанье. Собравшись вечером, мальчишки обсуждают события дня. И главный герой наших рассказов — Токтар, тот самый сын Шымырбая, который хочет отнять у нас Назиру.

Токтар укрощал молодых коней, отобранных для фронта. Его руки словно заговаривали лошадь. Им подчинялись даже самые непослушные двухлетки, еще не видавшие уздечки и курука — палки с петлей для ловли лошадей. Токтар птицей взлетал на спину такого полудикого красавца, цепкой кошкой припадал к гриве его, обхватив бока ногами. Конь вставал на дыбы, брыкался задом, пытаясь стряхнуть непрошеного седока, но Токтар был не из тех, кого можно было сбросить на землю. Дав коню побеситься, он посылал его ударом пяток и камчи вперед и носился по лугам до тех пор, пока не изгонял из лошадиной души упрямого беса. К сараю укрощенный конь возвращался смирным, покрытым белоснежной пеной. Его оставляли на ночь, на отдых, он уже не брыкался, только тихо ржал да жевал непривычную для себя уздечку, а наутро коня мог оседлать и новичок и направить куда угодно.

Работа Токтара была для нас ни с чем не сравнимым зрелищем. Даже взрослые и те, выбрав свободную минуту, приходили полюбоваться его сноровкой и ловкостью. И качали головами, дивились: когда он успел освоить такое дело, которое и не каждому взрослому джигиту по плечу? И лишь старый бригадир Байдалы недовольно ворчал, заложив за нижнюю губу горсть насыбая — жевательного табака:

— О аллах, нашли чем восхищаться! Да разве это кони? У самой кроткой ярочки и то характера больше. А на нынешнего коня набрось веревку для коров, он тут же и спину подставит: седлай и садись! Ну, может, махнет хвостом, чтобы думали, будто не сразу сдался. На таком коне даже сидеть — оскорбление для джигита. И у вашего Токтара только название одно — укротитель. Вот, помнится, в мои молодые годы забросишь петлю на шею коня, да не такую, сплетенную в четыре слоя, и держат другой конец шесть сильнейших джигитов. И все равно он тащит за собой — подошвы у наших сапог отпадали! Ловить такого чертенка — все равно что дело с тигром иметь. Вот какие водились

кони в мои времена, когда я был молод! — заканчивал он, значительно оттопырив нижнюю губу.

Послушать старика Байдалы, так все, кто родился позже его, здорово прогадали. Ныне и люди — слабаки, и скот худой и мелкий, и даже самые породистые собаки хуже никчемных дворняг, что бегали в молодые годы старика Байдалы. А нас, теперешних мальчишек, он и вовсе ни во что не ставил.

— Эти и носа не могут сами утереть, — говорил он, презрительно указывая на нас. — Мы в их возрасте уже заводили свою семью, разбивали себе отау[8]. Им же только бы носиться по улице целый день да рвать свою одежду, — и в знак величайшего неодобрения сплевывал жвачку.

— Дедушка, а в каком возрасте вы женились? — спрашивали мы, присмирев.

— В первый раз, что ли? — И старик Байдалы считал про себя, загибая пальцы. — Шесть лет… ну да, мне было шесть лет, когда отец сосватал для меня одну девочку… Потом стало десять лет… В одиннадцать я уже украдкой к невесте ходил… Ну, а на следующую осень женился!

— На теперешней вашей жене?

— Ай, какие бестолковые! Я сказал — в первый раз, на этой я женился уже при советской власти, когда женщины получили свое равноправие.

— Ну, а где та, ваша первая жена? — не отставали мы от старика Байдалы.

— Ишь как пристали, сорванцы, — сетовал он, моргая узкими, слезящимися глазами. — Вам бы на уроках такое любопытство, сопляки вы этакие! А ну-ка, прочь от конюшни, пока не распугали коней!

Старик Байдалы беззлобно размахивал камчой, отгоняя нас от ворот конюшни. Мы делали вид, будто боимся камчи, отбегали чуть в сторону, а вскоре снова окружали его.

— Байеке, скажите, а где первая жена, которую сосватал вам отец? — принимались мы за свое.

Сказать по правде, первая его жена нас нисколечко не интересовала. Нам хотелось расшевелить старика. Уж если он разойдется, то обязательно расскажет что-нибудь интересное.

— Да зачем она вам сдалась? — удивлялся старик Байдалы. — Где же ей еще быть? Как ни в чем не бывало живет в колхозе Актасты. Подлая женщина! Тайком от меня встречалась с таким же обманщиком, как и сама. Сыном некоего Танеке. А когда установили советскую власть, в первую же ночь с ним сбежала.

— А вы? Что же сделали вы? — спрашивали мы, загораясь.

— А что я? Мужчины нашего рода еще никогда не умирали из-за женщины. «Ну и пусть, — сказал я. — Пусть уходит!» И сразу женился на теперешней своей старухе. Ну, довольно, поговорили, а сейчас идите отсюда.

— Нет, нет, расскажите, как вы снова женились! — кричали мы, боясь, что старик Байдалы и в самом деле умолкнет.

— Вы послушайте их! Как я женился! Хватит, они мне уже надоели! — жаловался бригадир старикам, пришедшим посмотреть на лошадей, и кричал, повернувшись к конюшне: — Эй, Токтар! Сегодня обуздаешь Жиренкаску. Пока его не заберут на фронт, я поезжу на нем. Конечно, и это кляча. Но вот отец его, Жирен, был конь! — говорил он нам, не удержавшись. — Однажды я скакал на нем на кокпаре[9]. Помню…

— Жирен — известный был скакун, — подтверждал одни из стариков.

— Огонь! Так вот, помню, праздник в Узунбулаке. Каждый колхоз выставил свою команду, и мы боролись за тушу козла. Но никому не удавалось унести ее далеко. Ни капчагаям, ни серым. Огромный был козел, тяжелый. Туша не держалась в руках; схватив ее, джигиты тут же роняли наземь. Вы спросите: а как же я? А я зря не тратил силы скакуна Жирена, держался чуть в стороне. Пусть, думал, они увлекутся, а там уж и мы скажем свое слово с Жиреном. Так бы, наверное, и было. Да не выдержал наш Байрыстан, крикнул: «Эй, тени джигитов! Да разве так тянут кокпар!» Ударил ногами коня, ворвался в самую гущу схватки, схватил тушу козла и поднял над головой.

— Пах! Силач был этот Байрыстан! — подтверждал все тот же старик.

— Да что козел! Помню, упал в колодец верблюд, так он вытащил его в два счета, — добавлял другой такой же старый зритель.

Старик Байдалы недовольно покосился на непрошеных помощников, — он не любил, когда его перебивали, — и продолжал:

— Так вот, отобрал Байрыстан козла у чужих джигитов, поднял на свою макушку и вырвался из этой мешанины людей и коней. Да прямо ко мне: «Ну, а теперь, Байеке, твой черед. Скачи с козлом в аул!» Перебросил я тушу поперек седла и отпустил поводья Жирена. А конь как будто только и ждал, когда ему доверят дело. Стоило мне прикоснуться пятками к его бокам, и Жирен полетел как птица! Только ветер завывал в моих ушах: «Где а-а-ул, где а-а-ул!» Я лег вниз лицом на козла, придавив его руками, и не видел, как мы пронеслись через поля шести колхозов, и поднял голову только в нашем ауле. Жирен принес меня прямо к крыльцу сельсовета. И ни разу не качнул, не подбросил. Словно не было под его копытами ни кочек, ни рытвин, а степь стала гладкой как стол! — победно заканчивал старик Байдалы.

— Да, да, Жирен был рожден не конем, а птицей! — опять встревал неугомонный помощник. — Я тоже раз скакал на Жирене, и тоже был кокпар! Этот жеребец понимал кокпар лучше иного человека!

— Когда в прошлом году Жирена забрали в армию, баенкома[10] сказал: «На таком красавце только главному командиру ездить!» — вспомнил другой старик.

— Прямо так и сказал? — поразился старик Байдалы.

— Не веришь, спроси Жакыпа. Баенкома при нем говорил. Он слышал.

Мы все, и стар и млад, повернулись к обычно неразговорчивому Жакыпу.

— Я слышал, — коротко подтвердил старик Жакып.

Пока мы слушали рассказы о скакуне Жирене, Токтар взял узду и подошел к его пока еще безвестному сыну Жиренкаске. Молодой жеребец отпрянул, забил копытом и раздул розовые нежные ноздри, словно стараясь подтвердить славу своей знаменитой горячей крови. А когда все же Токтар накинул узду на его гордую точеную голову, что тут началось, что началось!.. Жиренкаска чуть ли не взмыл в небо. Четыре человека держали аркан, наброшенный на его шею, и все же он вырвался, словно они были легче пушинок, и понесся в степь. Один конюх быстро вскочил на своего оседланного коня и бросился в погоню. Да куда там — Жиренкаски и след простыл. Только еще клубилась пыль, поднятая его копытами.

— То-то, хороший конь и должен быть таким, с характером! Видали, как он всех раскидал? Из него выйдет замечательный скакун! — воскликнул старик Байдалы, и приутихшая было его кровь снова забегала по жилам.

Казалось, подведи к нему горячего коня, и он, как в той, давней молодости, взлетит в седло и врежется в самую гущу кокпара.

— Ну что, мальчик? Усмирить клячу не трудно: проехал два круга и хоть на ходу спи. Возьмись-ка ты теперь за настоящее мужское дело да обуздай этого Жиренкаску, если ты и вправду силен, — предложил он, усмехаясь, Токтару.

Токтар молча оседлал кобылицу Кокбие, с помощью которой обычно приманивал сбежавших из табунов жеребцов, и поскакал за холмы, туда, где скрылся Жиренкаска. Вскоре мы увидели, что он возвращается назад, а следом за ним, точно за магнитом, бежит Жиренкаска. Кокбие хорошо знала свое дело, она подпускала зачарованного беглеца поближе и снова устремлялась вперед, увлекая его за собой. Потом Токтар придержал кобылу, позволил Жиренкаске поравняться с Кокбие. За молодым жеребцом волочился аркан, заплетал ему ноги, заставляя идти как-то боком.

— Так он порвет аркан и себя покалечит, — заволновался старик Байдалы и, приложив к губам ладони, громко крикнул: — Эй, Токтар, отвяжи аркан! Аркан сними, говорю!

То, что произошло после этого, было неожиданным и для нас, и для Жиренкаски. Токтар на полном скаку перелетел на спину жеребца. Застигнутый врасплох, не готовый к внезапной атаке, Жиренкаска пронзительно заржал, взвился на дыбы, запрыгал, подбрасывая круп, пытаясь сбросить Токтара. Но тот даже не покачнулся, только еще крепче приник к шее коня. Тогда Жиренкаска, пугая кобыл, резко шарахнулся в сторону и, взбешенный упорством наездника, поскакал в степь. Аркан потянулся за ним, точно змея, готовая к броску.

Старики взволнованно затрясли головами, заговорили наперебой:

— Ну и ну, забраться на такого зверя без уздечки… Наверное, этот сын Шымырбая от страха уже собственное сердце проглотил!

— Да, как бы не случилось беды!

— Если ноги коня запутаются в аркане, оба свернут себе шею!

Вскоре мы снова увидели Токтара на Жиренкаске. Они мчались в нашу сторону. Токтар нахлестывал коня камчой. Жиренкаска со

скоростью падающей звезды врезался в середину табуна, расколол его надвое и понесся дальше. Но прыть у коня уже была не та, и чувствовалось, что он теперь прислушивается к воле своего седока.

— Э, а где аркан? — спросил молчаливый старик Жакып.

— Я тоже не вижу аркана, — сказал другой старик.

— Да нет его, нет аркана! — заговорили старики, еще более возбуждаясь.

А Жиренкаска описал крутую дугу, постепенно сбавляя ход, повернул к табуну и остановился, подчиняясь железной руке наездника. Токтар легко спрыгнул на землю, лицо его было бесстрастно, ничем не выдавало торжества, будто такие победы стали для него будничным делом.

Мы, поклонники Токтара, повернулись к старику Байдалы. Ну, что он скажет теперь о молодом джигите?

— А где аркан? Конечно, порвали? — строго спросил старик Байдалы, избегая наших взглядов.

— Не волнуйтесь, цел аркан. Я его у куста волоснеца бросил, — скромно ответил Токтар. — Ажибек! — обратился он к нашему старшему товарищу. — Возьми моего коня и привези бригадиру аркан!

— Радуется сердце! И Жиренкаска достойный скакун, и Токтар — настоящий джигит! — умиленно прошамкал девяностолетний Куатбай, самый старший аксакал в нашем ауле.

Старик Байдалы махнул рукой, сдаваясь, и весело сказал:

— Я думал, Токтар просто мгит, а он заправский джигит.

— Дедушка, а что такое «мгит»? — спросили мы в один голос.

— А я сам не знаю. Просто так придумал: мгит — джигит. Складно звучит, а?

— Складно! Складно! — закричал я вместе с ребятами.

Мы гордились Токтаром. Тем самым Токтаром, который чуть ли не каждый вечер мне что-нибудь дарил, говорил с хитрой улыбкой:

— Канат, будь другом, приди сегодня на наше место.

Я понимал, что означает эта просьба, и приходил на условленное место с сестрой Назирой. Стоял рядышком, пока они говорили. Не сводил с них глаз. Уж кому-кому, как не мне, было знать, насколько ловок, проворен Токтар. Уведет сестру — не успеешь и ахнуть. А они теперь мной не тяготились. Теперь я был как бы их благодетель. Без

меня бы строгая мама ни за что не выпустила Назиру одну. А так я что-нибудь придумаю, какой-нибудь хитрый предлог, и мама скажет:

— Назира, погуляйте с Канатом. Только не ходите долго. Возвращайтесь скорей!

Я помнил об этом и не позволял сестре Назире долго стоять с Токтаром.

— Мал ты, а строг, — шутил Токтар с грустной улыбкой.

Весной, когда линяли коровы, ребята собирали коровью шерсть и скатывали в тугой плотный мяч. Потом все лето играли этим мячом в «яйцо», «убегающий мяч», в «мяч-свинью». Помню, однажды в самый разгар игры появился Ажибек верхом на коне, и не на каком-нибудь, а на гнедом жеребце бригадира Байдалы. Заметив, что мы бросили мяч и уставились на него, Ажибек ударил коня пятками, повел его легким галопом и запел, сочиняя на ходу:

Я лег на дно Кособа
И сбил пулей кого-то.
Я — батыр, нет жалости у меня,
Убил Байдалы и взял его коня!

При этом Ажибек любовался своей тенью, она летела рядом с ним по пыли, по стенам домов. Он знал, что мы отчаянно завидуем ему. Проскакав мимо нас, Ажибек развернул жеребца и снова пустил его галопом. Так он гарцевал перед нами, словно Бележан перед красавицей Кыз-Жибек, после того как убил Тулегена[11]. Да и тот, наверное, так не старался, так не заставлял плясать своего коня.

Мы не заметили, как в конце улицы появился хозяин коня — старик Байдалы, и потому вздрогнули, услышав его не по летам зычный голос.

— Ажибек, у тебя на плечах голова или дыня?! Я тебе что сказал? — закричал бригадир, сердито ругаясь. — Я тебе сказал: шагом езжай, напои жеребца! А ты что делаешь, гусиная шея? Кому говорю: не мучай коня!

— Не мючай кяня, — вполголоса, кривляясь, передразнил Ажибек бригадира и громко ответил, притворяясь овечкой: — Да что такого,

немного поездил, и все! Сейчас напою.

Он подмигнул нам и, дернув поводья, направил коня в сторону родника, напевая:

Я лег на дно Кособа
И сбил пулей кого-то…

Отъехав, он что-то вспомнил, натянул поводья и повернул назад.

— Канат, иди-ка сюда! — услышал я его голос.

И побежал к нему во всю прыть, надеясь, что он и мне даст поездить на коне бригадира. Ажибек поджидал меня, а гнедой горячился, кружил на одном месте.

— Почему ты здесь? — спросил он, нахмурив брови.

— Потому что играю с ребятами, — ответил я, удивляясь его вопросу.

— Дабай беги домой. Черная бумага пришла на твоего отца. Ваш дом полон людей, а ты, панимайш, резвишься тут с ребятами, — сказал Ажибек, искажая русские слова «давай» и «понимаешь».

Все, что последовало затем, запомнилось мне как детали одной печальной живой картины. Вот я бегу по улице и что-то кричу. Вот плачу на груди у матери, которая лежит без чувств. Кто-то из женщин брызжет в мое лицо холодной водой, я вздрагиваю, точно от ударов тока, но не открываю глаз. Вокруг меня плач и причитания. Меня обнимают, гладят по голове и снова брызжут водой… Потом я каким-то образом очутился в своей комнате и уснул.

Проснулся я уже на другое утро, поднял голову и увидел, что дом по-прежнему полон людей. Они пили чай, а дастархан был завален разной снедью, принесенной со всех концов аула.

На блюдах лежали баурсаки — тонкие лепешки, испеченные в казане, талкан, замешанный на молоке, в глиняных чашках — иримшик. Но это я увидел потом, а вначале мне в глаза бросилось лицо бабушки, исцарапанное в кровь, отекшее, синее. Бабушка охала и с усилием глотала чай, пить который ее заставляли сидевшие рядом старухи. Матери за дастарханом не было, потом мой взгляд нашел ее совсем рядом. Она лежала на полу, возле моей кровати, с закрытыми

глазами, и беззвучно шевелила высохшими, потрескавшимися за эти часы губами.

Возле нее тоже сидели женщины, ее сверстницы. Одна из них упрашивала мать:

— Багилаш, милая, подними голову. Нельзя же так всю ночь, — и пыталась подсунуть подушку.

На этот раз на меня никто не обратил внимания. Я соскользнул с кровати и вышел из дома.

На улице уже стояло позднее утро, было тепло, как и все эти дни. Перед нашим домом кипели три самовара, пылал врытый в землю очаг, на котором в казане варилось мясо. На стене сарая сушилась шкура серого козла, его берегли к возвращению отца, ухаживали за ним отдельно, всей семьей, кормили самой сочной травой с лучших участков горного луга. Но вот пришлось его зарезать совсем по другому, безрадостному поводу.

Возле самоваров и очага суетились соседские женщины. Кто-то готовил чай, кто-то снимал с кипящего бульона пену или, сидя перед ручными жерновами, молол остатки нашей пшеницы, выгребая их из мешка.

И все же меня удивил человек, коловший дрова перед дверью сарая. По обычаю, это делал всегда самый близкий родственник пострадавшей семьи. И так было у всех. А у нас колол дрова Токтар — человек, совершенно не связанный с нами кровью. Не сват нам и не брат, как говорят русские.

Я хотел спросить у сестры Назиры, что это значит, поискал ее глазами. Она подходила к дому с ведрами воды. В лице ее не было ни кровинки, взгляд суров, губы крепко сжаты. Назира молча вылила воду в пустой самовар, разожгла его.

Я понял, что ей сейчас не до вопросов, сел на землю, привалившись спиной к углу дома, обнял коленки. И вдруг улицу и меня вместе с ней потряс плач, вырвавшийся из окон нашего дома. Я узнал голос бабушки. Она причитала, оплакивала своего сына.

Ушел мой жеребеночек за горы,
Пояс ему был к лицу,
Но что толку, что пояс к лицу,

Жеребеночек мой уже не вернется…

Я представил своего отца, подпоясанного красивым военным ремнем. Лицо его было суровое, холодное. Он даже не взглянул, не обернулся на нас, плачущих, причитающих, зашагал в гору, спокойно, размеренно, как ходил за дровами, да только шел на этот раз так, чтобы уже никогда не вернуться. И вот отец, как и пела бабушка, перевалил за гору… Мне хотелось крикнуть: «Отец, куда ты уходишь? Зачем ты оставил нас?»

По моему лицу потекли горячие слезы. Мне и раньше приходилось плакать от обиды, а чаще хитря, чтобы разжалобить бабушку. Но до этого дня я не знал, как горячи настоящие слезы. Они жгли глаза и щеки. Я крепился, стараясь не зареветь в полный голос, стиснул зубы, спрятал в колени лицо. И тут на мое темя легла жесткая мужская ладонь. Я поднял голову и увидел Токтара, склонившегося надо мной:

— Крепись, Канат, ты — мужчина!

Взрослые, когда им нужно, любят говорить: «Как тебе не стыдно, ведь ты мужчина». Но стоит тебе задержаться на улице допоздна, как слышишь: «Ты еще маленький, тебе пора спать». У Токтара это выглядело совсем по-другому. В его глазах было столько искреннего желания помочь мне, что я не выдержал, уткнулся лбом в его бок и, не стесняясь, зарыдал.

— Отойди, Назира, — услышал я голос Токтара, — мы с ним по-мужски погорюем. — Канат… Канат… — говорил Токтар и гладил меня по голове, по спине.

И я успокоился, поднял голову. Бабушку уже не было слышно, она закончила свой плач по сыну.

— Вымой лицо. Если мама твоя заметит, что ты плакал, ей будет еще больней, — сказал Токтар и полил мне из чайника, а сестра Назира вынесла из дома полотенце.

Когда я растирал полотенцем лицо, уничтожая следы своей слабости, к дому подъехал председатель колхоза Нугман. Токтар, словно хозяин, пошел его встретить и держал за узду коня, пока председатель неловко, не сгибая спины, вылезал из седла. Мне уже говорили, что Нугман всегда выжидает конца жоктау и только после

этого приходит выразить свое сочувствие. Когда-то, давным-давно, баи и кулаки зарыли его в землю живым, и врачи с тех пор запретили ему волноваться. Он и с виду больной — тощий, с такими впалыми щеками, словно внутри они касались друг друга. Я как-то не замечал, чтобы председатель смеялся. Если Нугман смотрит на тебя, то кажется, что он тебя не видит, будто он навечно погружен в какую-то очень печальную думу. И до войны Нугман как инвалид не работал, получал пенсию и разводил свой сад, где скрещивал дички с культурными яблонями. Ну, а после того как началась война и все здоровые мужчины ушли на фронт, пришлось ему пойти в председатели.

В доме Нугман пробыл недолго, а выйдя на улицу, подозвал сестру Назиру, расспросил о наших делах и что-то написал на листке, вырванном из блокнота.

— По этой записке получите барана и два пуда муки как помощь от колхоза, — пояснил он, вручая сестре листок. — Токтар, сынок, поможешь им привезти.

— Хорошо, ага. Помогу.

Председатель так же неуклюже, с неестественно прямой спиной, взобрался на коня и сказал сестре Назире:

— Назира, солнышко, если что-нибудь будет нужно, не стесняйся, заходи ко мне.

Нугман уехал, а я, глядя ему вслед, дивился его странной походке и тому, как он слезал и забирался на коня.

— А почему он такой прямой, как палка? — спросил я у Токтара.

— Нугман носит корсет, — ответил Токтар.

— А что это такое?

— Ну, вроде панциря, и тоже из железа.

— А зачем он его носит? Чтобы не пробила пуля?

— Ну что ты, Канат-ай? Совсем для другого служит корсет. У председателя больной позвоночник, да еще говорят, у него удалены два ребра.

— А почему их удалили?

— Перед тем как зарыть Нугмана в землю, его сильно били. Вот тогда и сломали два ребра, а после уже в больнице их удалили совсем.

По черной бумаге мама высчитала, когда наступит сороковой день после смерти отца. Оказалось, что очень скоро. И наша семья стала

готовиться к поминкам. Мать и Назира пригнали обещанного Нугманом барана, бабушка откормила его, урезав еду трем нашим козам. Баран залоснился, потяжелел, и мать, и бабушка успокоились, видя, что теперь на поминках будет вдоволь «божьего» мяса. А пока они послали нас с Назирой за дровами.

Рано утром мы отправились в горы в заросли таволги, нарубили две большие охапки веток с только что распустившимися листочками и, после того как Назира перевязала охапки веревкой, скатили их к подножию склона. Потом сбежали сами вниз, подобрали вязанки и только навьючили на себя, как из-за пригорка, со стороны аула, появился Токтар.

Он шел, улыбаясь еще издалека, словно человек, спешащий за суюнши — подарком, который получает тот, кто первым приносит хорошую весть.

— А я вас везде ищу. Потом вижу, летят сверху дрова, а потом и вы спускаетесь следом! — сообщил он, приближаясь.

— Токтар-ау, зачем ты пришел? Ведь мы же договорились, — сказала сестра с упреком.

Ну да, и я, как всегда, присутствовал при их договоре. Они условились днем не подходить друг к другу и даже при возможности не появляться в одном и том же месте, чтобы не было повода у сплетниц чесать свои длинные языки.

А произошло это после того, как наша мать остановила Токтара на улице и сказала ему:

— Токтар, дорогой, не подумай, будто я считаю тебя недостойным моей Назиры. Лучшего бы я ей не желала жениха. Разве что ханского сына, — пошутила она со слабой улыбкой. — Но сейчас война, и тебе еще предстоит исполнить свой мужской долг. Вот вернешься с войны — и хоть в тот же день приходи за Назирой, я дам вам свое согласие. А пока не кружи девушке голову! Не опозорь ее!

Токтар, по его словам, растерялся, забормотал:

— Что вы говорите, тетя? Что говорите?.. Я не такой… Я не такой…

Но мать и слушать не стала…

С тех пор они так и делали — избегали друг друга. Ну, а если и сводил их случай, перекинутся словом, да так быстро, что сплетницы и глазом не успевали моргнуть, и расходятся как ни в чем не бывало

каждый своей дорогой. И вдруг Токтар подошел к ней посреди бела дня…

— Да, Токтар, что же ты? Мама узнает, — я поддержал сестру.

— Назираш, меня призывают, завтра еду в район, — сказал Токтар, радостно улыбаясь.

— На фронт? — спросила сестра, видно надеясь, что Токтар ответит отрицательно, точно парня, получившего повестку, могут послать куда-то еще.

— На фронт! — подтвердил Токтар, ликуя. — Из нашего аула призвали четверых. И меня в том числе! Сейчас у нас такое! Собралась вся родня! Еле ускользнул, чтобы сказать тебе.

— Токтар-ау, Токтар-ау, но ведь ты еще слишком молод, чтобы идти на фронт. Что же ты делаешь? — в ужасе прошептала сестра Назира.

Она отвернулась, села на вязанку к нам спиной и жалобно повторила:

— Что же ты делаешь? Ведь еще твой возраст не подошел.

— Я же их обманул. Военкомат не знает.

Токтар нам улыбался, сиял, совершенно не замечая, что творится с сестрой Назирой. Признаться, я тоже ее не понимал. Что же плохого в том, что джигит идет воевать с фашистами? И завидовал Токтару.

По-прежнему сидя к нам спиной, сестра Назира сняла косынку, провела ею по глазам.

— Ну, ладно. Вечером приходи на наше место. Мы с Канатом будем ждать, — сказала она, поднимаясь.

Сестра хотела взвалить вязанку на спину, но Токтар не позволил, поднял и ее, и мои дрова на свои широкие плечи и донес до аула.

— Отсюда уже недалеко, дотащим сами, — сказала сестра Назира, остановившись в начале улицы.

Токтар опустил вязанки на землю. Он и сестра постояли, не сводя друг с друга глаз. С его губ так и не сходила широкая, счастливая улыбка. А глаза сестры Назиры то и дело наполнялись слезами. Она провела ладонью по его лицу, взяла за руку.

— Вечером приходи. Мы тебя ждем, — напомнила она.

Вечером, когда меня послали на луг за нашими козами, я двух отогнал в сарай, а третью, белую, с прямыми рогами, привязал в

кустах, на окраине аула. И, войдя в дом, сказал маме с самым невинным видом:

— А белая коза куда-то ушла. Один я искать боюсь. Там скоро будет темно.

— Пусть с тобой пойдет Назира, — распорядилась мать, ничего не подозревая.

Мы только этого и ждали, выскочили на улицу и побежали на место встречи, на холм, к одинокой яблоне. Я очень гордился своей хитростью, мне не терпелось поскорее рассказать Токтару, как я ловко провел свою мать. Сестра Назира и та отвлеклась от печальных мыслей, посмеялась вместе со мной.

Токтар еще не пришел. Я уселся на сухую прошлогоднюю траву, прислонившись спиной к стволу одинокой яблони, а сестра Назира занервничала, принялась ходить передо мной словно маятник.

— Канат-ай, когда он придет, отойди, пожалуйста, к забору, подожди меня там, — попросила сестра.

— Там темно. Мне одному страшно.

Честно говоря, мне хотелось послушать, что скажет на прощание Токтар сестре Назире.

— Не бойся, там никого нет. И вот возьми для храбрости это, — она нагнулась и протянула мне сук.

Я взял его и вспомнил, как здесь Бубитай гонялась с палкой за племянницей Тоштан. Может, именно с этой палкой.

— Ладно. Только не задерживайся, — сказал я, вздохнув.

— Я недолго.

Мы ждали Токтара, однако он почему-то не шел. Сумерки сгустились, стало темно, аул затих, готовясь ко сну. И вдруг на пороге своего дома снова затянула песню свихнувшаяся Бубитай. Я от неожиданности выронил палку.

Но Бубитай пожаловалась на свое горе и умолкла. А Токтар все еще не появлялся.

— Почему его нет? Он должен, должен прийти, — еще сильнее разволновалась сестра Назира.

Ну а мне-то откуда знать? Я и сам удивлялся. Так это было не похоже на Токтара. Обычно он приходил раньше нас, ждал по целому часу, а может, и того больше.

Наконец в темноте зазвучали шаги. Кто-то быстро шел в нашу сторону.

— Мы здесь! Мы здесь! — закричал я, не удержавшись.

— Я так и поняла, что вы у дерева. Пусть бог покарает вас! — раздался гневный голос матери. — Коза кричит под дверью дома, а вы оба как сквозь землю провалились. Можно подумать, что с вами случилась беда. А вы вот где! Ну-ка, сейчас же домой! — приказала мать, вырастая перед нами.

Мы виновато побежали впереди, как два проказливых жеребенка, пойманных среди посевов, а мама молча шагала следом, но и в молчании ее чувствовалась незатихающая гроза. Потом мне показалось, будто за нами идет еще один человек. Этот четвертый будто бы обогнал нас стороной. Когда мы подошли к порогу, за угол нашего дома и вправду бесшумно метнулась темная тень. Я и сестра узнали Токтара. Назира схватила мою руку, лихорадочно сжала ее. Она взывала о помощи, считала меня единственным, кто может ей помочь.

— Мама, я сейчас приду. У сарая бродит чужая собака. Я прогоню и приду, — сказал я, польщенный этой верой, и отступил в темноту. Все же брат, как ни будь он мал, всегда останется покровителем своей сестры. И я великодушно продолжал покровительствовать Назире.

Моя личность в этот момент меньше всего интересовала маму. На этот раз все ее внимание сосредоточилось на моей сестре. Она вошла в дом следом за сестрой Назирой и захлопнула за собой дверь.

Как я и думал, ко мне тотчас бросился Токтар. Он тяжело дышал, словно за ним гнались все аульные собаки, и тоже схватил меня за руку.

— Так и оторвать можно! Мы, между прочим, тебя ждали. Очень долго, — сурово сказал я. — А потом пришла мама и прогнала.

— Прости! — сказал он, отпуская руку. — Я видел, все видел. Канат-ай, я не смог раньше уйти. Мать плачет, отец тоже. Она на одном плече, он на другом. Не шелохнуться. Только теперь успокоились немного, да и то… Слушай, друг, позови Назиру. Пусть выйдет хоть на минуту.

— Поздно, мать уже ни за что не отпустит. Даже у меня ничего не получится, Токтар, — признался я со вздохом.

— Ну как-нибудь, ну, попробуй… Ты ведь у нас голова!

— Ладно, попробую, но не обещаю.

Я ушел в дом и, когда мать отвернулась, показал старшей сестре глазами на дверь: ступай, мол, на улицу, он там.

Но какой бы повод ни придумывала Назира, мать отвечала: сиди, сделаешь завтра, не горит.

Когда же сестра Назира направилась без спроса к дверям, мать вконец рассердилась, закричала:

— Не смей выходить! Только хоть шагни за порог!

— Ну что ты за ней ходишь, следишь? Назира взрослая девушка, — не выдержала, вмешалась бабушка, жалея старшую внучку.

Ну, тут и бабушке влетело заодно с Назирой.

— А вы-то, свекровь, зачем? — сказала ей мать с упреком. — Хватит того, что я стала вдовой, выплакала все глаза. А еще хуже быть не замужней вдовой. Как Гульсара, дочь Жакыпа. Погиб ее жених, и теперь не поймешь, кто она — девушка или вдова.

— Да, да, бедная Гульсара! Как она плакала, — подтвердила бабушка, вздыхая.

И еще долго после того, как все легли и потушили свет, взрослые не могли заснуть, ворочались в постели, вздыхали, ахали-охали. Бодрствовали и мы с Назирой на нашей кровати. Рядом со мной сладко сопели младшие братья и сестренка, а я смотрел в темноту, и сна не было ни в одном глазу.

Комната, ее очертания растворились в бездонной черноте, и только там, где была стена, чуть-чуть светлело окно, словно висело без всякой опоры. И вдруг в этом светлом прямоугольнике мелькнул красный огонек папиросы. Затем он проплыл в обратную сторону.

Я потянулся над спящими малышами и шепотом сообщил сестре Назире о своем наблюдении.

— Это не он. Он не курит, — прошептала сестра Назира.

— А теперь закурил. Он же едет на фронт. А ни фронте все курят, — возразил я уверенно, потому что в моем тогдашнем представлении воин был обязательно с папироской в зубах.

— Что-то вы сегодня разговорились? — сказала мать недовольно. — Или вы будете спать, или получите от меня.

Мы сразу притихли. Я лежал на боку и не сводил глаз с окна. Огонек передвигался, замирал на месте, слабел, почти затухая, и снова вспыхивал, когда затягивался курящий.

Утром на проводы Токтара и его товарищей собрался весь аул. Над пятачком перед колхозной конторой, откуда уезжали призывники, стоял женский плач, женщины просили призывников вернуться живыми и невредимыми. Старики, как люди бывалые, давали советы парням, желали скорой победы. Я вместе с ребятами шнырял в толпе, видел и бабушку, и маму, а вместе с ними младших братьев и сестру.

Да, на проводы собрался весь аул, и только не было здесь моей старшей сестры Назиры. Боясь расстроить маму, она кружила вокруг нашего дома, делала вид, будто занята по хозяйству.

Вот уже все призывники, кроме Токтара, забрались на арбу, вот уже возница тронул коней, а Токтар все медлил, посматривая, не идет ли Назира. Отчаявшись, он вырвался из объятий своей матери, подбежал ко мне и жарко шепнул:

— Передай Назире: пусть меня ждет. Я вернусь!

На глазах у лихого джигита — у нашего кумира — стояли слезы. Заметив мое недоумение, Токтар провел ладонью по глазам и виновато сказал:

— Бывает! Ну, прощай, Канат!

В этот момент мы увидели сестру Назиру. Она не удержалась, подошла поближе. Токтар махнул ей рукой и побежал за арбой.

После гибели Спатая, после того как нам запретили даже близко подходить к одинокой яблоне, ребята стали играть возле старого клуба. В тот летний день, который мне так ясно запомнился, мы тоже играли в альчики в тени этого уже обветшавшего строения. И так увлеклись своим занятием, что не заметили появления Ажибека.

Обычно в его присутствии мы не рисковали доставать из карманов альчики или бегать за мячом. С тех пор как у Ажибека убили отца, он стал невыносимо вредным, мешал нам играть, отнимал мяч и альчики. Мы плакали, а ему это почему-то доставляло удовольствие, словно было легче от наших слез.

Самые отчаянные из нас бросались на обидчика с кулаками, но куда там, — Ажибек расправлялся с ними шутя. Кое-кто жаловался на него взрослым. Да некому было дать ему хорошего тумака. В ауле остались старики и женщины, а их Ажибек не боялся. Он легок и скор, как порыв осеннего ветра. Попробуй догони такого шалопая! Он пользовался безнаказанностью и делал с нами все, что хотел.

Мы остерегались Ажибека, играя, то и дело поглядывали по сторонам, и все же в тот день прозевали его. А он, словно ястреб на цыплят, выскочил из-за угла, сгреб все наши альчики и, засунув их в карманы штанов, зашагал по улице безжалостный и сильный.

Мы побежали за ним, цепляясь за подол его рубахи, умоляя вернуть наши альчики. Ажибек улыбался во весь свой большой губастый рот, обнажая крепкие белые зубы, очень довольный собой, и продолжал победное шествие по улице. Когда же мы ему в конце концов надоели, он смазал одному-двум по затылку, с поддельным возмущением произнес:

— Вот привязались! Не дают погулять мирному человеку. Вам что от меня нужно? Альчики? Ах, альчики! — В голову ему пришла новая пакостная мысль. Он сунул руку в карман, извлек один альчик. — И вправду есть альчики. Ну, если так, я, конечно, их должен вернуть. Этот альчик чей?

— Мой! Мой! — обрадованно закричал Самат и потянулся за своей игрушкой.

Ажибек плюнул на альчик и протянул его владельцу. Самат, как обжегшись, отдернул руку, на глаза его навернулись слезы.

— Ах, ты не хочешь взять свой альчик? Он уже тебе надоел? А зачем ты тогда морочил мне голову? Ну уж нет, теперь я заставлю тебя забрать, — притворно возмутился Ажибек и, схватив Самата за шиворот, силой засунул альчик в его карман.

Оскорбленный Самат заревел и побрел домой.

— Иди, иди! Можешь жаловаться хоть самому богу! — закричал ему вслед Ажибек. — Ишь, стоило мне подержать его паршивый альчик, и он уже брезгует им! Слышишь, не смей теперь подходить к ребятам! Ты недостоин их! И вы не вздумайте с ним играть. Если увижу, вздую так, что долго будете помнить!.. А этот чей? — спросил он, достав второй альчик.

— Мой, — осторожно сказал мальчик по имени Батен, его голову только выбрили, и она сияла на солнце.

— Ай, какой у тебя хороший лоб! Как зеркало! Ну-ка, подойди ко мне, я на тебя посмотрю, — с притворной лаской позвал его Ажибек.

Когда простодушный Батен, решив, что гроза миновала, приблизился к Ажибеку, тот неожиданно щелкнул его по голове. Дын-дын!

Что было, то было. Мы тогда со смеху чуть не попадали, у Батена повлажнели глаза, но он сдержался, не заплакал, только потер лоб и насильно растянул в улыбке губы, делая вид, будто ему тоже смешно.

— Маладес! — похвалил Ажибек по-русски. — Возьми! — и вернул Батену альчик.

Так он роздал остальные альчики, сопровождая это насмешками, пинками и подзатыльниками. А кое-кому пришлось поползать в пыли, отыскивая брошенный альчик.

Потом Ажибек снял застиранную рубаху, лег животом на траву и приказал:

— Эй вы, недотепы! Что-то спина расчесалась сегодня! А ну-ка сделайте мне «жыбыр-жыбыр»!

«Жыбыр-жыбыр» — недавняя придумка Ажибека. После черной бумаги на его отца с Ажибеком что-то случилось, на него напал сильный зуд, он чесался, раздирая кожу ногтями, так что было страшно смотреть. Видавшие виды взрослые говорили, будто виной тому расстроенные нервы, будто так его потрясла проклятая черная бумага. Словом, Ажибек себе места не находил, драл кожу ногтями до крови. Или вырывал пучок травы и тер им свое тело. Но добраться до спины он, естественно, не мог, вот он и приспособил нас, ребятишек. Это и называлось у него «жыбыр-жыбыр».

Так и сейчас мы нарвали траву и стали чесать его спину, плечи и шею. А он блаженно кряхтел, приговаривал:

— Еще… еще… Немного повыше… пониже…

И мы делали ему «жыбыр-жыбыр», стараясь перещеголять друг друга.

— Маладес… маладес… — похваливал он самых ретивых.

А для нас, казалось, не было большего счастья на свете, чем похвала Ажибека! Мы боялись, страдали от него и вместе с тем обожали за силу и бесстрашие. И кроме того, эта похвала как бы наделяла маленькой властью. Отмеченный ей, пользуясь покровительством Ажибека, уже сам покрикивал на других. И к месту и не к месту.

— Ребята, чем вы занимаетесь? — услышали мы будто бы голос с неба и от неожиданности вздрогнули.

Над нами возвышался председатель колхоза Нугман на своем рыжем мерине.

Мы побросали траву, Ажибек не спеша перевернулся и сел, скрестив ноги.

— Чешется все, ну и они сделали мне «жыбыр-жыбыр», — важно пояснил Ажибек.

— «Жыбыр-жыбыр», говоришь? Это интересно, — и я впервые увидел усмешку на губах Нугмана. — А если чесотка у тебя? Ты ведь их заразишь.

— А они что? Святые? Лучше меня? — обиделся Ажибек.

— Нельзя только думать о себе, Ажибек, и жить за счет других. Так все равно свое счастье не построишь. Ты старше этих ребят и потому, наоборот, должен заботиться о них, учить всему хорошему.

— А я и так учу этих недотеп. День и ночь им твержу: уважайте старших! А кто не слушает, того — по шее.

И трудно было понять: всерьез говорит Ажибек или смеется над председателем.

— Не нравятся мне твои рассуждения, парень. «По шее»! Не в ту сторону тянешь. А ну-ка давай поговорим, — предложил Нугман, тяжело слез с коня и сел рядом с Ажибеком.

В этом было что-то необычное, — вечно занятый председатель тратил на нас бесценное время да еще собирался обсуждать наши ребячьи отношения. Ажибек тоже забеспокоился, отсел от Нугмана подальше. На всякий случай.

— Не бойся, я не кусаюсь, — председатель снова улыбнулся, на этот раз по-доброму и как-то грустно, словно ему стало очень жаль Ажибека.

А тот не любил, когда его жалели. Бывало, посочувствуешь, спросишь его: «Ты почему хромаешь? Упал, да? Пойдем к моей маме, она тебе примочку поставит». А он тебе: «Катись отсюда, пока я тебе самому не выдернул ноги!»

Вот и сейчас Ажибек рассердился и дерзко сказал:

— Ха, чтоб я да боялся каждого встречного? У меня не заячье сердце! Нет уж! А чего мне вас пугаться? Чего? Ну, поколотите, намнете бока, а потом я вырасту и поколочу вас раз в десять сильнее. Вы же тогда будете старым и слабым!

Мы похолодели: ну, сейчас Нугман огреет наглеца камчой, но тот рассмеялся, добродушно ответил:

— Дорогой мой, ты ошибаешься дважды. Во-первых: бить тебя я не собираюсь. Человек — не лошадь, его камчой не научишь. Да и с лошадью лучше обходиться без камчи. А во-вторых: когда ты подрастешь, станешь думать совсем по-иному. Да и счеты тебе не с кем будет сводить. Вряд ли я дотяну до этого времени. Мне бы дожить до конца войны. А после и помереть не страшно.

— А как по-вашему, когда она закончится, война? — спросил Ажибек, живо придвигаясь к Нугману.

— Этого никто не знает. Но, наверное, скоро. Наши гонят врага. Тот уже ничего не может поделать. Вышибли мы дух из него!

— Ну, тогда вам невыгодно, чтобы она быстро закончилась, — предположил Батен.

— Это почему же? — удивился Нугман.

— Тогда вы скорее умрете. Вы же сами сказали: закончится война и тогда сразу помрете.

Все засмеялись, а Ажибек пожаловался Нугману:

— Вот видите! Ну, как еще обращаться с такими глупцами?

— Он меня неправильно понял, — заступился Нугман за смущенного Батена. — Да и если бы все было так, я бы все равно желал скорой победы. Ну что ж, что меня не будет? Главное — знать, что наступит пора, когда вы избавитесь от чесотки и других болезней. Будете сыты, одеты. А что еще человеку надо, если счастливы дети?

— Если бы мне сказали: мы дадим тебе съесть белого хлеба сколько захочешь, но потом ты умрешь, я бы согласился, даже бы не думал, — бесстрашно сказал Ажибек.

— И сколько бы ты смог съесть хлеба за один раз? — спросил Нугман, подмигивая нам.

— Килограмм!.. Два!.. — азартно воскликнул Ажибек.

— И всего-то?! Ну, ради этого не стоит жертвовать жизнью. Потерпи только месяца полтора. Вот соберем хлеб, тогда приходи ко мне домой. Я попрошу своих женщин, чтобы поставили для тебя полную печь белых булок!

— Полную печь?! Ух ты! — возликовал Ажибек.

— Только у меня к вам, ребята, одна просьба.

— Говорите! Мы все сделаем! И пусть только кто-нибудь попробует отказаться, — пригрозил Ажибек, хотя и знать не знал, о чем поведет речь председатель.

— Бегаете вы по улице целый день, и никому от этого никакой пользы. А между тем война-то идет очень тяжелая. И вы бы смогли помочь вашим отцам и старшим братьям.

— Да нас же никто не пустит на фронт. Скажут: маленькие еще, — пожаловался Батен.

— И правильно скажут, — согласился Нугман. — Но вы можете помочь здесь, в колхозе. Не велика работа — поле от сорняка избавить. А хлеба соберем больше. А соберем хлеба больше — воинов лучше накормим. Легче воевать им будет.

— Лично у меня, — вмешался Ажибек, — теперь никого нет на фронте. Мне некому помогать. А вот у них, — он указал на нас, — у кого отец, у кого брат или дядя. У Каната — Токтар, тоже будущая родия. Но они же об этом не думают. Не отбери у них альчики, будут с утра до вечера играть.

— Есть ли свои на фронте, нет ли — не имеет значения. Все, кто там, за нас воюют, наша родня, — возразил Нугман. — Давайте договоримся, ребята: с завтрашнего утра пусть каждый возьмет по серпу и выйдет полоть сорняки. За это колхоз обязуется кормить вас горячим обедом.

— Каждый день? — не поверил Асет.

— Каждый день мясная похлебка, — уточнил Нугман.

— Тогда пойдем! Ура! — закричали мы все в один голос.

— Значит, договорились? — переспросил Нугман, очень довольный нашим согласием.

— Договорились! Договорились!

— Тогда вашим бригадиром назначаю Ажибека, — сказал председатель, поднимаясь.

Ажибек вовсе заважничал, словно делал нам всем одолжение, ступая по одной с нами земле. А Нугман, точно ему и этого было мало, добавил еще:

— Ну, бригадир, а ты должен вылечить свою чесотку. Возьми сегодня же коня, съезди в больницу в Коныр.

Он начеркал записочку бригадиру Байдалы, распорядился выдать коня и вместе с запиской протянул Ажибеку пятьдесят рублей.

— Купишь себе лекарства.

— Ну, видели, недотепы, как разговаривал со мной председатель? — победно спросил Ажибек, когда Нугман уехал. —

Теперь вы должны почитать меня как старшего брата и выполнять все мои приказы. Ты, Кайрат, и ты, Самат, принесете мне в дорогу курта и иримшика. Возьмете дома или у старой Казимы. Сама она, конечно, не даст. Но я видел, что у нее рядом с дверью сушится курт. Можно незаметно стащить. А ты, Канат, ступай с запиской к старику Байдалы, приведешь коня.

Гордясь таким ответственным поручением, я побежал по аулу, размахивая листком словно знаменем; нашел бригадира Байдалы возле кузницы и вручил записку Нугмана. Старик Байдалы взял записку, повертел ее и так и этак и вернул мне.

— Ну-ка, прочти. Хочу посмотреть, чему ты научился в школе.

Старик Байдалы не умел читать, но скрывал свой недостаток, хотя о нем знал весь аул.

— «Байеке, — читал я, — дай Ажибеку на сегодня коня. Пусть съездит в Коныр, в больницу, покажется врачам и возьмет себе лекарство. Нугман».

— А ты тут при чем? — удивился старик Байдалы. — Тут что сказано? Выдать коня Ажибеку. Не тебе — Ажибеку, понял?

— Ажибек меня послал. Он там ждет, — я махнул рукой в сторону клуба.

— А ты что? Не понимаешь слова «сам», голова твоя тыквой! — рассердился старик Байдалы. — Ему нужен слуга! Посмотрите, какой бай нашелся! Иди скажи Ажибеку: хочет получить лошадь, пусть придет сам!

Представьте, человек радуется, в нем все поет, оттого, что ему доверили важное дело, и вдруг его окатывают холодной водой. Так же стало и со мной после отказа Байдалы. Я сник, понуро побрел к Ажибеку.

А он в это время запихивал в необъятный, растянутый карман пиджачка курт и иримшик, добытые Кайратом и Саматом. Заикаясь, стыдясь смотреть в глаза своего бригадира, я передал слова старика Байдалы.

— Эх ты, тряпка! — презрительно сказал Ажибек. — У тебя в руках документ, записка самого председателя, а ты развесил уши перед каким-то Байдалы. Ты показал ему записку или нет?

— Я ему прочитал, а он…

— Так что же тебе еще? Надо было зайти в конюшню и взять самого лучшего коня. Э, видать, из тебя никогда не выйдет настоящий мужчина. Если я ошибусь, отрежешь мне нос. Дай сюда записку!

Он ушел на конюшню и вскоре вернулся на сером коне самого Байдалы. Скакун был без седла. Ажибек только успел набросить уздечку. За ним с криком гнался хозяин скакуна, размахивал палкой, от ярости готовый разнести на куски и землю, и небо.

— Стой! Я тебе говорю, щенок! — завопил старик Байдалы, запыхавшись. — Остановись, пока цел! Или я за себя не отвечаю… Проклятье! Ему мало на конюшне других коней. Так нет, он взял именно того, на котором я езжу! Остановись, негодник! Кому говорю?

— Баке, то, что тебе не дают, приходится искать на дороге. Разве этого коня вам оставил ваш отец? Это колхозный конь, общий! Вы — бригадир, и я — бригадир, значит, я тоже имею право ездить на этом коне? — возразил Ажибек.

— Он бригадир! Слышите, что говорит этот щенок?

— Меня сам председатель назначил! — И Ажибек, как бы подтверждая свои права, ударил серого пятками.

Жеребец всхрапнул и пошел легким галопом.

— Голова твоя тыквой! Возьми седло! Собьешь жеребцу спину! — горестно закричал старик Байдалы.

— Не собью! Я легкий! — пообещал Ажибек. — Смотрите: отважный батыр отправился за красавицей в Акжайык. За такой, как Кыз-Жибек у Тулегена![12]

Он повернул серого на дорогу, ведущую в районный центр Коныр, огрел его пятками и скрылся из глаз.

А старик Байдалы начал с новыми силами клясть Ажибека, грозить ему всевозможными карами.

— У, голова твоя тыквой! Будь проклята земля, которая тебя носит! — ругался он и пинал сухие твердые кочки носком сапога. — Ну, погоди, только вернись! Я тебе покажу!.. — И вдруг, как-то разом утихнув, спросил: — Эй, это правда, что записку написал сам председатель?

— Мы видели это сами, — подтвердил Самат.

— Он вот там стоял и писал, где Канат, — уточнил Кайрат.

— Да, да, мы это видели, — подтвердили остальные.

Старик Байдалы уставился на указанное место, стараясь представить пишущим записку председателя Нугмана. Удостоверившись в том, что так и было на самом деле, он миролюбиво пояснил:

— Ведь мне обидно. Я сам на серого не садился. Пусть, думаю, отдохнет, наберется сил перед сенокосом. Там-то ему не будет покоя. Мне серого жаль.

Высказавшись, старик Байдалы пошел назад, в кузницу, а мы, собравшись в кружок, принялись обсуждать поступок Ажибека. Нас восхищала ловкость, с которой он похитил коня из-под носа у бригадира Байдалы. Каждый вспомнил какие-то новые детали этого похищения. Нам не терпелось узнать, как съездит Ажибек в Коныр и чем закончатся его похождения. Его поездка казалась нам увлекательной историей, вроде тех, о которых пишут в книгах или рассказывают старики и старухи. Мы забросили игры и смотрели во все глаза на дорогу, идущую из Коныра. Даже обедать никто не пошел, боясь пропустить что-нибудь важное. Мы проглядели все глаза, дежурили до самого захода солнца. Но Ажибек так и не появился. А потом за нас взялись взрослые, разогнали всех ребят по домам.

Утром меня разбудила бабушка:

— Проснись. Тебя зовут.

В окно в самом деле стучали. Кто-то, а кто именно, я спросонья не узнал, барабанил в стекло и кричал:

— Вставай, Канат! Выходи на работу!

Я разом вспомнил вчерашний разговор с председателем и вылетел из постели. Мать и Назира были уже в поле.

Наскоро проглотив завтрак, приготовленный бабушкой, я набросил куртку, схватил в передней серп и помчался на пятачок. Здесь уже собрались почти все ребята, и у каждого в руке поблескивал серп. И перед ними, как и положено командиру, прохаживался сам Ажибек, руки за спиной, взгляд зоркий, придирчивый. Это он, оказывается, ходил по домам, поднимал членов бригады. Его-то, выходит, я и не узнал со сна.

Пока подходили опоздавшие, мы попросили Ажибека рассказать о поездке в Коныр. Ажибек вначале важничал, говорил, что сейчас не время, но затем не выдержал, ему самому не терпелось поведать о своих похождениях.

— Приехал я в Коныр, — начал Ажибек, — и думаю, а зачем мне к доктору идти? Что я, с ума сошел, что ли? Придешь — сразу в больницу уложат. Им бы только лечить. Пойду-ка лучше в магазин. Зашел в магазин, а там сахарный песок продается. А в кармане у меня пятьдесят рублей на лекарства. Шевельнешься, и слышно, как шелестят. Эх, вместо того чтобы лекарства горькие покупать, думаю, куплю-ка лучше сахара. Достал пятьдесят рублей и на все купил песка. Полные набил карманы. Ну, а после этого что делать в Коныре? Отправился я домой, по дороге заехал в лощину, стреножил серого поводьями и начал есть сахар. Иримшик и курт я еще, когда ехал туда, съел. Поел, напился воды и лег на траву. И заснул. А когда проснулся, смотрю, уже темно. Я сел на коня — и в аул. Хороший был сахар! Возьмешь его в рот целую горсть, а он хрустит словно талкан. По-моему, крупинки в кармане остались. Сейчас посмотрим. Ээ, только подставьте ладони.

Он вывернул карманы пиджака, и на подставленные наши ладони упали сверкающие кристаллики сахара. Мы положили их на язык и убедились в том, что Ажибек рассказал нам чистую правду. Сахар и в самом деле был очень вкусен.

— Ажибек, а если Нугман спросит: купил ты лекарство или нет? — напомнил с тревогой Асет.

— Я это учел, — ухмыльнулся Ажибек. — Покажу ему вот это, — и он достал из-за пазухи пузырек, набитый какой-то бело-желтой смесью. — Мел, смешанный с песком. Скажу, вот лекарство, которое купил в Коныре.

И тут, легок на помине, со стороны конторы появился председатель колхоза.

— Готовы, ребята? — весело спросил Нугман, подъехав на своем неизменном рыжем мерине.

— Готовы! — ответил за всех Ажибек.

— Тогда ступайте в Жарбулак, к озимым посевам.

— Пешком? — испугался Кайрат.

— В Жарбулак далеко, — дружно заныли мы, и только Ажибек помалкивал, будто его это не касалось.

— Да разве для вас это расстояние? — изумился Нугман. — Да вы по улице гоняете больше раза в два! Ничего, ноги у вас крепкие, молодые, не устанете. А в обед вам привезут мясную похлебку.

Ажибек, а ты что стоишь? Командуй своей бригадой! Да, кстати, в больницу ездил?

— А как же.

— Лекарство взял?

— Взял. Вот смотрите, — и Ажибек показал пузырек с песком и мелом.

— Вижу. Только делай, как велели врачи. А теперь веди своих орлов.

Мы ждали, что скажет наш непреклонный Ажибек, уж он-то вряд ли захочет тащиться в Жарбулак. Но к нашему разочарованию, Ажибек строго прикрикнул:

— Ну, что ждете, лентяи? За мной в Жарбулак! — и браво зашагал посреди улицы.

Мы уныло побрели за своим бригадиром. Когда аул скрылся из вида, исчез за холмом, Ажибек остановил свой отряд и посетовал:

— Какая несправедливость! Такому бригадиру и такой попался глупый народ! Где вы видели, чтобы в горячую пору председатель направо-налево раздавал подводы? «Далеко, далеко»! — передразнил он нас. — Конечно, далеко. И я не собираюсь топать пешком. Но тут нужна умная голова, недотепы: вон видите быков?

Мы увидели четверку быков, как только перевалили через холм. Тут же рядом маячил на коне глухой Колбай. То есть он не был совсем глухим, он только плохо слышал, но по этой причине его не взяли на фронт, и он оказался единственным здоровым мужчиной на весь колхоз.

— На этих быках мы поедем в Жарбулак, — возвестил Ажибек, обводя нас торжествующим взглядом.

— Колбай умрет, а быков не отдаст, — жалобно возразил Самат.

— Отдаст, если найти к нему верный подход, — уверенно отпарировал Ажибек.

Он снял свою мятую кепку и помахал глухому Колбаю, позвал его.

Скучавший в одиночестве пастух с любопытством следил за нашей оравой. Заметив сигнал, глухой Колбай стегнул коня и прискакал к нам почти в одно мгновение.

— Многих вам лет! — почтительно приветствовал его Ажибек.

— Что ты сказал? — переспросил глухой Колбай и повернул к Ажибеку ухо.

Тот подошел вплотную к коню пастуха и крикнул:

— Я говорю, многих вам лет!

— И тебе тоже, — ответил довольный Колбай. — Что надо?

— Бригадир Байдалы велел передать, чтобы вы приехали к нему в аул!

— А?

— Вас Байдалы зовет! — закричал Ажибек изо всех сил.

— А что же делать с быками? Кто их станет пасти? — удивился глухой Колбай. — Нет, я не пойду.

— Да что их, волки съедят, быков? Сами пастись будут. Такие смирные быки, — сказал Ажибек.

— Смирные. Без меня никуда не уйдут, — подтвердил глухой Колбай, гордясь быками. — Ладно, съезжу к Байдалы.

Пастух окинул свое маленькое стадо оценивающим взглядом и, словно уверившись в том, что быки так и будут пощипывать траву до его возвращения, повернул коня в аул, затрусил по дороге, мешковато сутулясь в седле.

Как только глухой Колбай исчез за холмом, мы взгромоздились по двое, по трое на быков и помчались наперегонки в Жарбулак. В животах наших неуклюжих скакунов что-то громко ухало. Подъехав к полю с озимой пшеницей, мы спешились и, развернув быков, ударами прутьев отогнали их в сторону пастбища. В надежде, что они сами туда вернутся.

Потом Ажибек отмерил шагами участки и, поделив их между нами, предупредил:

— Смотрите у меня, работайте добросовестно. Тех, кто вздумает хитрить, тут же вздую!

После этого он соорудил в сторонке шалаш, связав ветки кустарника, сделал себе подстилку из травы и укрылся от солнца. Временами Ажибек высовывал голову из шалаша и покрикивал:

— Эй, не зевать! Работайте поживей! Помните, что сказал председатель: фронту нужен хлеб!

— Взял бы и сам показал, как надо полоть, — заворчал Асет. — Командовать каждый умеет.

— Ты же слышал сам. У него на фронте никого нет, — возразил Кайрат. — А командовать так ты разве сумеешь?

— Не сумею, — признался Асет.

Хлеб вырос до пояса, уже колосился. Ветер гонял по полю, точно по воде, длинные мягкие волны. Но сорняки были еще бойчее, поднялись еще выше. Лебеда, бурьян и коровьи метелки торчали повсюду, куда ни кинь взгляд. Всем своим видом они дерзко вызывали нас на бой: «А ну попробуйте справьтесь!» И мы, размахивая серпами, точно саблями, бросались вперед и секли их, секли. Но на смену им шли новые полки. Мне показалось, будто перед нами фашисты, а где-то рядом со мной дерется Токтар. И я рубил их, помогая Токтару.

Так неистово воюя, мы очистили от врага уже значительную часть поля и были готовы бороться дальше, но наш азарт прервал тревожный голос Ажибека:

— Эй! Бегите! Бросайте работу! Прячьтесь!

Я оглянулся и увидел, как Ажибек выскочил из своего укрытия и нырнул в пшеницу, залег. А по дороге к полю во весь дух, настегивая лошадь, несся глухой Колбай. Мы мгновенно, как перепелки, разбежались по полю, попрятались в высокой пшенице.

Глухой Колбай вихрем подлетел к краю поля, но въехать в пшеницу не решился и минут двадцать ездил вдоль по дороге, ругаясь и угрожающе размахивая камчой. Мы лежали, не откликаясь, ничем не выдавая себя, как будто нас и не было вовсе. Глухой Колбай, видно, так и подумал, разочарованно сплюнул и отправился к своим быкам.

Мы насмеялись до колик и снова ринулись в атаку на сорняки.

К полудню подоспел и обещанный обед. Его привезли на арбе с быком в упряжке. Арбу сопровождал сам бригадир Байдалы. Он придирчиво осмотрел нашу работу и остался доволен.

— Что ж, пока неплохо, — нехотя признал старик Байдалы. — Но поживем, поглядим, что будет дальше. А теперь обедать!

Звать нас лишний раз ему не пришлось, мы быстро расселись возле шалаша, построенного Ажибеком, и старик Байдалы весело приказал поварихе:

— Наливай им досыта! Не жалей похлебки!

— И непременно с мясом, — строго добавил Ажибек.

Старик Байдалы взорвался так, словно его ударили по больному зубу, словно задели его мужскую честь.

— А, голова твоя тыквой, мяса захотел? А камчи не хочешь? — закричал старик Байдалы и замахнулся на Ажибека.

Того как сдуло с места сквозняком. Ажибек проворно отбежал на безопасное расстояние и спокойно ответил:

— Нет, камчи не хочу. Нам обещали похлебку из мяса.

— А ну, подойди, я тебе покажу мясную похлебку! — распалялся старик Байдалы. — Твои проделки перешли все границы! Вчера серого загонял, теперь у него не спина, а кровавая рана. А сегодня? Что ты наделал сегодня? Глухого человека обманул! На быках скачки устроил! Мы дали им отдохнуть. Бедняги устали зимой да весной. А ты что с ними наделал?

— Зато мы раньше приехали и вон сколько успели сделать. И потом, я что? Один на быках ездил? — возразил Ажибек, боясь остаться без похлебки.

— Ты еще смеешься надо мной? Если бы не ты, разве им пришло в голову такое? У, палач, нет уже сил выносить твои издевательства!

Старик Байдалы не удержался, вскочил на ноги, но поймать Ажибека ему так и не удалось. Рассвирепев вконец, он взял чашку с похлебкой, предназначенной Ажибеку, и вылил содержимое в котел.

— Он у меня не только похлебки, но и воды простой не получит! Я его лучше голодом уморю, но он Байдалы навсегда запомнит!

Старик Байдалы свое слово сдержал. Мы съели по две миски горячей пшеничной похлебки, а наш предводитель сидел, пригорюнившись, в стороне и смотрел голодными глазами. Потом старик Байдалы и повариха собрали посуду и поехали кормить косарей.

Мы, сытые, с туго набитыми животами, смущенно приблизились к голодному Ажибеку, виновато опустили головы. Как бы ни валил старик Байдалы всю вину на плечи нашего бригадира, но мы-то тоже джигитовали на быках, а отдуваться пришлось одному Ажибеку.

— Ну вот что: кончай работу! — приказал Ажибек и сквозь зубы добавил: — Я покажу старому черту, чего она стоит, миска похлебки. С мясом!

Мы недоуменно молчали, чувствуя, что наш предводитель все же в чем-то не прав, но еще не зная, в чем именно.

Первым догадался Асет.

— Ажибек, — сказал он осторожно, — но ведь хлеб не Байдалы нужен, а фронту. Ты же сам говорил. И председатель тоже.

— Говорил, говорил, — поддержали все остальные Асета.

— Ну и что? А сейчас совсем другое дело. А-а, вы все равно не поймете. В общем, я запрещаю полоть. Садитесь рядом со мной… Ну, кому говорю?

Мы не работали, боясь ослушаться Ажибека, но и не подчинились ему до конца, продолжали стоять.

— Ну и стойте, если не жалко ног, — махнул рукой Ажибек.

В таком положении нас и застал Нугман. Он остановил своего неторопливого мерина и спросил:

— Э, что с вами ребята? Еще издали вижу: стоят. Подъехал — тоже стоят.

— Мы обиделись, — пояснил Ажибек. — До обеда вон сколько сделали. А потом у нас пропало всякое желание трудиться.

— А что случилось? Кто вас обидел? — забеспокоился Нугман.

— Ну, во-первых, в похлебке не было мяса. Сплошная вода. А во-вторых: старик Байдалы не дал мне обеда. Я голоден как волк. И даже сильнее.

— То есть как не было мяса? — нахмурился Нугман. — Я же выделил для вас целую ляжку барана.

— Если не верите мне, честнейшему из честных, спросите у них, — оскорбился Ажибек.

Мы подтвердили, что Ажибек не ел, а в похлебке не было и кусочка мяса.

— Ладно, я разберусь, — пообещал Нугман. — Ажибек, а ну-ка садись позади меня, поедешь со мной. А вы, ребята, беритесь за дело. Я вашего бригадира долго не задержу.

Мы не успели и глазом моргнуть, как наш предводитель очутился на лошади председателя. Лицо его сияло, от недавней злости не осталось и следа.

— Дабай, дабай за прополку! Сколько можно повторять! У у, лентяи! — закричал он привычным командирским тоном.

Нугман тронул лошадь, и они уехали в ту же сторону, куда отправился с обедом Байдалы, в бригаду косарей.

Вернулся Ажибек действительно скоро, часа через полтора. Мы сбежались к нему со всего поля.

— Очень большую проделал работу. И похлебки наелся. И снял с должности Байдалы, — сообщил Ажибек, важничая. — Это он запретил кормить нас мясом. Не заслужили, говорит. Председатель

пристыдил его при всем народе. «Они дети», говорит. В общем, разнес старика Байдалы. «Снимем, говорит, тебя с бригады. И за это самоуправство, и за другое. Сегодня у нас общее колхозное собрание, говорит, вот мы тебя и накажем. Мы, говорит, никому не позволим оскорблять Ажибека!».

К вечеру у меня с непривычки болела спина, дрожали от усталости ноги. И у других ребят вид был не лучше. Возвращаясь в аул, мы только и говорили о том, как бы добраться до постели да поспать. Но, завидев у колхозного клуба толпящийся народ, тотчас вспомнили о собрании, о котором говорил Ажибек. И усталость нашу как рукой сняло. Чтобы этакое важное событие обошлось без нас? Нет, такого еще не бывало! Ведь не каждый день снимают с должности старика Байдалы!

Мы проникли в тесный зрительный зал, расселись на соломе за спиной у взрослых, в дальнем углу, и, пока собирались колхозники, шумели, боролись, срывали кепки с головы друг у друга, в общем, разве что только на руках не ходили.

— Эй, там, в углу! Ребята, это я вам! Если уж вы сюда попали, соблюдайте тишину! — одернул нас председатель Нугман, и собрание началось.

Поначалу колхозники обсудили предстоящий сенокос, а потом перешли к «организационным вопросам». И тут поднялась страшная перепалка. Люди кричали на старика Байдалы, говорили, что он ни с кем не считается в бригаде, вершит дела один, точно бай. Старый бригадир не сдавался, говорил, что делает это для общего блага и будет так себя вести и впредь. Тогда собрание рассердилось вконец и сняло старика Байдалы с бригадирства, а на место его назначило мою маму. Для нее такой поворот оказался полной неожиданностью. Она растерялась, замахала руками.

— Что вы, что вы! Я не справлюсь, — залепетала мама.

— Справишься! Справишься, Багила! — зашумел народ и поднял руки, голосуя.

Кто-то сжал мой локоть. Я обернулся. Это был Ажибек.

— Молодес! — шепнул он по-русски.

Я не понял, кого Ажибек назвал молодцом. Маму или меня за то, что я был ее сыном.

Из клуба я вышел вместе с матерью и председателем колхоза.

— Нугман-ай, — сказала мама, — и все-таки напрасно избрали меня. И опыта нет, да и здоровье после смерти мужа подорвалось. То сердце болит, то спина. Ох, не справлюсь, боюсь.

— Женгей-ай, — почтительно сказал председатель, так называют жену старшего брата, — Женгей-ай, а кто работает от избытка здоровья? Для нас с вами лучшее лекарство такой труд, когда и о болезни подумать-то нет времени. Так что не бойтесь, с людьми ладить вы умеете, а опыт к вам скоро придет.

Вскоре мы втянулись в работу. Мышцы привыкли к тяжести серпа. Не иссяк и наш азарт, — мы с прежним неистовством набрасывались на полчища сорняков, подзадоривали друг дружку, хвастались, кто сколько уничтожил фашистов, пололи зло и весело. Глядя на нас из своего шалаша, Ажибек постепенно пропитался завистью и однажды, когда мы расходились после рабочего дня, сказал Кайрату небрежно:

— Вот что, принесешь завтра два серпа.

И, чтобы никто не подумал, что он сдался, уронил свое бригадирское достоинство, добавил:

— Хочу показать вам, бездельники, на что способен серп в руках умелого человека.

Председатель Нугман частенько навещал нас, хвалил, осмотрев очередной прополотый участок:

— Хорошо!.. Молодцы!.. Вот и вы внесли свою долю в нашу победу над врагом! Кто скажет, что было не так? Никто не посмеет! Милые мои ребята, это тоже называется гражданским долгом! Да, да, вот такая скромная, на первый взгляд, работа тоже!

После его похвал мы трудились с возросшим рвением. Да и Ажибек не давал нам спуску, и стоило кому-нибудь остановиться на долгое, по его мнению, время, как он тут же грозил кулаком.

Через месяц Нугман сказал:

— Ну что ж, дело свое вы сделали, спасибо вам, друзья! Теперь денек отдохните, а послезавтра на сенокос! Помогите еще колхозу!

Придя домой, я решил, что буду отсыпаться весь выходной, но утром проснулся рано и, наскоро перекусив, выбежал на улицу.

— Куда тебя понесло? Друзья твои спят. Ты один такой беспокойный, — заворчала бабушка. — И откуда только у козявки силы берутся?

Но бабушка ошиблась. Истосковавшись по играм, ребята один за одним выходили на пятачок перед клубом. И вскоре бригада оказалась в полном составе. Не хватало только нашего предводителя. Он пришел в середине дня. К его появлению мы уже успели сразиться в альчики, всласть побегали за мячиком и теперь воевали, разбившись на «красных» и «белых».

— А ну-ка, недотепы, все ко мне! — позвал он басовитым от сна голосом.

Со щеки его еще не сошел след подушки, в свалявшихся волосах застряло перо. Он сладко, со стоном зевал.

— Ну, наконец ваш бригадир отоспался, — возвестил Ажибек, считая, что все, что связано с его личностью, является для нас невероятно важным. — Эй, Кайрат, принеси чайник воды. Я умоюсь!

Умываясь, он брызгал в нас водой и с наслаждением хохотал, когда мы разбегались в разные стороны. Однако настроение Ажибека менялось подобно осенней погоде, резко и вдруг. Вот и сейчас невидимый ветер пригнал на его лицо хмурую тень.

— Что же получается, толстопятые? Стоило мне позволить себе поспать больше обычного, и вы снова взялись за свое. Верно говорят взрослые: вам бы только одежду друг у друга рвать! — грозно произнес Ажибек, утираясь подолом рубахи.

Он обличал, а мы понуро помалкивали, признавая его правоту. Кожа на наших босых пятках и вправду была толстая. И одежда жалобно трещала во время схваток в пыли. Мы уныло внимали, и каждый покорно ждал, что именно ему достанется оплеуха Ажибека. Но, к нашему удивлению, на этот раз он обошелся без затрещин.

— Ну ладно, — закончил Ажибек, уничтожив нас с помощью слова — после обеда приходите сюда. Пойдем покормимся дынями.

— А дыни еще не поспели. Рано еще, — робко напомнил Самат.

— Кто это сказал? Ты, вислогубый? Вот я тебе сровняю нос с лицом, тогда узнаешь, как спорить со старшим. Тоже мне агроном! Видел, хлеба пожелтели? А раз они пожелтели, то и дыням время пришло. Ну, кто со мной пойдет? Насильно не тащу.

— Я пойду, Ажибек, — вызвался первым Кайрат, его верный оруженосец.

— И я! И я! — закричали ребята.

— Я тоже, — смущенно сказал Самат.

После обеда Ажибек повел нас к старику Шымырбаю, жившему в лощине Агишки, в семи километрах от аула. Отец Токтара сторожил зимние постройки для колхозного скота. Здесь у него был свой домик, в котором он теперь, после отъезда сына на фронт, проживал вдвоем со старухой. Летом старик Шымырбай выращивал арбузы и дыни, из-за этого занятия в ауле его считали человеком странным, убивающим время и силы зря.

— Да, да, этот Шымырбай никак от старости поглупел. Каждый истинный казах прежде всего заботится о мясе, а он разводит траву, — так осуждали его за глаза и вместе с тем охотно ходили к нему на бахчу и ели арбузы и дыни. Сладкая прохладная мякоть приятно освежала пересохший от зноя рот. Ну, а мы, ребята, как только поспевали плоды Шымырбая, не вылезали из дома сторожа. Придем, бывало, с утра, и, пока делаем старикам что-нибудь по хозяйству, они выбирают для нас самые спелые, самые сочные арбузы и дыни и угощают так, словно мы их собственные любимые внуки. Это были веселые, шумные дни, славное время года.

И вот впервые в этом году мы отправились в лощину Агишки. Шли, кажется, раньше обычного, во всяком случае еще никто не слышал о том, что плоды Шымырбая созрели. Но Ажибек, наш авторитетный командир, был в этом твердо убежден, а нам на этот раз особенно хотелось ему верить.

Под нашими ногами клубилась мягкая теплая пыль. Возбужденные, подгоняемые разгоревшимся аппетитом, мы то и дело припускали бегом. И вот, когда уже солнце сместилось на запад, перед нами открылись лощина, дом Шымырбая и он сам, сгружающий сено с арбы, в которую был запряжен старый осел. Но наши глаза первым делом отыскали бахчу с зелеными полосатыми шариками арбузов.

У входа на бахчу лежали два огромных пса — рыжий и белый с черными пятнами. Почуяв чужих, собаки поднялись, угрожающе зарычали.

Старик Шымырбай обернулся и, приложив к глазам ладонь, пристально посмотрел в нашу сторону. Мы стояли над обрывом, маленькие, худенькие и босые. Такими я вспоминаю сейчас и себя, и ребят. Такими нас увидел и отец Токтара.

— Тихо! Лежать! — прикрикнул он на собак, бросил вилы, пошел нам навстречу.

— Ассалаумалейкум, ата! — вразнобой загалдели мы, сбегая с обрыва.

— Уагалайкум ассалом! — ответил старик Шымырбай, сердобольно оглядывая нас с головы до ног. — Как вы за этот год выросли! Стали большими джигитами. Эй, жена, дай нашим гостям айран! Проходите, ребята, в дом. Я тоже скоро приду, вот только сброшу сено в сарай. И тогда мы с вами потолкуем.

Но мы не тронулись с места. Нас зачаровал расколотый арбуз, лежавший на земле перед мордой осла.

Старик Шымырбай снова взялся за вилы, махнул ими раз, другой и снял тканый чапан, повесил его на дверь сарая и остался в заношенной батистовой рубахе с прорехами на локтях:

— Давайте мы вам поможем, — предложил Асет.

— Поможем, поможем! — подхватили мы, подлизываясь к хозяину бахчи.

— Ничего, я управлюсь сам, — ответил Шымырбай, закатывая рукава рубахи.

— Как бы ты не простыл. Будь осторожен, не увлекайся, — сказала ему старуха и окинула нас недовольным взглядом. — Дома натопчете. Ступайте-ка лучше под навес.

Мы бросились под навес, развалились на ветхой кошме. Здесь все нам знакомо с прошлых лет. На этой кошме мы кувыркались, дремали, объевшись арбузами. На столбах наши имена, вырезанные ножами, написанные химическими карандашами. А то, что ворчит старуха, это нас не смущает. Такое повторяется каждый раз. Поначалу она хмурится, ругает, а потом ухаживает за нами, не знает как угодить. Только в первые минуты посиди тихо, спокойно, не торопи события.

Но пока, сохраняя суровость, она вынесла из дома деревянное ведро с айраном. Ведро было полным доверху. Айран колыхался, голубел, словно весеннее небо. Его кисловатый аромат ударил нам в ноздри. Мы дружно облизнулись.

Старуха не спешила, испытывала наше терпение. Она взяла чашу с облупившейся краской, налила в нее айран и, произнеся «бисмильда» — первое слово молитвы, — пустила чашу по кругу.

То ли посуда оказалась мала, то ли мы так проголодались, да только чаша опустела мгновенно, а в наших желудках кроме голода по-прежнему не было ничего другого. Мы вернули чашу, замерли в

ожидании добавки. Но старуха сделала вид, будто накормила нас досыта, и поставила чашу рядом с ведром.

Вскоре, сгрузив сено, пришел и сам Шымырбай. Жадно выпил полчашки айрана и, повеселев, сказал жене:

— Мать, принеси письма Токтара, пусть ребята почитают нам.

Старуха ушла в дом и вернулась с пачкой писем, завернутых в белый батист. Опустившись на кошму, она бережно развязала узелок. Писем было штук восемь, свернутых треугольником. Старуха любовно погладила верхнее, словно оно было живое, теплое. Не умея читать, она завороженно смотрела на буквы. Точно вот-вот произойдет чудо, и они заговорят голосом ее Токтара.

— Сначала пришло это письмо, — пояснила старуха, очнувшись, и протянула нам верхний треугольник.

Мы передали его Самату, слывшему среди нас лучшим чтецом. Он читал без единой запинки и с выражением, как артист. Неграмотные старики и старухи всегда посылали за ним, когда приходила почта с фронта.

В первом письме Токтар сообщал, что ранен и лежит в военном госпитале. Ранение легкое, утешал он, пуля слегка поцарапала бок. Старуха уже знала письмо наизусть и все же слушала его, будто впервые, будто оно на этот раз могло открыть ей что-то новое.

— Светлячок мой… Сколько же он вытерпел? Только подумать, как больно ему, — пробормотала она, когда Самат дочитал первое письмо, и подбородок ее задрожал.

— Да погоди же, не плачь. Пусть Самат прочитаем другое, — остановил ее Шымырбай.

В другом Токтар писал, что тяжелое состояние миновало, он пошел на поправку.

— Вот чертенок, весь в меня, — одобрительно заметил Шымырбай. — Бывало, нечаянно тяпнешь по руке ножом, кровь хлещет струей. А смотришь, через дня два не видно и царапины.

— Все бы тебе хвалиться, ты готов говорить о себе целый день, — сказала старуха, вытирая глаза краешком платка.

Письма напоминали сводки о здоровье Токтара. В третьем он извещал, что уже поправился, но пока еще его держат в госпитале. В четвертом он уже поехал на фронт, набравшись сил, готовый

отомстить фашистам. В пятом Токтар уже мстил, ходил в первую атаку на окопы противника. Под градом пуль.

Услышав про это, старуха снова заплакала.

Шестое и седьмое письма тоже пришли с передовой. С тех пор минул целый месяц, но Токтар молчал. Словно между ним и родным домом оборвалась связующая нить.

К концу чтения разволновался и старик Шымырбай. Стараясь скрыть свои переживания, он поднялся с кошмы, начал хвататься за вещи, хранившиеся под навесом. Вот снял хомут и, не зная, что с ним делать, повесил на место, потрогал чересседельник, повертел мотыгой и очень удивился, обнаружив ее в своих руках.

А старуха его едва успевала вытирать слезы, горестно шептала:

— Жеребеночек мой… Где он теперь? Что с ним? Ох, недоброе чует мое сердце… ох, недоброе…

А наши думы в это время витали вокруг бахчи. По недомыслию своему мы не понимали, из-за чего так расстраиваются Шымырбай и его жена. Токтар поправился и теперь бьет фашистов. А не пишет он, конечно, потому, что все время ходит из атаки в атаку, и уж когда тут письма писать?

Погоревав, старуха пошла умылась, уже по-настоящему расстелила дастархан, положила лепешки и на этот раз налила каждому по полной чашке айрана.

— Пейте, милые мои, на здоровье. Хотите еще? — приговаривала старуха и подливала в чашки айран.

Мы опустошили ведро, съели все лепешки. И хотя наши животы стали похожими на шары, нам казалось, что это только начало начал. В конце концов мы не айран пить пришли, а есть арбузы и дыни.

— Спасибо, дети, вспомнили о нас, стариках, — растроганно сказал старик Шымырбай. — Ну, а еще какие у вас сегодня дела?

Мы недоуменно переглянулись. Какие еще могли быть дела, кроме арбузов? Неужели он забыл за это время? Обычно после айрана и лепешек он сам вел нас на бахчу, а сейчас старик почему-то не торопился и еще спрашивал про дела. Может, и вправду Шымырбай так состарился, что запамятовал о самом главном? Тогда нам следовало напомнить самим.

Но мы не знали, как это сделать, ерзали на кошме, толкали друг друга в бок, шептали:

— Скажи ты… Нет, скажи ты…

А потом вспомнили, что привел нас сюда Ажибек, и уставились на своего предводителя. Пусть он и скажет.

— Мы бы еще поели арбузов и дынь, — прямо сказал Ажибек, как говорят: «сбросил слова с верблюда».

И мы, как этот верблюд, облегченно вздохнули. А Шымырбай засмеялся:

— Так вот какие у вас дела? Да только вы поторопились, ребята. Дыни еще не поспели. Арбузы пока еще белые.

Боясь поверить ему, мы повернулись к бахче. Там, шагах в ста от нас, на вскопанной земле виднелись огромные, точно казаны, арбузы.

— Сомневаетесь? — снова засмеялся старик Шымырбай. — Ну, конечно, отсюда не видно. Ну, тогда взгляните сюда! — и он подвел нас к арбузу, в бледную сердцевину которого лениво тыкался мордой осел.

— Убедились? — спросил Шымырбай, подтолкнув ногой арбуз к нам поближе. — Бычок вчера сорвал. Ну и пришлось отдать ослу. Да и он, как видите, не очень-то ест. Разбирается!

Мы не сводили глаз с арбуза. Он казался нам достаточно красным и необычайно сладким на вид. Просто этот осел ничего не понимал в арбузах. А наш предводитель так и навис над арбузом — вот-вот упадет на него.

— Давайте условимся так: приходите дней через десять. Тогда уж арбузы будут сладкими как мед. И я вам скажу: «Ешьте сколько влезет!» Ну как? Договорились?

Но мы словно оглохли. Ажибек обещал нам арбузы и дыни, и мы все еще надеялись…

— Разве не видишь, они не верят, — сказала Шымырбаю его жена. — Сорви еще один, разрежь и покажи. Что ты жалеешь зеленый арбуз?

— Ты думаешь, что ты говоришь? — рассердился Шымырбай. — Кто же рвет незрелые плоды? Для чего же их растят, по-твоему? Они же сами потом этот арбуз спелым съедят, глупая твоя голова. Ну вот что, ребята, будет так, как я сказал. Придете через десять дней, и не раньше.

Мы поняли, что старик заупрямился и теперь его никак не переубедишь, и понуро побрели из лощины. Солнце уже сползало к

горизонту. Наши тени смешно вытянулись к горизонту. Руки болтались у теней, точно плети. Ноги переступают словно ходули. Головы стали похожи на злосчастные дыни, которых нам так и не удалось поесть. И все же мы невольно хохочем, сравнивая тени друг друга. Одну со ступой, другую с ящерицей, стоящей на задних лапах… Третью с кузнечиком-великаном… Словом, с чем только не сравниваем! Детская фантазия безбрежна!..

Поднявшись по извилистой тропе из лощины, мы разом оглянулись назад. Отсюда дом Шымырбая казался маленьким, приземистым. Дым из трубы вырывался клубками, будто кто-то курил под крышей. Сам старик стоял на крыше сарая, расстилал для просушки сено. Старуха сновала между домом и навесом, что-то уносила, приносила. А старый осел до сих пор в раздумье стоял над арбузом — крошечный как игрушка.

— Вы слышали, один арбуз он пожалел разрезать, — процедил сквозь зубы Ажибек. — Мы-то тащились в такую даль, но осел ему все равно дороже. Ему дал арбуз, а нам отказал. Нет, я не прощу такой обиды! И не уйду, пока не наемся дынь и арбузов этого Шымырбая!

— Я тоже останусь, — тотчас присоединился Кайрат.

— Я тоже… я тоже! — зашумели все остальные.

— Смотрите, как я клянусь, что не отступлю от своего, — торжественно произнес Ажибек и, приложив к сердцу ладонь, поклонился заходящему солнцу. — Клянусь!

Глаза Ажибека исступленно сверкали, в зрачках отражались алые отблески багрового шара. Его поступок потряс нас своим величием. Так, наверное, клялись сказочные герои, собираясь в поход на врага. И мы, как прилежные ученики, повторили слова Ажибека.

— А теперь переждем в кустах, пока сядет солнце. И обдумаем план нападения, — сказал Ажибек, довольный нашим согласием.

Мы воображали себя доблестными воинами, которым предстоит незаметно пробраться в стан противника. Ажибек так и сказал нам:

— Я буду полководцем, а вы моими сарбазами — воинами! И тот, кто хоть одного из нас обидит, будет наш общий враг!

Мы переполнились восторгом! Стать воином самого Ажибека — да об этом каждый только мечтал.

Ажибек послал в разведку Кайрата и Самата. Он приказал им залечь над лощиной и следить за домом Шымырбая. За тем, кто придет

из гостей. За тем, что делают он сам и его старуха. А все остальные затаились в кустах.

— А пока сделайте мне «жыбыр-жыбыр», — распорядился Ажибек.

Мы нарвали травы, сделали ему «жыбыр-жыбыр» и, рассевшись кружком, стали ждать, когда скроется солнце. Оно уже касалось своим багровым краем линии горизонта, и все вокруг него полыхало красками. Вершины скал торчали над степью, будто расцвеченный гребень. Пышные груди облаков розовели, словно разрезанный арбуз.

— Пусть только стемнеет, и мы, как волки, безжалостно вонзим свои зубы в бока арбузов, — сказал Ажибек, словно продекламировал строчки из сказания о батырах.

Уставшее солнце наконец опустилось в свое гнездо. Алая макушка его исчезла за чертой горизонта. На степь, на горы хлынули сумерки, смыли краски, сделав все одинаково мутно-серым. С вершин потянуло прохладой. Мы, поеживаясь, встали с остывшей земли.

Еще перед закатом, когда было светло, Ажибек высмотрел позади дома Шымырбая крутой обрыв, утыканный пористым камнем, поросший шиповником, таволгой и караганой. Отсюда можно было тайком спуститься к бахче и, наевшись всласть, набрав с собой про запас арбузов и дынь, также незаметно подняться наверх и уйти. И вот наступила минута действия. Первым Ажибек, а за ним и мы скатились с обрывы в полумрак лощины, царапаясь о камни и кустарник. Наши руки и ноги путались в ботве, кто-то с треском сорвал первый арбуз, ударом расколол его о землю. Мы, сталкиваясь, мешая друг другу, сопя, бросились на сочный треск, на речной запах разбитого арбуза, будто он был единственным на бахче, и в этот момент нас учуяли, хрипло залаяли псы Шымырбая. Мы оставили так и не опробованный арбуз, кинулись вверх по обрыву, оступаясь, соскальзывая назад. Наше воображение рисовало жарко дышащих огромных собак, их клыки возле наших пяток. Кто-то не выдержал, в ужасе завопил.

Позади гулко хлопнула дверь дома, голос Шымырбая позвал кобелей:

— Майлыяк! Кыттобет! Ко мне!

Мы, как говорят, «взяв себя под руки», мигом взлетели на обрыв, кажется, собрав на себе все колючки шиповника. Оторванный рукав моей и без того ветхой рубашки почти целиком съехал к кисти руки.

— Ну-ка, соберите камней! Да побольше! — распорядился Ажибек дрожащим от возбуждения голосом. — Если кто погонится за нами, забросаем камнями.

Мы зашарили в потемках под ногами, стали собирать камни. Но, видно, никто не думал за нами гнаться. А снизу донесся оклик Шымырбая:

— Эй, ребята? Вы где?.. Слышите меня?.. Милые мои, зачем вы сорвали арбуз? Я же вам говорил: они еще невкусные, зеленые еще! Ну, убедились сами? Эх, только зря такой арбуз пропал! Такой бы сладкий вырос арбуз! И вы бы сами же его и съели!

Мы стояли наверху, над ним, не шевелясь, боясь выдать себя, и слушали, все еще тяжело дыша. Наше дыхание, наверное, было слышно даже на дне лощины.

— А ну, в сарай! Кому говорю? — прикрикнул Шымырбай на рычащих собак.

К нему подошла старуха. Они о чем-то переговорили. Потом Шымырбай снова позвал:

— Эй, ребята!

И наверное, решил, что нас уже нет, пошел в дом. Его фигура появилась возле открытой двери, из которой вырывался свет фонаря. Шымырбай шагнул через порог, захлопнул дверь за собой. И внизу стало черным-черно.

— Подождем, сейчас лягут спать, — сказал Ажибек. — А арбуз точно спелый. Это он говорит, чтобы мы не ели… Я, правда, не пробовал, но арбуз точно сладкий.

— Конечно, сладкий, — поддержал его Кайрат. — Если бы арбуз еще не созрел, он бы дал нам попробовать.

Мы все решили, что он, этот сорванный арбуз, должен быть необычайно сладким, слаще сахарного песка, купленного Ажибеком в Коныре. Мы прямо-таки ощущали на своих губах его нежный, ароматный вкус.

— Ну, пошли! Только теперь осторожней, — шепнул Ажибек и нырнул вниз, в темноту, исчез, только хрустнули камешки и ветки под ногами нашего вожака.

Но мы, оробев, в последний момент даже не двинулись с места, ждали, чем кончится его спуск, заметят ли снова собаки, проснется ли Шымырбай?

— Вы что? Испугались? — послышался из мрака презрительный голос Ажибека.

Он подхлестнул нас. Мы снова скатились вниз, снова судорожно хватались за ветки, за корни, снова раздирали руки и одежду о колючки шиповника.

Это был страшный по своей бессмысленности погром. Мы рвали арбузы и дыни, раскалывали их ударом о землю и, определив их несъедобность, тут же набрасывались на другие, топтали грядки, раздирали ботву, — ни один подвернувшийся под руки плод не остался целым. Нами овладел азарт разрушения. Мы совершенно забыли про осторожность, громко чавкали, хвастались вслух числом разбитых арбузов. Но почему-то собаки не слышали нас, а когда они подали голос, мы уже завершили свое разбойничье дело, тяжело, лениво карабкались наверх.

В доме скрипнуло окно, сонно прикрикнул на собак Шымырбай:

— Замолчите, проклятые! Накликаете беду!

И лощина затихла, снова погрузилась в тишину…

Рано утром меня разбудили чужие голоса. Решив, что это пришел по мою душу пышущий гневом Шымырбай, я не на шутку перепугался. Теперь, при ясном солнечном свете, наше вчерашнее нашествие уже не казалось мне бесспорно героическим. Поначалу я приготовился отрицать свое участие в набеге, но, прикоснувшись ладонью к щеке, понял, что эта затея меня не спасет от расплаты. Следы участия в преступлении отпечатались на моем лице в самом прямом смысле. Все оно, от корней волос до краешка подбородка, было измазано стянувшим кожу арбузным соком. Я провел языком вокруг рта и обнаружил пупырышки сыпи. А это был наглядный, известный половине аула признак того, что я объелся дыней. От дыни у меня частенько появлялась сыпь.

Я смирился с судьбой, приготовился к справедливому возмездию, но тут до меня дошел смысл разговора, который вела между собой взрослые. Да, все-таки накликали беду собаки старика Шымырбая. Сегодня на рассвете в контору заехал почтальон и передал черную бумагу на Токтара…

После завтрака мы встретились перед конторой колхоза, место сбора назначил сам председатель, когда отпускал нашу бригаду на

выходной день. Лучше бы он этого не делал, Нугман, не собирал нас в это утро вместе. Мы почему-то избегали разговоров о вчерашнем походе, не смотрели друг другу в глаза, ждали своего бригадира. Вот придет Ажибек, снимет с нас это необъяснимое чувство неловкости. Да и там, на покосе, мы покажем всем, какая у нас замечательная бригада!

Но время шло, а бригадир все еще не появлялся. Не видно было и самого председателя. Он сидел в своем кабинете, руководил оттуда колхозом, а в дверь конторы то и дело входили и выходили озабоченные люди.

Наконец Нугман выглянул в окно и, молча оглядев наш кружок, произнес как-то сухо, будто мы были чужие, будто он не узнал нас:

— Пришли? Ну-ка, зайдите ко мне.

Мы неохотно, уступая друг другу право войти первым, вползли в кабинет и сгрудились возле дверей. Председатель был не один. Сбоку от стола сидела моя мама и смотрела в окно, словно пришли какие-то неинтересные ей люди.

— Это же мы, — беспокойно сказал Асет, — неужели вы нас не узнаете?

— Да уж как не узнать? Таких разбойников видно за километр, — сумрачно ответил Нугман. — А где ваш главарь?

— Уехал на станцию к дяде. Сказал, будет там учиться и работать, — доложил Кайрат, пряча от нас глаза.

— Значит, сбежал. Ничего, вернется. А не появится сам, найдем его и под землей, — вконец рассердился Нугман. — А с вами что делать? Запрем-ка мы вас в сарае, как бандитов, врагов трудящегося человека, и будем держать до приезда милиции.

Мы перепугались до смерти, представив себя под замком голодными, холодными. Я в отчаянии взглянул на мать. Неужели она не заступится, отдаст меня на расправу? Но мама смотрела на меня хмуро, в глазах ее не нашлось и капельки жалости.

— Багила, вы будете против, если мы запрем вашего сына? — спросил Нугман, глядя на меня.

— Не буду, — сурово ответила мать, — если его даже милиция заберет в район. Зачем мне сын-преступник? Уж лучше вообще не иметь никакого, — закончила она с горечью.

Я не выдержал, закричал:

— Мама, я больше не буду… Мама, прости меня, прости…

Следом за мной расплакались остальные ребята, стали клясться, что тоже больше не будут, умоляли простить.

— Ладно, поверим. На первый раз простим, — сказал Нугман, подумав, как бы взвесив свои слова. — Но если еще повторится подобное, вам придется ответить и за этот поступок.

— Не повторится!.. Не повторится!.. — закричали мы с жаром. — Вот увидите, мы больше не будем!

— Хорошо, ступайте, — сказал Нугман с облегчением, тоже радуясь, что все закончилось миром. — Через час приходите снова, поедете на сенокос, как мы и договорились. Вас отвезут к роднику Когалы.

Через час, как и было сказано, мы забрались на арбу с нарой гнедых в упряжке, и старик Байдалы повез нас к роднику Когалы, где стояли летние домики косарей. Гнедые бежали неторопливой рысью, меланхолично постегивали себя хвостами, отгоняя назойливых мух и оводов. Арба покачивалась, точно колыбель, на мягкой пыльной дороге, вдоль которой стоял тростник, лоснился под начинающим палить солнцем, словно кожа человека. Нас сопровождали, нам пересекали путь большие и малые бабочки всех цветов. Громко стрекотали кузнечики и веселыми брызгами выскакивали из-под лошадиных копыт.

Но все степные шумы перекрывал неумолчно говоривший старик Байдалы. У него была одна тема — его заклятый недруг Ажибек.

— А что ждать от человека с головой, похожей на тыкву? — размышлял старик Байдалы. — Еще когда он на четвереньках ползал, я посмотрел на форму его головы и сказал себе: «Ээ, Байдалы, не жди ничего хорошего от этого человека, уж он-то тебе насолит». И, как видите, старик Байдалы не ошибся… И это еще не все. Только цветочки. Он всю землю спалит, разрушит. Потом вспомните, что я говорил. Старик Байдалы видит все!

Когда мы приехали к роднику Когалы, нас поставили к волокушам, погонять хворостиной быков. Я сразу вызвался на волокушу моей сестры Назиры и побежал к ней через поле. Она увидела меня еще издалека, остановила своих быков и кинулась мне навстречу. Мы не виделись каких-то десять дней, и я тоже сильно соскучился по сестре, помчался к ней, не чуя от радости ног. Она тоже

обнимала меня, целовала в щеки, в лоб. Мы беспричинно смеялись, не сводя счастливых глаз друг с друга.

Сестра Назира загорела на солнце, стала как будто выше ростом и чуточку полнее. Работа разгорячила ее, мне даже стало жарко в объятиях Назиры.

Когда мы немного успокоились, сестра обрушила на меня поток вопросов:

— Как бабушка? Мама? Как ребятишки? Не болеют? Что нового в нашем ауле? Что пишут с фронта?.. А мне… писем не было? — спросила она, неумело притворившись равнодушной.

Только сейчас я осознал, что Токтара уже нет, что он никогда не вернется в наш аул. Но сказать об этом сестре у меня не хватило духу.

— Дома все здоровы. Маму выбрали бригадиром. В общем, все хорошо. А писем… а писем пока еще не было, — сказал я как можно беспечней.

— Ладно, подробнее расскажешь после. А сейчас садись на быка и погоняй, — сказала сестра Назира и помогла мне забраться на бычью спину, говоря: — Это здорово, что вы взялись помочь. А то прямо разрываешься на части. И сено нагружай-разгружай, и быков веди. Устаешь — сил нет!

И мы взялись с Назирой за работу. Я подгонял быков к очередной копне сена, а сестра нагружала волокушу. Движения у нее были точные, уверенные. Временами она поглядывала на меня и ласково улыбалась. Потом мы везли волокушу с горкой сена к стогу, и Назира подавала его наверх. А там, наверху, сено принимал глухой Колбай и раскладывал равномерно по стогу.

В обед вся бригада сошлась к летним домикам. Мы ели вместе с взрослыми, как настоящие работники, расположившись на траве. Когда обед подошел к концу и косари отдохнули, утолили голод, одна из женщин спросила:

— А ну-ка, ребята, расскажите, что нового в ауле?

И тут Кайрат ляпнул:

— Еще одна похоронная бумага пришла. На сына старика Шымырбая. Ну, который в лощине живет.

— Что ты сказал? Повтори, что ты сказал? — заволновались женщины. — Он говорит: убили Токтара!

Сестра Назира удивленно посмотрела на Кайрата. Будто ей не верилось, что он произнес именно эти слова. Я делал Кайрату тайные знаки, подмигивал то правым, то левым глазом, швырнул исподтишка кусочком земли. Но Кайрат уже ничего не замечал, точно токующий тетерев. Он оказался в центре внимания, его так и раздувало от гордости. Не подозревая, что каждое слово ранит мою сестру, Кайрат упоенно рассказывал во всех подробностях, как утром привезли похоронку и как собрались аксакалы и пошли в лощину Агишки, к старику Шымырбаю и его старухе.

Взрослые слушали Кайрата, а глаз не сводили с моей сестры Назиры. Она же сидела с опущенной головой, словно окаменев, сжав мою руку так цепко, так больно, что я готов был закричать. Женщины вокруг нас запричитали, жалея Токтара и его мать и отца, вытирали обильные слезы. А глаза Назиры оставались сухи, неподвижны. Когда закончился отдых и люди поднялись, чтобы продолжить работу, сестра встала вместе со всеми и, по-прежнему не отпуская моей руки, повела меня к нашей волокуше. И до самого вечера, до наступления темноты не произнесла ни слова, молча грузила сено на волокушу и потом бросала его на стог Колбаю. А тот из-за своей глухоты не любил разводить разговоры.

Когда стемнело, косари, едва держась от усталости на ногах, кое-как поели при тусклом колыхающемся свете керосиновой лампы и повалились спать прямо на теплой земле, постелив под бок охапку душистого сена.

Я лег рядом с сестрой Назирой, прижался к ее спине. Она лежала не шевелясь; мне подумалось, что она уже спит, я закрыл глаза и тоже уснул. Но вскоре что-то разбудило меня, то ли шорох травы, то ли просто еще неугасимая тревога за сестру. Я проснулся и, ощутив рядом с собой пустоту, приподнялся на локте и на фоне светлого звездного неба увидел удаляющийся силуэт Назиры.

Я вскочил на ноги и пошел следом за сестрой. Она уходила от бригадного стана, уводя за собой и меня. Вокруг нас спало все живое, и мы, казалось, брели одни в этой бескрайней степи, под этим глубоким-глубоким, бездонным небом, усыпанным звездами. По словам нашего учителя, где-то там далеко, среди звезд, могут жить такие же, как мы, люди. Ну, не совсем, может, такие. Может, у них три

руки и одна нога и четыре глаза. Так вот, даже они, наверное, спали в эти минуты, когда мы шли по степи.

В какой-то момент сестра Назира пропала из виду. То ли она вошла в чью-то тень, то ли от напряжения устали мои глаза, только ее темный силуэт плыл, плыл передо мной и вдруг исчез, точно провалился в недра степи.

Я растерянно огляделся, забегал туда-сюда и наконец услышал ее тихий плач. Она шла в тени стога и всхлипывала, приговаривая:

— Почему я такая несчастная? Такая невезучая почему? Может, перед кем-нибудь виновата? Может, родилась в черный день? Был у меня отец, и его не стало. Был любимый, и его тоже убили!.. О Токтар, больше не увижу тебя!..

Я подумал: и я никогда не увижу Токтара, и тоже зарыдал. Уже никогда он не позовет меня, не попросит вызвать мою сестру Назиру, и не стоять мне стражем на свидании сестры и Токтара… А сколько бы еще он подарил мне карандашей! Красных, зеленых, желтых…

А сестра Назира уходила все дальше и дальше. Мы вышли к участку еще не скошенной травы, пересекли его и свернули в сторону аула. Потом сидели, обнявшись, под кустом. Над нами появился серп луны, в степи стало светлей, словно где-то зажгли большую керосиновую лампу. Уже теперь я не успокаивал сестру Назиру, а она утешала меня, гладила по голове, говорила:

— Ну, не надо, не надо. Не плачь!

Неподалеку от нас зашуршали чьи-то шаги, темным пятном мелькнул человек, потом послышался голос безумной Бубитай:

— Ок! Чтобы ты сдохла, ок! Спатай-ау, гони ее ко мне!..

Я испуганно прижался к сестре.

— Не бойся, — прошептала сестра Назира. — Она каждую ночь приходит сюда за своей коровой, которой уже давно нет. Бедняжка!

Бубитай удалялась, разговаривая со своим покойным сыном Спатаем. Потом издалека донеслась ее заунывная песня:

Черные глаза,
Я не смог до вас дойти,
Путь так далек,
А я одинок…

Долго еще слышалась эта песня. Видимо, Бубитай ходила по кругу.

Мы поднялись и пошли к бригадному стану. На траве уже выступила роса. Я промочил ноги, продрог. Меня слегка знобило, по телу пробегали неприятные мурашки.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Лето вдруг покатилось к концу. Солнце, только что нещадно палившее степь, теперь присмирело, словно кто-то убавил силу его лучей, как убавляют пламя в топке. Дни установились тихие, теплые. Нугман снова предоставил нам, ребятам, короткий «отпуск», и мы старались наверстать пропущенное время, носясь по аулу из конца в конец, играя в мяч и в неизменные альчики.

Однажды в такой вот ласковый полдень, резвясь на окраине аула, мы увидели человека, бегущего во всю прыть со стороны железнодорожной станции. Дорога увела его в низину, потом он вновь появился у нас на глазах, и тут все узнали его. К нам приближался Ажибек своей собственной персоной.

— Суюнши! Мне причитается суюнши! — вопил наш беглый бригадир, требуя подарка за какую-то очень радостную весть, и хлопал себя по карманам, которые должны наполнить дарами те, кому он нес известие.

С тех пор как он удрал на станцию к дяде, никто не видел его. За это время Ажибек слегка раздобрел и, что мы заметили сразу, принарядился. На голове его красовалась выгоревшая красноармейская пилотка, рубаха была заправлена в настоящие брюки-галифе. Он спешил за суюнши изо всех сил и к нам подбежал уже на подгибающихся ногах, задыхаясь.

— Живо в аул! Требуйте суюнши! Мне половина. Ырысбек с фронта вернулся! Сейчас будет здесь, — выпалил он, тяжело дыша.

Но никто не тронулся с места, мы смотрели на Ажибека во все глаза. Что с ним случилось там, на станции, у дяди? Мы-то помнили хорошо, как в прошлом году пришла похоронка на этого самого Ырысбека. И жена его Дурия, как и положено вдове, устроила по мужу поминки. А совсем недавно она развела глухого Колбая с женой и сама вышла за него замуж. И вот теперь Ажибек уверяет нас, будто этот погибший Ырысбек вот-вот появится перед нами.

— Вы что? Приросли к земле? Что стоите? А вдруг нас кто-нибудь опередит, тоже увидит Ырысбека? Тогда прощай суюнши! — заволновался Ажибек. — А, вы не верите? Глупцы, недотепы, я же еще

на станции встретил его. Посмотрите, вот его одежда. Он мне ее дал, пилотку и галифе, — и Ажибек повернулся, демонстрируя свое приобретение во всем блеске. — Я вчера весь день по станции проходил. Может, думаю, увижу кого из аула. Спрошу, как мама. Как вы. Я по вас, мелкота, тоже соскучился. Да только никого не нашел. А вечером поезд пришел, смотрю: выходит Ырысбек. Живой! И перед всеми нос задирает, как раньше. Я точно родного отца увидел своего, правда, ребята. «Ырысбек-ака!» — кричу и ему на шею. А он: «Ты кто?» — говорит. А я: «Из Яблоневого», — говорю. «Вот это здорово, — говорит. — Ну, как там дела? Как моя Дурия?» Ну, я ему рассказал. «Ладно, говорит, разберемся, пошли». — «Почему пошли? — говорю. — Поедем». Поймал я чьих-то стреноженных коней. «Молодес, — говорит. — Находчивый ты солдат. Вот тебе за это!» И это дал, — и Ажибек снова завертелся перед нами, гордясь подарком.

— А где же лошади, Ажибек? — спросил Асет, еще сомневаясь.

— Мы их отпустили домой. Сами дорогу найдут. Да что вы ждете? Я же нарочно вперед побежал, чтобы раньше никто не увидел! — напустился на нас Ажибек, забыв, что сам же и задержал своим длинным рассказом.

Мы разбежались по всему аулу, заглянули в дома, крича:

— Тетя, с вас суюнши! Ырысбек с фронта идет!

— Дядя, нам суюнши! Ырысбек вернулся, живой!

У нас так повелось. Если кто-то возвращался с фронта живым, это становилось праздником для всего аула. Люди, и старые, и молодые, выходили встречать на дорогу. Так было и сейчас. Те, кто находился в это время в ауле, услышав наши возгласы, побросали дела и выбежали на улицу. Одни нам поверили сразу, другие отнеслись с недоверием, но все же не могли усидеть дома.

— Дети что-то напутали, — говорили они. — Разве мы не читали сами эту бумагу? Ырысбек погиб смертью героя — вот что было написано там.

— И в черных бумагах случаются ошибки, — возражали им другие. — Вон в соседнем колхозе вернулся с фронта мужчина, а через день пришла на него похоронка.

А больше всех переживали старухи:

— Жив, жив, бедняжка. Видно, не время ему помирать. Жить должен. Так хочет аллах!

— Может, придет час, и мой жеребеночек тоже вернется?

— Как же быть теперь Дурии? Бедная женщина!

— Почему бедная? Разве ее выдали замуж силой? Пусть теперь пеняет на себя! Не могла год подождать, дуреха! Не ее — Ырысбека жалейте, женщины! Вот уж кому горе так горе!

— Значит, на то была божья воля. Думаете, от хорошей жизни Дурия пошла за глухого мужчину?

— Куда теперь денется Ырысбек? Кто пригреет его? Ведь кроме этой женщины, Дурии, у бедняги никого не было!

— Э, а мы разве не люди? В чей бы он дом ни вошел, встретим, согреем.

— А как же! Встретим! Парень вернулся живым…

На этот раз Ажибек говорил чистую правду. Вскоре вдали, в начале улицы, появился мужчина в военной форме. Вокруг него, точно овод, вился Ажибек. То зайдет с одного бока, то со второго, то убежит вперед и снова вернется.

Мы дружно закричали:

— Дядя! Ырысбек-ага-а! — и кинулись ему навстречу.

Я помнил его очень плохо, был совсем маленьким, когда он уходил на фронт. Но взрослые рассказывали, что никто не умел так веселиться в нашем ауле, как Ырысбек. Вот уж был шутник, и музыкант, и певец. Прирожденный артист, говорили взрослые.

Наши ноги словно бы не касались земли. Мы летели как птицы. Каждому хотелось опередить других, первым броситься на грудь Ырысбеку. Ведь поцелуй человека, который пришел с войны, как горячий привет от отца или брата. Ырысбек вернулся оттуда, где были они, и может, сражался рядом с ними, плечом к плечу.

Счастливчиком оказался Кайрат. Он с разгона ринулся на шею Ырысбека. Но тот почему-то отстранился, прошел мимо Кайрата. А тем временем подоспели остальные ребята и, не задумываясь, почему он так поступил с нашим товарищем, окружили Ырысбека, запрыгали вокруг него:

— Дядя! Дядя! Ырыс-еке!

— А ну кыш! Не пылите! — прикрикнул на нас Ырысбек и провел ладонью по темно-синим галифе, стряхивая пыль.

Его глаза воинственно сверкали. А вид был живописен. За плечом Ырысбека рядом с мешком висело двуствольное ружье невиданной красоты, а на яловых сапогах его звенели блестящие шпоры.

— Мелкота, прочь с дороги! — услужливо подхватил Ажибек, в духе своего верного прислужника Кайрата.

Ырысбек расправил под ремнем зеленую гимнастерку и зашагал дальше, четко печатая шаг и размахивая свободной рукой. Шпоры запели: дзинь-дзинь…

— Видели? — спросил Ажибек, хвастаясь перед нами, словно это у него шпоры звенят.

— А почему он носит шпоры? — спросил простодушный Кайрат, самый неуспевающий ученик в нашем классе.

— Эх ты, голова! Ырыс-еке в кавалерии служил, а там все шпоры носят, — снисходительно пояснил Ажибек.

Мы тоже глазели на Ырысбека, открыв от восхищения рты. Такую красивую, решительную походку, такую замечательную одежду и такое необычное ружье мы видели в первый раз. На картинках, конечно, нам кое-что попадалось и раньше. Но чтобы в жизни, наяву…

Придя в себя, мы бросились следом за Ырысбеком, пошли за ним точно свита.

А впереди его поджидала, волновалась большая толпа взрослых. К Ырысбеку бросились две старухи, чьи сыновья погибли на войне, раскрыли объятия.

— Миленький наш, хоть ты вернулся домой!

— Дай посмотреть на тебя, соколеночек!

Они хотели обнять Ырысбека почти одновременно. Но и старухам не повезло. Ырысбек отвел их руки и строго, будто на собрании, сказал густым баритоном:

— Здравствуйте, матери! Здравствуй, мой родной край! И вы, люди, народ мой, здравствуйте!

Его голос был сильным и ясным, каждое слово звучало будто четкий удар молота. Взрослые заметно растерялись — уж больно суров и неприступен был Ырысбек.

А он закончил свою короткую речь и, продолжая печатать шаг, двинулся прямо на толпу, расколол ее надвое и пошагал дальше, к своему дому. Ни на кого не взглянул, не сказал никому ни слова.

— Сердит, как сто медведей. Ну, он покажет этой Дурии! — восторженно пообещал Ажибек.

Мы в том возрасте, конечно, не разбирались в тонкостях супружеской жизни и тем не менее чувствовали, что Дурия сделала Ырысбеку что-то нехорошее, переселившись в дом Колбая. А на дверях дома, в котором она, как говорят, жила вместе с Ырысбеком раньше, Дурия повесила огромный ржавый замок.

Вот перед этим домом и остановился Ырысбек. Остановился, стукнул каблуком о каблук, звякнул шпорами.

— Ажибек! — не повернув головы, повелительно позвал Ырысбек.

Ажибек подбежал, будто только и ждал, когда позовут, встал перед ним в струнку и, как настоящий солдат, приставил ладонь к виску, отдал честь.

— Я здесь, Ырыс-еке!

— Иди передай Дурии: пусть придет и откроет дверь нашего дома! — приказал Ырысбек, чеканя каждое слово. — Скажи: хозяин шанырака[13] еще не умер, пришел домой живым и здоровым. И пусть она зажжет домашний очаг, да поскорее. Скажи: хозяину некогда ждать, он утомился с дороги!

Взрослые, с замиранием ждавшие большого скандала, облегченно вздохнули, услышав спокойные, уверенные распоряжения Ырысбека.

— Поумнел человек на войне. Все понял. Простил Дурию, — зашептали, растроганно прослезились старухи. — И такого человека не дождалась глупая женщина! Правда, откуда ей было знать, что он выберется живым из того пекла.

Ырысбек делал вид, будто не к нему относятся вздохи и причитания женщин, и, независимо заложив руку за потертый кожаный ремень, смотрел на небо, на горы, словно пересчитывал их — все ли целы.

— Ну вот и вернулся в родные края. Сколько раз я мечтал об этой минуте. Теперь я дома, а здесь и умереть не страшно! — произнес он нараспев, стихами, словно обращаясь не к нам всем, столпившимся за его спиной, а к небу и горам.

Но старушки снова зашмыгали носами, запричитали:

— Видно, нелегко ему пришлось… Бедненький, бедненький…

Наконец вернулся Ажибек, за ним робко брела Дурия. Женщина не посмела приблизиться к Ырысбеку, остановилась поодаль.

— Дурия, дорогая, открой, пожалуйста, сама! — четко сказал Ырысбек. — Насколько я помню, мы с тобой не разводились, да и разводиться нам не к чему, потому что любим друг друга. Однажды ты в нашем доме уже разжигала впервые огонь. Так переступи же порог и зажги его снова.

— Верные слова он сказал. Добрые, — одобрительно зашептали взрослые.

Дурия медленно, еще боясь, подошла к своему первому мужу и с плачем упала в ноги. Ее слезы закапали в толстый слой пыли на сапогах Ырысбека, оставляя мокрые пятна. Тут и с него слетела вся его напускная невозмутимость. Плечи Ырысбека затряслись, лицо искривила гримаса. Я поначалу решил, будто ему стало страшно смешно и он беззвучно смеется. Но из глаз его сейчас же хлынули слезы.

Так они оба плакали. Она — у его сапог. А он — стоя над ней, не имея сил наклониться, поднять ее на ноги. Но потом к Дурии подошли старухи, взяли под руки:

— Встань, милая, открой мужу дверь.

Дурия перестала плакать, осушила глаза углом платка, деловито направилась к дверям, открыла замок и впустила в дом Ырысбека. За хозяином и его женой через порог повалил наш аульный народ. Кто-то из женщин взялся за веник, побрызгал пол водой и начал его подметать. Кто-то стал разжигать самовар. А несколько женщин пошли с Дурией в дом глухого Колбая и помогли принести одеяла, подушки, кошму и посуду. За считанные минуты заброшенный дом Ырысбека наполнился веселым шумом, звоном посуды и ликующими голосами.

Мы крутились под запыленными, темными окнами, сгорая от любопытства, страдая оттого, что действие скрылось, ушло за стены от нас, заслуживших суюнши, сыгравших главную роль в самом его начале. Но, словно бы сжалившись над нами, Ырысбек распахнул окна настежь, и шум и голоса сразу вырвались наружу, и нашему взору, словно сцена, открылась внутренность дома. Смотри и слушай сколько угодно!

Узнав о том, что погибший Ырысбек вернулся живым и, кажется, невредимым, потянулся с поля работающий люд. И каждый спешил в

дом Ырысбека.

Пришел и глухой Колбай. Едва он возник в дверях, все затихли, замерли, очень опасаясь драки. Но мужья Дурии дружелюбно пожали друг другу руки. Взрослые одобрительно зашумели, радуясь тому, что встреча соперников закончилась миром.

А глухой Колбай сел на полу у стены, нахлобучив шапку до самых бровей. И еще что-то буркнул Дурии, проносившей мимо посуду с едой. А что именно он сказал, никто не расслышал. Дурия же ушла целиком в хозяйские заботы и вовсе его не заметила.

— Дурия! — громко окликнул ее Ырысбек. — Дорогая, где моя домбра? Где гармонь и скрипка?

— Сейчас… сейчас я принесу, — еще пуще засуетилась Дурия и, позвав на помощь Ажибека, сбегала в дом глухого Колбая и принесла музыкальные инструменты.

— Молодчина! Все правильно делает Дурия, — одобрительно сказали аксакалы, довольные ее расторопностью, готовностью исполнить любое желание Ырысбека.

— Спасибо, дорогая, — сказал Ырысбек, так и впившись взглядом в музыкальные инструменты.

Его руки мелко дрожали. Он не знал, что взять вначале — домбру, гармонь или скрипку. Наконец выбрал домбру и сразу же стал собранным, подтянутым, волнения как не бывало. Он прошелся пальцами по грифу, по струнам, и домбра ответила ему чистыми звуками, точно по дому рассыпали серебро. Помогая отвыкшим пальцам вспомнить забытое, Ырысбек проиграл по кусочку несколько кюев — мелодий для домбры, и, решительно тряхнув головой, ударил по струнам в полную мощь.

Все благоговейно замерли, слушая музыку Ырысбека — и взрослые в доме, и мы, ребятишки, жадно сгрудившиеся под окном. Простая деревяшка с двумя струнами творила чудеса. Она походила на волшебный сундучок, в котором хранятся удивительные звуки, а сам он, музыкант, красивый, смуглолицый, с черными блестящими глазами, копной жестких густых волос, сейчас казался каким-то высшим существом среди простых людей нашего аула. Словно гордый беркут, случайно попавший в компанию кур и домашних гусей.

Когда отзвучало последнее кюи, Ырысбек прижал домбру к груди, закрыл глаза, и покачиваясь, баюкая инструмент, точно дитя, вновь заговорил стихами:

— Еще не верится, что я, Ырысбек, дома. И рядом любимая жена, а в руках моя старая подруга — домбра. Сколько раз я об этом мечтал, видел во сне там, на фронте. Вершины наших Джунгар казались мне крышей мира, а вся земля — их подножием. Вот, думал, вернусь, взойду на самую высокую вершину, и передо мной раскинется она вся, родимая степь. А может, и сейчас это сон? Я открою глаза и ничего не будет?

— Нет, Ырысбек, это не сон. Ты действительно дома, — возразил старик Жакып, один из почтеннейших аксакалов. — Объясни нам, как это случилось, — ты вначале погиб, а потом воскрес, и вот мы видим тебя живого, прежнего Ырысбека.

— Да, так и было. Я вначале как бы погиб… Помню, мы шли в атаку в пешем строю, бежали под ливнем пуль, и вдруг что-то ударило меня в грудь. Я как подбитый беркут упал без сознания, пролежал два дня между окопами, на ничьей земле. Потом закончился бой, и мои товарищи посчитали меня убитым и ушли вперед в погоню за врагом. Они очень спешили, догоняя проклятых фашистов. Вот командир эскадрона и послал домой похоронку. А меня нашла молоденькая русская девушка, светлая, как солнце, чистая, как летнее утро. Разжала она мои окаменевшие губы, влила в рот немного живительной воды… Так я и вернулся на этот свет. Вы говорите: воскрес? Да, это так!.. Потом госпиталь… операция. Врачи отрезали легкое, пробитое вражеской пулей… Три месяца на койке, не шевелясь… А, лучше не вспоминать… — И рассказчик уронил голову на грудь.

Взрослые завздыхали, у старух и женщин снова повлажнели, покраснели глаза:

— А сколько их, горемычных, осталось лежать. Спасибо этой маленькой русской!

— Проклятая война! Проклятый пашис, чтоб тебе и в могиле не было покоя!

— Эй, женщины, перестаньте галдеть! Дайте послушать человека оттуда! — вмешался старик Жакып. — Скажи, Ырысбекжан, ты этих собак пашис видел? Какие они?

— Да, да, как они выглядят, идолы? — подхватил старик Байдалы. — Как посмотришь в казит[14], волосы дыбом встают. Не люди, а звери. Одни рычат, щерятся, как волки, другие похожи на змей.

— Да, я видел фашистов, — просто подтвердил Ырысбек. — Привели наши разведчики их офицера, «язык» называется, я его охранял… Стоял близко, вот так… Я — здесь, а он — как вы, Баке.

В доме стало еще тише. Взрослые напряженно следили за рассказчиком, боясь пропустить самое важное.

— В общем, с виду как человек, — продолжал Ырысбек, — только в лице ни кровинки. Белый как известка!

— Это правда, убийцы всегда такие, — снова не удержались, заговорили женщины.

— Только подумать, столько выпил нашей крови, а лицо как известка!

— Дал ты ему по морде или нет? — запальчиво спросил старик Байдалы.

— Нельзя, Баке, бить пленных. Такой у нас закон, — пояснил Ырысбек и гордо добавил: — Но я отворачивался от него, не хотел одним с ним воздухом дышать! Брезговал! Да!

Взрослые одобрительно загудели:

— И правильно ты сделал, Ырысбекжан!

— А он что? Пашис?

— Что, что?.. Да пусть бы на коленях просил, я бы, как Ырысбек, на него не посмотрел бы даже.

Уже давно зашло солнце; обычно в такое время аул засыпал, но в этот поздний вечер люди долго не расходились. Они расспрашивали Ырысбека о боях, на каком ему пришлось воевать фронте, не видел ли он их родных и близких. Просили повторить тот или иной рассказ и выслушивали его со вниманием, будто в первый раз. И при этом удивлялись, ахали, жалели и пускали слезу.

Глухой Колбай тяжко страдал оттого, что почти не слышал Ырысбека; он старательно следил за его губами и оглушительно кричал сидевшим рядом:

— Что он сказал? Что? Повтори!

В конце концов он утомился от усилий, встал, отряхнулся, вдруг сказал Дурии:

— Хватит, пошли домой. Уже поздно!

— Сядь и слушай, — отмахнулась Дурия.

Она успевала готовить чай, обносить им гостей и поубиваться, поплакать за дверью.

Этот день превратился в праздник и для нас, ребят. Лица взрослых посветлели, разгладились у переносья и возле губ горькие складки. В такие минуты хоть на голове ходи, они не скажут ни слова. И мы этим вдосталь попользовались — влезали на подоконник, сталкивали друг друга наземь и здесь же, под окном, боролись. В другое бы время вышел кто-нибудь из старших и влепил нам пару затрещин. Но на это раз, замечая нашу возню, женщины говорили: «Ах, а про детей мы забыли! Дети, конечно, голодные с обеда!» — и подносили нам полный тостаган талкана, замешенного на молоке, или насыпали в горсти жареную пшеницу. И этому замечательному празднику, казалось, не будет конца.

Утолив первое любопытство гостей, разошедшийся Ырысбек снова занялся музыкой. Он взял гармонь и заиграл незнакомую мелодию, от которой веяло легкой грустью. Теперь, когда я слышу русскую песню военных лет о темной ночи, о женщине, сидящей у детской кроватки и ждущей бойца, мне вспоминается тот далекий день сорок четвертого года.

— Ырысбек-ай, мы давно не слышали твой голос. Спой же нам, — попросил старик Байдалы.

— Да, да, спой нам, Ырысбекжан, — поддержали его со всех сторон.

— Разве я могу вам отказать? — сказал Ырысбек, потянулся было за домброй и вдруг что-то вспомнил: — А где Дурия?

Женщина тотчас возникла в дверях.

— Сядь рядом со мной, — произнес Ырысбек повелительным тоном.

Дурия смутилась, бросила осторожный взгляд на глухого Колбая.

— Подойди ко мне, сядь рядом, — повторил Ырысбек.

— Иди, Дурия, посиди рядом с ним, — вмешались женщины.

Одна из них взяла Дурию за руку, подвела к Ырысбеку, усадила на кошму. Дурия залилась алой краской, щека ее, обращенная к лампе, так и пылала.

Глухой Колбай, отрезанный своим недугом, как стеной, от остального мира, таращил глаза, ничего не понимая.

Успокоившийся Ырысбек ударил по струнам домбры и запел приятным баритоном:

Поет Биржан народу песни,
Биржана балует народ…

Его сильный красивый голос как бы встряхнул всех. Старики молодели на глазах, женщины сбросили с плеч усталость. Люди восхищенно причмокивали языком, подпевали. Даже мы, ребята, оставили возню, слушали и дивились, что вот, оказывается, как могут звучать простые слова и звуки.

— Еще… еще… спой еще… А ну, Ырысбекжан, порадуй наши сердца, — просили люди, когда он закончил первую песню.

И Ырысбек после Биржана пропел песни Ахан-сери, Иманжусупа, Асета.

— Ну довольно. Надо, люди, и совесть иметь, — сказал старик Байдалы. — Мы тут сидим, а Ырысбекжан устал после долгой дороги. Дайте ему отдохнуть.

Гости начали послушно подниматься с мест, потянулись к выходу. Вместе со всеми встала и Дурия.

— А ты сиди, — приказал Ырысбек, потянув ее за руку.

— Почему он не пускает мою жену? — громко спросил глухой Колбай, изумляясь.

Все, кто еще не успел выйти, испуганно притихли.

— Ырысбек первым женился на Дурии! Он оказался живым, и, значит, Дурия должна вернуться к Ырысбеку! — гаркнул в ухо ему старик Байдалы.

— Он живой, и слава аллаху! Но Дурия теперь моя жена, и я ее не отдам! — отрезал глухой Колбай.

Дурия решительно вскинула голову, сказала:

— Если Ырысбек скажет: «Останься!» — я останусь здесь! Если он скажет: «Умри, Дурия!» — умру счастливой!

Старик Байдалы снова закричал в ухо Колбаю, объяснил, что ответила Дурия.

Глухой Колбай тяжело задышал, набычился и вдруг бросился к Ырысбеку, выхватив на ходу из-за голенища сапога длинный

сверкающий нож. Этот нож он на днях выменял за ягненка у чечена Махмуда.

— Пустите меня! Я его убью! — кричал глухой Колбай, хотя его никто не держал, люди растерялись, замерли как завороженные.

Но Ырысбек, сразу видно, не зря побывал на войне, он кинулся к стене и мгновенно сорвал свою диковинную охотничью двустволку. Однако до схватки дело не дошло. Люди пришли в себя, взяли глухого Колбая под руки и увели с собой.

Ырысбек и Дурия остались одни.

Время уже шло к рассвету, и мы было тоже собрались по домам, да нас удержал Ажибек:

— Подождите! Все равно спать уже некогда, кончилась ночь. Но зато посмотрим, как Ырысбек побьет Дурию. А может, и вовсе застрелит! Думаете, ей так сойдет? Он настоящий джигит, ни за что не спустит измену!

Ну, какой полудикий мальчишка, с утра до вечера предоставленный самому себе, откажется от такого зрелища? Четверо из нас остались с Ажибеком, подползли к окну, присели на корточки.

Ырысбек и его жена еще не ложились, стояли посреди комнаты.

— Побей меня, Ырысбек, — умоляла Дурия, — ну, ударь, мне будет легче!

— Что ты? Что ты, моя дорогая? Я с ума сойду, если подниму на тебя руку, — отвечал Ырысбек.

— Господи, как мне смыть вину перед тобой? Ырысбек-ау, каждое твое ласковое слово как удар ножа. Ну, дай хотя бы пощечину!.. Я готова целовать твои ноги.

Дурия опустилась к его ногам, но Ырысбек быстро поднял ее, оторвав от пола, прижал к себе.

— Родной мой, тебе тяжело. Твоя рана будет болеть, — зашептала Дурия, а сама обхватила его за шею.

— Я соскучился по тебе…

— Тьфу! — сплюнул Ажибек и передразнил: «Сяскючился по тебе». Я думал, он джигит, а он бабник! Лижется как теленок.

Мы были тоже разочарованы. Дома нас ждут неприятности, и ради чего?

А Дурия собрала с пола одеяла и подушки, постелила постель и, дунув, погасила лампу.

— Ведь она же сама просила: «Ударь, ударь», — продолжал негодовать Ажибек. — Если бы мне изменила жена, я бы так ей врезал!.. Ладно, пошли. Видно, тут вообще ничего не дождешься.

Мы уже собирались оставить свой наблюдательный пункт, но в это время по улице кто-то громко затопал, мимо нас промчалась темная фигура и влетела в дом, распахнув двери настежь.

— Глухой Колбай! — радостно шепнул Ажибек. — Ну, сейчас будет дело! Уж он-то не станет лизаться! Уж он-то покажет и ему, и ей!

Мы и сами узнали глухого. Снова приникли, к окну.

В доме послышался грохот, глухой Колбай натыкался в темноте на вещи. Затем на мгновение вспыхнула спичка, мы увидели Дурию с распущенными волосами, полуодетого Ырысбека с зажженной спичкой в руке и метнувшегося к ним глухого Колбая. Дурия взвизгнула, прикрыла лицо обнаженной рукой. Спичка погасла, комната погрузилась в темноту, из которой тотчас донесся шум борьбы — прерывистое дыхание, топот и хлесткие звуки ударов.

Я вспомнил про нож Колбая, и меня сковало ледяным ужасом. То же самое случилось и с другими ребятами. Ажибек и тот затих, сидел, прижавшись к стене. И как бы в ответ над нашими головами что-то тускло сверкнуло и мягко шлепнулось на землю. Ажибек протянул руки и поднял нож Колбая.

— Пойдемте лучше отсюда. Подальше от беды, — прошептал Ажибек, стуча зубами.

Мы только и ждали, когда можно будет уйти, не боясь его насмешек. Нас тут же как ветром сдуло. Но стоило нам удалиться на безопасное расстояние, как Ажибек снова стал нашим прежним Ажибеком и с досадой сказал:

— Жаль, было темно. Ну, и задал, наверное, Колбай этому Ырысбеку!.. Но ничего, а эту штуку я все равно взял с собой. Теперь она будет моей.

И он извлек из-за пазухи нож Колбая.

Уже светало. Из ближнего сарая прокричал петух. Ему отозвался второй, в другом конце улицы… за ним подал голос третий…

Днем ребята снова собрались перед клубом. Ажибек отозвал нас в сторонку, тех, кто был с ним под окном Ырысбека, и спросил:

— Вы ничего не знаете о Колбае?

— Ничего, — ответил каждый. — А что случилось?

— Он исчез! Никто не знает, где глухой Колбай. Утром он должен был прийти на ток и вдруг не появился. И бригадир его искал, и учетчик. Даже сам председатель. И не нашли. Дом его заперт. А сам он как провалился под землю.

Мы переглянулись, подумав об одном и том же.

— И к Ырысбеку ходили, — сказал Ажибек, легко угадав наши мысли. — Учетчик Бектай был. Да Ырысбек и слушать не захотел. «Проваливайте, говорит, со своим Колбаем. Я вернулся с войны». А по-моему, он убил глухого и спрятал. Бобще, — он ввернул русское слово «вообще», — бобще, от Ырысбека всего можно ждать. Уж я его знаю, на станции с ним был. Чуть что не по душе, кричит: «На фронте я бы таких стрелял». Псих, вот он кто!.. Пойдемте к нему, посмотрим. Может, отыщем труп глухого Колбая.

Обмирающие от страха, гонимые не менее сильным чувством — любопытством, мы подошли к дому Ырысбека. Дом все так же зиял распахнутыми окнами и дверью. Изнутри доносились звуки домбры. Мы осторожно заглянули в окно. Ырысбек, в нижней рубашке, но в галифе и сапогах со шпорами, лежал на неубранной постели и тихо наигрывал на домбре. Заметив нас, он сказал, не прекращая своего занятия:

— А, это вы? Адъютант, подойди ко мне.

— Адъютант — это я, — важно пояснил Ажибек. — Ждите меня здесь, — и вошел в дом.

— Ассалауалейкум! — приветствовал он хозяина.

Ырысбек отложил домбру, сел на постели, строго сказал:

— Это что еще за ассалауалейкум? Я тебя как учил, а? А ну-ка, марш на улицу и войти, как положено солдату!

Ажибек вышел в прихожую и, войдя снова, поднес руку к виску, рявкнул:

— Здрабие желаем, товарищ кямяндир!

— Вот теперь правильно! Вольно! Слушай боевое задание: возьми вон те щипцы, разведи перед домом огонь. Когда щипцы раскалятся, доложить мне. Иди выполняй приказ!

Ажибек направился к очагу, возле которого лежали щипцы для углей.

— Вернись на место, — сказал ему Ырысбек. — Что должен сказать солдат, получив приказ командира?

Ажибек опять поднес к виску ладонь и звонко ответил:

— Есть, товарищ кямяндир!

— Кру-угом! Шагом марш! — скомандовал Ырысбек.

Мы сгорали от зависти к Ажибеку. Ырысбек обращался с ним как с настоящим военным. Ажибек вынес на улицу щипцы с таким видом, словно это было оружие огромного значения.

— А ну, ординарцы, слушай мою команду: соберите дрова, разведите огонь!.. Как должен ответить солдат?

— Есть! — крикнули мы и бросились за дровами. Разжигая огонь, гадали: зачем Ырысбеку понадобились горячие щипцы?

— Значит, нужно. Приказы командиров не обсуждаются, — пояснил Ажибек, повторяя чьи-то слова.

Когда концы щипцов налились малиновым цветом, как бы стали светиться изнутри, Ажибек одернул рубаху и отправился с докладом к Ырысбеку. Командир Ажибека вышел в гимнастерке, затягивая ремень. Убедившись в том, что талия его перетянута достаточно туго, Ырысбек протянул адъютанту ключ:

— Открой дверь сарая! Там связанный Колбай. Вытащи у него тряпку изо рта.

Ажибек отомкнул висячий замок, вошел в полумрак сарая. Через секунду-другую мы услышали вопли глухого Колбая:

— Убей меня, убей! Выпей кровь мою! Или я сам тебя прикончу!

— А вы что не видели? Марш по домам! — сказал нам Ырысбек, впрочем не очень сердясь, и, взяв раскаленные щипцы, вошел в сарай.

Мы вновь задрожали от страха, но остались, только отступили в сторону, ожидая, чем кончится все это.

— Ну, жги, жги меня! — послышался злобный голос Колбая.

— Сам просит. Я бы ни за что не просил. Отдал бы Ырысбеку жену, а себе взял другую, — прошептал Ажибек, еле ворочая одеревеневшими губами.

— Не надо! Не надо! — жалобно заверещал невидимый нам Колбай.

Ажибек не выдержал, подкрался к сараю, заглянул в открытую дверь. А нам бы позвать на помощь людей, да подошвы прилипли от страха к земле, язык к нёбу прирос.

— Там такая жуть, такая жуть, — сообщил Ажибек, вернувшись. — Думаете, он глухого Колбая терзает? Как бы не так! Он

пытает себя! Лижет щипцы, как ложку сметаны. «Видишь, говорит, как я люблю Дурию».

— Лижет? Не может быть! — усомнился Самат.

И мы, остальные, тоже не поверили Ажибеку. И оттого, что он врал как ни в чем не бывало, страх наш исчез. Значит, там, в сарае, ничего ужасного не случилось.

— Ну, не совсем лижет, он же не дурак, — понравился Ажибек, очень недовольный нашим недоверием. — Но…

Он не договорил. В дверях сарая появился Ырысбек с щипцами в руке, постоял, сосредоточенно глядя перед собой, потом вспомнил про щипцы, небрежно отбросил их в сторону и сказал Ажибеку:

— Адъютант, развяжи этого человека. Да побрызгай в лицо водой. Он раскис, как слабая женщина.

Мы кинулись за Ажибеком в сарай, радуясь тому, что для глухого Колбая все кончилось благополучно. Тот лежал с закрытыми глазами в дальнем углу, ноги и руки его были скручены сыромятным ремнем.

Кайрат принес кружку воды, протянул Ажибеку, тот наклонился и полил узкой струйкой лицо Колбая.

— Не надо, — взмолился глухой Колбай. — Развяжите меня, ребята.

Ажибек ловко распутал ремни и, помогая Колбаю подняться, посоветовал:

— Да отдайте ему эту жену! Ему теперь убить ничего не стоит. На станции он уже двух убил. Я сам видел!

— Пропади пропадом эта Дурия! Лучше бы я ее никогда не видел, — простонал Колбай, направляясь к дверям.

— Думаете, его в легкое ранили? Ничего подобного. Его фашисты пытали. И он, наверное, думал, что вы тоже фашист, — бессовестно врал Ажибек, провожая глухого Колбая.

Тот, пошатываясь, вышел на улицу и, как назло, сразу наткнулся на учетчика Бектая.

— А-а, вот ты где?! — рассердился учетчик, чуть ли не наезжая на Колбая конем. — Мы его ищем, с ног сбились. А он в сарае спит!

— Чтобы ты так спал, — пожелал Колбай. — Ох, и этого Ырысбека мне бы больше не видеть в глаза!

— Нечего валить на честных людей! Ступай на ток и работай! — закричал Бектай.

— Иду, сейчас же иду, — испуганно пообещал глухой Колбай и побрел на ток.

А учетчик поехал за ним, точно конвойный.

На всю улицу разнесся громкий, заразительный хохот. Это в окно своего дома выглядывал Ырысбек и торжествовал над Колбаем.

— Что приуныли, орлы? А ну, заходите ко мне! — позвал Ырысбек, повеселившись.

Мы вошли к нему в дом, расселись вдоль стены, а хозяин взял домбру и вновь повалился на постель, не снимая сапог. И вновь зазвучали кюи, грустные, хватающие за душу, словно Ырысбек жаловался на свою судьбу. А когда его пальцы касались нижних делений на грифе, струны издавали прямо-таки раздирающие душу звуки. Потом он запел на русском языке:

Темная ночь,
Только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тускло звезды мерцают.

Мы еще плохо знали русский язык, поэтому некоторые фразы оставались непонятными, но песня, как я уже говорил, все равно брала за душу печальным мотивом.

— Эх, ребята, там дерется наш второй эскадрон, мои боевые товарищи, а я отлеживаюсь здесь словно инвалид какой-то, — сказал Ырысбек, тоскуя по своим друзьям. — Ажибек-ай, пусть твоя жизнь не знает того, что видел я. Как умирают под пулями живые люди… Сбегай позови жену мою, Дурию. Скажи, мне без нее плохо.

Ажибек оказал мне честь, позвал меня с собой. Мы сбегали на ток и привели Дурию. Ырысбек все еще лежал, грустил, перебирая струны домбры, но, увидев жену, отшвырнул инструмент в угол, бросился к ней, словно увидел впервые только сейчас. Они так и стояли посреди комнаты. Он — уткнувшись лицом в ее плечо, а она, косясь на нас, говорила:

— Сядь, Ырысбек, перестань. Здесь дети.

Ажибек указал нам глазами на дверь, мы вышли на цыпочках, боясь потревожить хозяина и хозяйку. Нам казалось, что Ажибек опять

начнет смеяться над Ырысбеком, обзывать его «лизуном».

— Вот что такое любовь, — сказал назидательно Ажибек. — Да разве вы что-нибудь в этом понимаете? Мелюзга!

— А ты понимаешь? — уважительно спросил Кайрат.

— А как же, — небрежно ответил Ажибек и вдруг озабоченно потянул носом.

По аулу плыл тонкий теплый аромат хлеба, испеченного из муки нового урожая. Его только что вынули из сковороды, и он наверняка еще был горячим-горячим.

После возвращения Ырысбека прошла уже целая неделя, а он все еще целыми днями валялся на неубранной постели и наигрывал на домбре, точно жизнь, проходившая за стенами дома, его ни капельки не касалась. Иногда он приглашал нас, ребят, и, усадив на кошму, рассказывал свои фронтовые истории. И одна была фантастичней другой.

— Расскажите еще, — ненасытно просили мы, — еще о каком-нибудь подвиге!

— Эх, ребята, ребята, — отвечал Ырысбек, качая головой. — На войне героизм да подвиги — это еще не все. На войне еще и стреляют. И мерзнут, и голодают. Вот отрежут тебя артогнем от тылов. Ты здесь, а старшина с кухней по ту сторону реки. Идешь ты в атаку, а чтобы крикнуть «ура», сил не хватает. А иной бы раз жизнь свою отдал, только бы разок отоспаться. Но самое страшное — когда убивают твоих товарищей. Тут плачут и самые железные. Так что война на самом деле совсем не так уж увлекательна, как это кажется в детстве. И не дай вам бог когда-нибудь воевать.

Он ласково гладил того, кто сидел к нему ближе, и говорил:

— Как ты похож на своего отца!.. Будь он жив, то-то бы порадовался, глядя на тебя…

Его нервы расшатались вконец, он просил, отворачиваясь к стене:

— А теперь, ребята, идите. Оставьте меня одного.

Мы ошеломленно выходили на улицу, а вслед нам неслись грустные звуки домбры и голос Ырысбека, поющий:

Родился я солдатом,
Затянул туго ремень.

Хоть ты, война, мне ненавистна,
Я буду бороться с проклятым фашистом.

Но более всего нам нравились минуты, когда Дурия прибегала домой на обед. И каждый раз Ырысбек и его жена встречались так, словно не виделись целую вечность, Он отбрасывал домбру, обнимал Дурию и затихал, а она ласкала мужа, будто малого, обиженного ребенка. Тут Ажибек кивал нам на дверь, и мы тихонько уходили, оставив их вдвоем.

Поведение Ырысбека вызывало у взрослых разные чувства. Одни из них жалели его, считали, что он из-за тяжелого ранения слегка тронулся умом. Вторые вспоминали прадеда Ырысбека, который будто бы умел разговаривать с душами умерших и предпочитал это занятие общению с живыми людьми, и вот, дескать, то же самое теперь случилось с его правнуком. А третьи просто называли Ырысбека отъявленным лентяем, уверяли, что он и в хорошие, мирные времена не любил ни учиться, ни работать. Только и делал, что с утра до вечера бренчал на домбре да играл на пирах и свадьбах. «Ему лишь бы лодырничать», — сердились третьи.

Говорят, председатель Нугман дважды приходил к Ырысбеку, на работу звал, стыдил, мол, не та в стране обстановка, чтобы можно было беспечно валяться в постели целый день. Ырысбек, в свою очередь, говорят, отвечал, что он солдат и не желает заниматься женским делом, что он отдохнет и снова пойдет воевать, мстить за своих убитых товарищей.

Ну а Колбай, стоило при нем даже вполголоса произнести имя Ырысбека, испуганно озирался по сторонам. То, что с ним произошло в сарае Ырысбека, так и осталось тайной. На вопросы аульных кумушек он в ужасе махал руками: «И не спрашивай, не скажу!» А характер у глухого Колбая такой, что уж если он говорил «не скажу», так из него и точно не выбьешь ни слова. Но зато над историей возвращения его прежней жены Апиш потешался весь аул.

Дня через два после ухода Дурии глухой Колбай отвез подводу сена на ферму, на которой Апиш работала дояркой. Он уже было сбросил груз с арбы и собрался назад в аул, как из коровника

появилась Апиш. Увидев бывшего мужа, она всплеснула руками и закричала:

— О, сын моего свекра, что же эта обманщица натворила с тобой?

Посмотрел на себя глухой Колбай как бы чужим глазом и увидел, что внешность его стала оскорбительно жалкой. Рукава обтрепались, пуговиц нет. Щеки без горячей пищи ввалились, лицо поросло щетиной, а под глазом позорно темнел синяк, полученный в ночной стычке с Ырысбеком. Обнаружив полный урон своему мужскому достоинству, глухой Колбай чуть не заплакал и в порыве чувств пожаловался Апиш на обиды, причиненные Ырысбеком, на утрату своего замечательного ножа, который остался в доме Ырысбека и который теперь не иначе как этим бессовестным человеком присвоен.

— Будь он проклят, этот Ырысбек! — разгневалась Апиш. — Интересно, чем лучше его Дурия моего Колбая? Почему он из-за той ведьмы унижает такого замечательного человека? — обратилась она к выбежавшим дояркам и, не получив ответа, пообещала: — Ну, ничего, я сама пойду к Ырысбеку. Послушаю, что он скажет! А мне-то Ырысбек скажет, даже если он спустился к нам с неба!

Однако начала она совершенно с другого: вынесла из общежития свои одеяла и подушки, погрузила свой скарб на арбу Колбая и, усевшись сама, велела, чтобы он вез к своему дому. Перед дверью Апиш слезла с арбы и, сказав: «Отнеси все это в дом, а я посчитаюсь с Ырысбеком», — решительно зашагала к дому обидчика.

До цели еще оставалось метров сто, а она уже начала поносить Ырысбека на всю улицу:

— Чтоб ты провалился, Ырысбек! Ты зачем вернулся с войны? Обижать больных и калек? Сейчас я проверю, какой ты смелый. Это я иду! Я! Апиш!

Каждому в нашем ауле, даже малым детям, было известно, что если уж Апиш решила во что-то вмешаться, обязательно жди большого скандала. Она никого не боялась, не лезла за словом в карман, споря с самым грозным начальством. Поэтому многие удивились, когда она безропотно собрала свои одеяла и подушки, ушла из дома глухого Колбая, уступив место Дурии. «Колбай — мой муж, он мужем и останется, — объясняла она своим дояркам. — Вы ничего в мужчинах не понимаете. Зачем его зря сердить, портить нервы и себе, и ему. Он

воображает, будто Дурия любит его. Пусть повоображает. Я подожду. А потом вернусь в дом Колбая. Вот увидите!»

Теперь, услышав ее воинственные возгласы, соседи Ырысбека поспешили на улицу, собрались в толпу любопытных.

— Эй, Дурия! Где твой муж? А ну-ка, заставь его выйти ко мне! — крикнула Апиш, остановившись перед домом Ырысбека. — Моего Колбая он победил, глухого человека. Забрал себе нож, который стоит целого ягненка. Но пусть он теперь попробует справиться со мной, Апиш! Истинной женой Колбая!

То ли Ырысбек и вправду испугался ее угроз, то ли решил не позорить себя ссорой с чужой женщиной, только кое-кто из ребят видел, как он открыл окно с противоположной, невидимой стороны дома, вылез наружу, шмыгнул в сарай и не появлялся дома до ухода Апиш. Вместо него с ней говорила Дурия, на хлебе клялась, что Ырысбек не брал ножа, насилу избавилась от нее.

— Он все равно нож отдаст. Я заставлю! Так и передай своему! — сказала Апиш, уходя.

Узнав о претензиях глухого Колбая и его жены, Ырысбек озаботился и сказал нам:

— Ничего не понимаю, куда пропал этот проклятый нож? Не сквозь землю же он провалился? Я помню, как выбросил его в окно, когда отнял у Колбая. Утром мы с Дурией осмотрели все под окном, и никакого следа. Странно!

Ажибек исподтишка показал нам кулак: мол, только попробуйте заикнуться…

Наступил сентябрь, мы снова отправились в школу, но свободного времени у нас от этого не убавилось. Уроки занимали не более двух часов. Педагогов в ту военную пору не хватало. Им приходилось работать в две-три смены. А наш учитель Мукан-ага еще ко всему был очень больным человеком. Позанимавшись с нами два часа, он отпускал нас домой, чтобы успеть отдохнуть перед следующей сменой. Мы с радостными воплями бежали к дому Ырысбека, играли там до позднего вечера.

Нам очень хотелось развеселить Ырысбека, сделать ему что-нибудь приятное, но мы долго ничего не могли придумать. И вдруг однажды Ажибека осенило. Он хлопнул себя по лбу и сказал:

— Я знаю!.. Дабай покажем Ырысбеку концерт!

Мы с восторгом уставились на своего вожака — отчаянный он человек, ничего не скажешь!

— Это было бы здорово! Да только мы не артисты, — вздохнул рассудительный Асет.

— Ну и что? Возьмем и сами поставим пьесу. Не хуже настоящих артистов, — пояснил Ажибек. — Один из нас будет Тулегеном, другой Бекежаном, а кто-то Кыз-Жибек, Шеге, Каршыга… Ырысбеку очень понравится!

Ну, если сам Ажибек так уверен…

— Дабай!.. Дабай! — закричали мы, подражая Ажибеку.

И начали распределять роли. Себя Ажибек назначил Бекеном, Кайрата — Тулегеном… Нашлись среди нас и Шеге, и Каршыга… Только вот не было Кыз-Жибек. Никто из ребят не соглашался изображать из себя женщину. Тогда Ажибек послал Кайрата и Самата к девчонкам. Но те вернулись с плохой вестью.

— Никто не хочет, — сообщил Кайрат. — Даже сирота Тоштан и та отказалась. Я ей говорю: «Подумай, какую красавицу будешь играть. Дура!» А она: «Сам дурак! Для вас даже трижды красавицу не стану играть. Вы в школе дергаете за косы».

— Ну и не надо! Обойдемся и без Кыз-Жибек! — сказал Ажибек, ничуть не расстраиваясь.

— Из-за кого же тогда будут сражаться герои? — удивился Самат.

И он был прав. Мы приуныли, нам очень хотелось сыграть этот спектакль.

Чтобы русский читатель понял, почему удивился Самат, скажу так: играть спектакль по известному эпосу без Кыз-Жибек все равно что ставить «Ромео и Джульетту» без Джульетты, или «Анну Каренину» без участия Анны.

Но уверенность Ажибека осталась несокрушимой.

— А просто так будут сражаться! Будут, и все! — легко и беспечно ответил наш самозваный постановщик, и мы охотно с ним согласились. В самом-то деле почему нужно сражаться из-за кого-то? Почему нельзя воевать просто так?

Старый, заброшенный сарай стал нашим театром. Кайрат стащил из дома видавший виды дырявый палас, и мы превратили его в занавес, поручив держать его двум мальчикам, которым не хватило

ролей. Оставалась еще одна забота: чем мазать себя, как это делают все настоящие актеры? Для окраски ресниц и бровей мы быстро приспособили древесный уголь, но вот чем побелить лицо — это нам казалось почти невыполнимой задачей. Свой мел учитель Мукан-агай бережно заворачивал в платок и прятал в карман пиджака, и подобраться к нему не было совершенно никакой возможности. Однако наш предводитель и тут нашел выход из положения. Перед самым началом спектакля он повел нас в правление колхоза, и там мы потерли ладонями о недавно побеленные стены, густо намазали их известкой.

На шум, поднятый нами, из своей комнаты выскочил учетчик Бектай и сердито спросил:

— А вы зачем сюда пришли? Вам что? Улицы мало?

— У нас теперь будет театр, — честно сказал Самат и тут же получил от Ажибека затрещину.

— Я вам покажу театр! — не поверил Бектай. — Нашли место для игр? А ну, вон отсюда!

Вернувшись в сарай, мы перенесли известку с ладоней на щеки и лоб. После того, когда для начала все было готово, Ажибек позвал Ырысбека. Тот пришел в своей солдатской форме со шпорами и уселся на единственную скамью. А мы трепетали за паласом, который держали два тоже взволнованных мальчика. У меня пересохло в глотке, мне казалось, что сейчас я забуду все слова или совсем потеряю голос, открою рот, а из него вырвется шипение, как у гусака.

— Дабай! — скомандовал Ажибек, тоже волнуясь.

Мальчики, державшие занавес, отступили в сторону, и перед Ырысбеком, как я сейчас представляю, открылись маленькие, тощие чудовища, перемазанные известкой и углем, в залатанной одежде, с босыми ногами, усеянными цыпками. Ырысбек бешено захохотал, словно к нему сзади кто-то подкрался и начал щекотать под мышками.

Белая лань Яика, красавица Жибек…

Тут Ырысбек и вовсе закатился от смеха. Он хлопал себя по бедрам, хватался за живот, из глаз его ручьями струились слезы.

Смущенные его смехом, мы кое-как, пропуская слова, доиграли пьесу до конца.

— Желание ваше похвально, ребята, — сказал Ырысбек, посерьезнев. — Вы хотите заняться серьезным делом. Это хорошо. Да только не с того конца вы взялись. Мужчина теперь солдат! И с этого дня я сам займусь вашей военной подготовкой. Адъютант!.. Ажибек!

— Что, дяденька? — отозвался Ажибек; он, как и все ребята, был расстроен нашим провалом.

— Отставить! — рявкнул Ырысбек. — Что должен сделать солдат, когда его зовет командир?

Ажибек вскочил, точно его подстегнули, подошел к Ырысбеку и вытянулся, козырнул.

— Есть! Я здесь, товарищ командир!

— Теперь другое дело. Распустился ты, адъютант. Хромает у тебя дисциплина, — строго выговорил ему Ырысбек. — Ну вот что, построй своих бойцов по росту и веди строем за мной.

— Есть, командир! — восторженно завопил Ажибек. — Эй, недотепы, слышали? А ну-ка, стройся в ряд! Живее!

Мы путались, сталкивались носами, никто не хотел стоять самым последним. Ажибек бегал перед нами, грозил голову оторвать бестолковым, наконец с грехом пополам построил и привел нас следом за Ырысбеком к одинокой яблоне.

Здесь Ырысбек проверил, как мы умеем стоять в строю, и остался нами недоволен. У кого-то торчали носки ног, а кто-то высунулся сам вперед. У Кайрата и Батена было мокро под носом.

— Запомните: как бы солдату ни было плохо, он должен смотреть молодцом! Всегда! То, что сказал командир, для солдата закон. Главное в армии — порядок. У нас будет как в армии. Кто станет лениться или нарушать дисциплину, получит наряд вне очереди.

— А что это такое? — спросил Кайрат.

— Ажибек, принеси лопату! — приказал Ырысбек.

Ажибек сбегал в ближайший дом и вернулся с лопатой.

— Возьми лопату и вырой яму отсюда досюда, — сказал Ырысбек Кайрату. — Тогда поймешь, что такое наряд.

— Я уже понял! — испугался Кайрат.

— У кого еще есть вопросы? — спросил Ырысбек.

— У меня! — сказал Ажибек.

— Спрашивай! — разрешил Ырысбек, нахмурив брови.

— Можно, я буду вас называть главнокомандующим?

Ырысбек подумал и кивнул:

— Если хочешь, зови… А сейчас я покажу, как надо ходить в строю и поворачивать направо и налево. И кругом. Это называется начальная подготовка бойца!

Он топал сапогами впереди нашего строя, командуя:

— Раз, два!.. Раз, два!.. Левой!.. Левой!..

И шпоры отзванивали счет: дзинь-дзинь… дзинь-дзинь… Мы старательно вышагивали за ним босиком по мягкой пыли. Шлеп… шлеп… шлеп! И каждый мечтал вырасти поскорей и носить такие же сапоги и шпоры, как у нашего командира.

Так, сами того не ожидая, мы стали маленькими солдатами. Ырысбек муштровал нас каждый день после уроков. Видно, еще не остыв от фронта, увлекшись, он и в самом деле готовил из нас настоящих бойцов, заставляя ползать и продвигаться вперед перебежками под огнем воображаемого противника. Вооружившись палками, мы выполняли ружейные приемы и ходили в атаку. А сам Ырысбек, точно полководец, стоял под яблоней на холме — на своем командном пункте, как он называл холм, — и руководил воображаемым боем.

— Эх, если бы не кровавая рана, я бы уже, наверное, майором был, — говорил нам потом Ырысбек. — Фашисты знали, кого убивать. Все целились в меня.

Однажды во время наших занятий к нам наведался председатель Нугман. Он остановил коня в стороне, понаблюдал за нашими упражнениями, потом подъехал к Ырысбеку, стоявшему, как обычно, под яблоней, и что-то тихо сказал, с трудом нагнувшись с седла.

— Не мешайте мне! Уезжайте отсюда! — громко огрызнулся Ырысбек.

Нугман сказал что-то еще.

— Не мешайте мне, говорю, обучать защитников родины! — закричал Ырысбек.

На этот раз и председатель заговорил чуть громче, до нас донеслись слова «стыд», «управу», «район».

— Ты кого вздумал стыдить? Кого стыдишь, тыловая шкура! — взорвался Ырысбек. — Уходи, пока жив! Уходи, говорю! — и

машинально потянулся за винтовкой.

Нугман осуждающе покачал головой, повернул коня и уехал в сторону колхозного тока. А Ырысбек еще долго бесновался, кричал, дрожал от возмущения:

— Он говорит: шел бы работать! А вы, мол, дети еще! Вам еще рано! Он готов превратить вас в девчонок! Районом решил меня припугнуть! Найти управу! И я за таких кровь проливал! Легкое подставил под пулю!

И все же у меня до сих пор сохраняется ощущение, что в этом взрыве ярости было что-то нарочитое. Словно Ырысбек играл какую-то роль, известную только ему одному. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что он поглядывал на нас одним глазом, как бы спрашивал: ну как, получается у меня?

В последнее время с Ырысбеком что-то произошло. А началось это превращение с того, что он однажды решил обойти семьи погибших и выразить свое сочувствие им. С собой он зачем-то взял Ажибека и меня.

Первым Ырысбек навестил самого старого аксакала, девяностолетнего Куатбая, у которого в начале войны погиб единственный внук. От горя старик совсем одряхлел. Сощурив глаза, он долго всматривался в Ырысбека и, так и не узнав, спросил:

— Ты кто? Уполномоченный человек из района?

— Дедушка, я Ырысбек! Помните? Друг вашего внука Темира!

— Как же, как же, помню. Ты сын хороших людей. А ну-ка, дорогой, нагнись ко мне, нагнись, — попросил Куатбай, сидевший на кошме.

Ырысбек почтительно наклонился, старик прикоснулся носом к его лбу и удовлетворенно сказал:

— Да, ты Ырысбек. Я узнал тебя. Ты правнук Кокеная. Мы были с ним большими друзьями. Да, да, очень большими. Заберемся, бывало, на одного коня, вцепимся в гриву и айда в степь. Мальчишками еще были… А когда подросли, вместе угоняли скот у баев. Э, чего мы только не делали с прадедом твоим Кокенаем!.. Хе-хе, — Куатбай неожиданно рассыпался дребезжащим смехом, видно вспомнив что-то еще из давних проделок, и тут же опечалился, вздохнул. — Да когда это было… Теперь сижу, как старая, выжившая из ума ворона. Тебя вот

за уполномоченного принял… Есть у нас тут один безрукий, из района прислали. Все ходит вокруг моего дома. Видеть его не могу!

— И за что ты ругаешь этого человека? — подала голос из угла его старуха, перебиравшая шерсть. — Может, у него работа такая. Вот он и ходит.

— Все равно не по душе мне это, — тянул свое упрямый старик. — Что же выходит? Если я еще не умер, значит, и гордость мою можно топтать? Э, какой я был раньше! Никто не смел пройти мимо меня с наветренной стороны. Вот каким был в молодости Куатбай. А теперь лежу, как старая кошма на дороге. И каждый под окнами ходит. Словно я что-то для фронта пожалел. Под себя упрятал.

Тут он спохватился, вспомнил, что у него гость, и, повеселев, сказал Ырысбеку:

— Значит, вернулся с войны? Живой? Невредимый? Это самый дорогой для нас подарок! Эй, старуха, после будешь вязать! Чай поставь! Да казан подними! Зарежь барашка, того, что пожирней. Разве не видишь, парень вернулся из дальней дороги!

«Поднять казан» — значит приготовить обед. Ырысбек, к нашему огорчению, запротестовал:

— Спасибо, дорогие! Не утруждайте себя. Я отпробую только хлеба и пойду. Хочу обойти весь аул. Посидим поговорим в другой раз.

— Только заходи так, чтобы уж потом не торопиться, — потребовал Куатбай.

Когда мы вышли на улицу, к дому подкатила арба с парой быков в упряжке. На арбе сидела Зибаш, сноха Куатбая, возившая хлеб с тока в амбары. Увидев Ырысбека, она заулыбалась, легко соскочила на землю и подошла к нам.

— Здравствуй, — сказала она Ырысбеку, — наконец-то можно поздороваться с тобой. А то к тебе никак не подойдешь. То люди вокруг тебя, то сидишь дома, на улицу не выходишь…

Зибаш не договорила, голос ее сорвался, на глазах выступили слезы.

— Зибашжан, что с тобой? — забеспокоился Ырысбек.

— Да вот увидела тебя, вспомнила своего Темира. Будто это он на твоем месте. Вы с ним были такие друзья, — пояснила Зибаш, всхлипывая и вытирая слезы уголком цветного платка.

Если верить Ажибеку, Зибаш самая красивая в нашем ауле. И лицо у нее светлое. И глаза большие и бархатистые. «Как у верблюжонка, — пояснял Ажибек. — Ножки стройные, а сама она полненькая. Скорей бы стать взрослым, тогда я на ней женюсь».

Пока Ырысбек успокаивал Зибаш, я придирчиво рассматривал молодуху, желая удостовериться, прав ли Ажибек и точно ли нет никого красивей ее в нашем ауле. Однако ноги Зибаш скрывали грубые шерстяные ручной вязки чулки, — попробуй угадать, прямые под ними ноги или кривые. Старенькое, выгоревшее ситцевое платье ее порвалось на плече, и в прорехе сверкало голое тело. Хваленое лицо Зибаш посмуглело от солнца, блестело от пота. И я с облегчением решил, что моя сестра Назира куда красивее Зибаш.

— А как ты живешь, Зибашжан? — расспрашивал в это время Ырысбек.

— Да как поживают вдовы, сам знаешь.

— А ты все такая же красивая.

— Ырысбек-ай, это ты говоришь, чтобы не обидеть меня. Какая красота без мужа… — И Зибаш невольно засмеялась, открыв белые ровные зубы.

Ажибек толкнул меня в бок: ну как, мол, видишь сам. Да только я все равно бы не изменил своего мнения, сколько бы Ажибек ни толкался.

А Зибаш вспомнила про свое рваное платье и стыдливо прикрывала прореху рукой.

— Зибашжан, разве что-нибудь может убить такую красоту? Даже горе! — горячо сказал Ырысбек.

— Правда, правда! — вмешался Ажибек.

— А ты молчи! Мал еще! — прикрикнул на него Ырысбек и снова повернулся к Зибаш: — Помнишь, как мы с Темиром пришли за тобой, невестой? Я тогда пел: «Зибаш, ты лисичка, бегущая с горки…» Еще не забыла, а?

— Как же я могла забыть, Ырысбек? Твоя песня до сих пор звучит у меня в ушах. Да только уже не вернешь те времена. И Темира.

— Что и говорить, Темир был султаном среди джигитов.

— Пусть бы вернулся без рук, без ног, лишь бы живым. Я уж не знаю, как бы благодарила судьбу, — и глаза Зибаш снова наполнились слезами.

— Война, Зибаш. Крепись!

— А что еще остается? Да и все слезы, кажется, выплакала. Только вот увидела тебя и не выдержала. Считай, что от радости.

Зибаш улыбнулась светло, сквозь слезы. Из дома выглянула ее ене — свекровь — и удивилась:

— Зибаш-ай, ты здесь? Мы уже думали, не приедешь. Ждем, а тебя нет. А я уже тебе поесть приготовила.

— Сейчас, ене, иду, — откликнулась Зибаш и, взглянув как-то странно на Ырысбека, скрылась за дверью.

Если бы кто знал тогда, к каким последствиям приведет встреча Ырысбека и Зибаш и этот странный, загадочный взгляд, которым молодая вдова его одарила! Но в тот раз даже сам Ырысбек не подозревал об этом.

— Ну, а теперь, Канат, пойдем к тебе, — сказал он мне, и мы зашли в наш дом.

Бабушка не знаю как обрадовалась Ырысбеку. Засуетилась, запричитала, словно появился ее собственный сын.

— Дорогой мой, дай я тебя обниму, поцелую. Живой, живой… Вот так… А теперь в голову… в глаза твои ясные.

И целовала его, и плакала. Я даже не вытерпел, заревновал.

— Бабушка! — обиженно окликнул ее.

— А, и ты здесь! — обрадовалась бабушка и бросилась ко мне. — Помогаешь большому воину! Ты уже совсем взрослый джигит!

Тут она заметила Ажибека:

— Ажибек, это ты, мой мальчик? Ой, и шалун, и шалун! Что стоишь, словно я тебе чужая? Дай и тебя поцелую!

Ах, бабушка, бабушка! Ты, наверное, была готова перецеловать всех людей без разбору. Все они для тебя были родные и милые. Меня распирало от гордости за свою добрую бабушку. Из-за нее я и сам вырос в собственных глазах, как говорят, «едва не доставал макушкой до неба».

Бабушка было бросилась к очагу, собираясь угостить дорогого гостя, но Ырысбек не думал засиживаться и у нас, сказал, что только отведает хлеба и отправится дальше.

За окном пролетели торопливые шаги, и тотчас в комнате появилась запыхавшаяся Назира. Увидев Ырысбека, моя старшая сестра смутилась, опустила глаза.

— Неужели это Назира? — удивился гость. — Как бы не сглазить, совсем взрослой стала ваша внучка. Когда я уходил на фронт, она была сопливой девчонкой. А теперь такая красавица! — сказал Ырысбек, откровенно оглядывая мою сестру.

— Ты угадал, это мой свет, моя Назираш, — подтвердила бабушка, сияя. — Ну-ка, внучка, поскорей расстели дастархан, хлеба нарежь и налей айран дорогому гостю. Ему некогда ждать.

Сестра Назира мигом расстелила дастархан, нарезала хлеба, но вот вышла за айраном и почему-то задержалась.

— Куда же она пропала? — заволновалась бабушка. — Потерпи немного, сынок. Назира! Назира! Ты что там? Заснула?

Я стоял рядом с дверью и потому услышал шепот сестры:

— Канат, выйди ко мне.

Я выскользнул за дверь. Сестра стояла в прихожей, держала в руках два тостагана с айраном.

— Возьми отнеси. Я боюсь, — сказала она. — У этого Ырысбека какие-то… нехорошие глаза.

Когда, отведав хлеба, мы вышли из нашего дома и направились к другому, сестра Назира вдруг спохватилась, выбежала следом, позвала меня:

— Канат, вернись! Я забыла сказать: мама поручила тебе что-то сделать!

Ах, как это было некстати. Признаться, я сопровождал Ырысбека не без удовольствия. Нам с Ажибеком тоже доставались почести, нас усаживали за дастархан, будто мы тоже были взрослыми, будто так же вернулись с войны. Но слово мамы было законом. Если уж она сказала, ты расшибись, а сделай.

— Ну что? Что она поручила? — пробурчал я, вернувшись.

— Нечего тебе ходить по домам. Лучше возьми топор да дров наколи. Ты ведь у нас самый старший мужчина, — с улыбкой добавила Назира.

— Ладно, наколю, — сказал я, с завистью глядя, как Ырысбек и его «заместитель» входят в соседний дом.

С этого дня Ырысбека словно подменили. Если прежний Ырысбек с утра до вечера лежал полуодетый да растрепанный дома и пел грустные песни, то этот, новый, ходил по аулу, мурлыча под нос

веселенький мотив, и по нескольку раз на день начищал кусочком кошмы медные пуговицы на своей гимнастерке.

Но однажды он появился перед нами темнее тучи.

— Смирно! — скомандовал нам Ажибек и повернулся к Ырысбеку. — Товарищ главнокомандующий…

— Ажибек! — прервал его наш взрослый начальник. — Сейчас же принеси нож глухого Колбая. Да поскорей! Так, чтобы ноги земли не касались! Понял?

— Нож? Чей нож? Глухого Колбая? — начал было Ажибек, прикидываясь, будто он ничего не понимает.

— Даю тебе пять минут! — грозно произнес Ырысбек.

— Понял, все понял, — поспешно сказал Ажибек и помчался в аул.

Вернулся он скоро, — наверное, и минуты не прошло, — и протянул нож Ырысбеку.

— Убери эту гадость, — брезгливо отмахнулся Ырысбек. — Даю тебе еще пять минут! Отнеси нож в дом глухого Колбая, отдай его жене Апиш и расскажи, как и когда украл! А вы, — он указал на Садыка и Асета, — пойдете вместе с ним и проверите, так ли он сделал, как я приказал. И не вздумайте соврать! Я все равно узнаю.

Ажибек отнес нож, и сопровождавшие доложили, что он сделал все, как было велено.

— Встаньте в строй, — сказал Ырысбек и долго ходил взад-вперед перед нами и молчал, только шпоры звенели. Наконец он что-то надумал. — Ажибек, ты опозорил честь нашего воинского подразделения! Объявляю тебе пять суток ареста! — Он сунул руку в карман своих галифе и достал уже знакомый нам ключ от сарая. — Кайрат, отведи арестованного на гауптвахту.

— Есть! — с готовностью крикнул Кайрат.

Мы уже давно заметили, как он тщится занять место Ажибека. Бывало, придем к Ырысбеку, а Кайрат уже тут как тут — чистит ему сапоги или трет кусочком кошмы медные пуговицы. А однажды он не пустил заместителя в дом Ырысбека. Встал перед дверью: «Подожди здесь, главнокомандующий пока отдыхает». Ажибек ничего не сказал, только стиснул зубы, покосившись на окно, из которого доносилось пение Ырысбека. Но в этот же день, когда мы перебегали «под огнем противника», он подставил ножку Кайрату, и тот грохнулся с разбега

наземь. Кайрат сдержался, не заплакал, потому что взрослые говорят: кто заплачет во время игры, станет совершенно лысым.

И вот теперь Кайрат получил возможность отомстить Ажибеку.

— А что такое гупвахта? — спросил он, преданно глядя в глаза Ырысбеку.

— Гауптвахта, — поправил Ырысбек и сумрачно пояснил: — Место для дисциплинарного содержания.

— Ясно, — сказал Кайрат, хотя было заметно, что он ничего не понял.

Мы, остальные, тоже ничего не поняли. И только Ажибек догадался, что это такое.

— Веди в сарай, дурак! — сказал он своему конвоиру.

Мы думали, что гордый Ажибек удерет, а он поднял руки вверх, как пленный, и сам пошел в сарай, в котором когда-то Ырысбек держал глухого Колбая.

Ажибек просидел в заключении до позднего вечера. Когда к сараю пришла его мать, он соврал, что находится здесь добровольно, что ему нравится сидеть взаперти. Потом появился председатель Нугман и открыл замок какой-то железкой, но и тогда Ажибек отказался выйти на волю.

Нугман ушел к Ырысбеку. Говорили они долго и громко препирались, однако, вернувшись, председатель сообщил, что Ырысбек отменил свое наказание.

— Честное слово? — спросил Ажибек и вышел после того, как Нугман поклялся своими предками.

Потом я спросил, почему он упорно не хотел расставаться с «гупвахтой».

— Ты что? Не понял, что такое военная дисциплина? — нахмурился Ажибек.

— Я сразу понял. Но ведь ты ножик не крал, а просто поднял с земли.

— А какая разница? — резко оборвал Ажибек. — Я подвел своего главнокомандующего. Будь мы настоящими солдатами, знаешь, что бы со мной сделали тогда? Давно расстреляли. А ты: «Почему? Почему?»

Я прикусил язык. Доводы Ажибека показались мне очень убедительными.

А в общем, как я уже говорил, Ырысбек повеселел в последнее время, словно полегчал тяжкий груз, принесенный им из пекла войны. И обучал он нас теперь без прежнего интереса, а однажды и вовсе распустил, повозившись с нами каких-нибудь полчаса.

— Все, ребята, я сегодня занят. Идите играйте а свой мяч. А ты, Канат, останься, — сказал Ырысбек, расправляя складки под ремнем. Он одергивал свою гимнастерку, наверное, каждые пять минут. Остановится или прервет разговор и одернет.

Ребята убежали играть, а мы остались вдвоем. Я стоял перед Ырысбеком, он оглядывал меня с ног до головы, будто впервые по-настоящему прикидывал, какая мне цепа. Его острый взгляд, казалось, видел не только мои потроха, но и яблоневый лес, темневший за моей спиной, и траву, и листья, которые моя спина закрывала.

— По-моему, из тебя выйдет неплохой джигит, — сказал Ырысбек, довольный своим осмотром. — Есть секретное, важное дело. Я думал, кому поручить, и решил, что лучше тебя его никто не исполнит. Ты язык за зубами умеешь держать?

Я утвердительно кивнул. От радости у меня не хватало слов, чтобы заверить его в своей выдержке.

— Если так, вот тебе письмо. Отнеси его к старому амбару. Туда придет Зибаш. Отдай ей. И никому ни слова. Повтори!

— Есть никому ни слова, товарищ главнокомандующий Ырысбек-ага! — воскликнул я и, не чуя ног от восторга, помчался к амбару.

— Стой! — крикнул Ырысбек. — Ты что, у всех на виду? Крадись стороной, как в разведке!

Я прошмыгнул задами, прячась от людей, и вышел к заброшенному амбару с другой стороны аула. Сел у стенки и начал ждать.

Старый амбар будил во мне грустные воспоминания. Ведь именно здесь встречалась моя сестра Назира с Токтаром. И свидания тоже были окутаны тайной. Но если их тайна сейчас мне казалась чистой и прекрасной, то в секретном поручении Ырысбека я почувствовал что-то сомнительное, и оно уже не радовало меня.

Зибаш пришла к заходу солнца. Я торопливо сунул письмо в ее руки и побежал прочь без оглядки.

— Канат, что ты мне дал? Да погоди же, Канат! Куда ты? — закричала Зибаш.

Но я мчался во всю прыть домой. «Что дал? Что дал? Если не знаешь, зачем же тогда пришла к амбару?» — мысленно отвечал я Зибаш.

Придя домой, я умылся теплой водой, которую налила мне бабушка в таз, помазал цыпки на ногах сливками, потом поел перед сном. Мама и сестра Назира остались на току, я знал, что они вернутся не скоро. А бабушка взяла малышей к себе в постель и начала рассказывать сказку. Но на этот раз я слушал ее вполуха и все время думал, почему Ырысбек сделал тайну из письма к Зибаш.

Я уже разделся и был готов забраться под одеяло, когда кто-то постучал в ближнее ко мне окно. С той стороны к стеклу прилипло круглое лицо Ажибека. Его и без того широкий нос еще более расплющился о стекло. Ажибек манил меня пальцем: а ну-ка, мол, выйди ко мне.

Я снова надел рубаху и штаны и выскочил во тьму, на улицу.

— Куда ты дел письмо, которое дал тебе Ырысбек? — сразу же напустился Ажибек.

Он застал меня врасплох, и я, забыв про обещание молчать, растерянно пролепетал:

— Отдал его Зибаш. Как он и велел.

— «Велел, велел»! Ну и осел же ты, Канат! — рассердился Ажибек не на шутку. — Влепить бы тебе по носу за это!

— За что?! Он ведь главнокомандующий наш. Ты сам говорил про военную дисциплину!

— Тьфу! Какой же ты бестолковый! — взорвался Ажибек. — Ведь то я про военное говорил, про общее, наше. А здесь личное дело совсем. Он не имел права тебе приказывать!.. Все, потерял я ее! Что теперь будет?! Что будет?!

— Кого ты потерял? — спросил я, ничего не понимая.

— Да Зибаш потерял.

— Как это можно ее потерять? Она же человек, а не предмет какой-то!

— Я жениться на ней хотел. Когда вырасту.

Он уже говорил об этом не раз. И мне каждый раз было смешно.

— Она же старше тебя. Она уже теперь взрослая, — сказал я, опять сдерживая смех.

— А, что тебе говорить! Ты все равно ничего не понимаешь, — ответил он с досадой. — Вот что, идем поищем Зибаш. Она еще домой не возвращалась. Ырысбек ее задержал. Не пускает.

Я заглянул домой, набросил пиджачок, и мы отправились на поиски Зибаш. Сначала подошли к дому Ырысбека, заглянули в окно. Самого хозяина не было. Дурия сидела возле очага, на котором стоял приготовленный ужин, ждала Ырысбека.

— Ага, я знаю, где они, — решительно прошептал Ажибек. — Они возле конюшни. Если не боишься, пойдем!

Кто из мальчишек признается в трусости? И мы побежали на конюшню.

Обычно летом конюшня была пуста. Лошадей угоняли на пастбище. Только арба Зибаш одиноко чернела у коновязи. В темноте тяжело вздыхали быки, точно сетовали на свою нелегкую долю.

Мы подошли к строению с тыла и забрались по лестнице-стремянке на крышу. Прошлогоднее сено на крыше кое-где уже осыпалось; припав к одной из дыр, мы ясно услышали голоса Ырысбека и Зибаш.

— Ырысбек, постыдись, — говорила Зибаш, — у тебя есть жена. Ты ведь любишь Дурию.

Ырысбек зло отвечал:

— Я тоже так думал. Совсем одурел, когда вернулся домой. Был готов простить ей все. Но теперь-то пришел в себя, поумнел. Нет, мне не нужна женщина, которая поверила казенной бумажке. Я хочу такую, как ты, Зибаш!

— Не надо, пусти, — взмолилась Зибаш. — Неужели ты возьмешь меня силой?

— Возьму! — твердо сказал Ырысбек.

— Я ведь пришла к тебе, потому что ты был другом Темира.

— Темира уже нет, Зибаш!

— Ырысбек, я буду кричать!

— Что ж, кричи. Я не боюсь!

— Как только она крикнет, прыгаем прямо к ним. Мы ему покажем. Пусть не пристает к Зибаш, — шепнул Ажибек, весь дрожа.

Но Зибаш почему-то промолчала, а затем и вовсе рассмеялась.

— Ой, щекотно… Ырысбек, у тебя холодные руки… Я стесня-юсь!

Ажибек издал какой-то придушенный звук, словно подавляя рыдания, и скатился с крыши на землю. Я спрыгнул следом за ним, но перед этим чуть-чуть замешкался, и Ажибек, почему-то не дожидаясь меня, припустил в сторону аула. Я погнался за ним, споткнулся о кочку и упал.

— Ажибек! Ажибек! — позвал я, но он не откликнулся.

Утром он пришел ко мне сам. Я привык видеть его вечно веселым, с улыбкой во весь рот. Но на этот раз Ажибек был хмур, сосредоточен.

— Канат, — сказал он, — передай всем: кто хочет дружить со мной, пусть даже не подходит к дому Ырысбека. Я-то думал, он настоящий главнокомандующий, сам на гупвахту пошел, чтобы никто не думал, будто он утаил нож Колбая, а он… в общем, передашь?

Я молча кивнул.

Дня через два аул стал свидетелем ряда перемещений. Зибаш покинула свекра и свекровь и переехала в дом Ырысбека. Дурия вновь забрала свои вещи и, обливаясь слезами, вернулась к глухому Колбаю. Апиш, ругаясь, проклиная всех и вся, взвалила на спину постель и отправилась на ферму.

Пришел я как-то с улицы домой и застал в комнате Назиру. Сестра прибежала за водой и как раз собиралась обратно на ток. Увидев меня, она обрадовалась:

— Как хорошо, что ты пришел! Я уже думала, тебя не дождусь. Ну, вот что: поешь, и пойдем со мной. Мама велела тебя привести на ток.

— Не могу. Я так занят, так занят, — сказал я, сообразив, что мать и сестра что-то задумали, а у меня были свои соображения насчет того, как провести вторую половину дня. Ну хотя бы поиграть в мяч с ребятами. Или во что-то другое.

— Ничего, отложишь свои дела и пойдешь. Я же ясно сказала: мама велела тебя привести, — строго напомнила сестра. — Ты из-за своих друзей Ырысбека и Ажибека совсем отбился от рук.

— А что я не видел там, на току? — спросил я, притворяясь удивленным.

— Малатас ты не видел. Сядешь за малатас и поможешь нам молоть зерно.

Напрасно язвила сестра Назира. Я, конечно, знал, что такое малатас. Это камень, который тащила за собой лошадь по кругу. Так раньше молотили хлеб на току.

— Я еще маленький, — захныкал я, стараясь разжалобить сестру.

— Ага, работать ты маленький, а таскаться с Ырысбеком по домам ты уже взрослый? — рассердилась сестра Назира. — У нас людей не хватает, не знаем ни отдыха, ни сна, а ему лишь бы бегать по улице! Вот как дам сейчас по шее!

В последнее время сестра Назира стала очень похожей на маму: и характером, и лицом. И даже когда бранит, и то как будто бы подражает интонациям мамы. Теперь с ней лучше не связываться. Если сказала, что треснет по шее, то обязательно треснет. Тоже мамина привычка — слово держать.

Делать нечего, поел я нехотя — какой уж тут аппетит — и поплелся за сестрой, как собачонка. Пришли мы на ток, и сестра, как и обещала, посадила меня на гнедого коня, который возил малатас. До этого гнедым поочередно правили старик Байдалы и глухой Колбай.

— Хорошо вы придумали, — одобрил старик Байдалы. — И мы с Колбаем делом займемся, и коню легче будет. На, возьми поводья, Канат, и держи их натянутыми. Твоя мама комонес и бриадр[15], и ты должен показывать пример другим ребятам. Если будешь работать как надо, они посмотрят и сами придут. Ты меня понял? — И старик Байдалы заговорщически подмигнул и отошел, очень довольный своей придумкой.

Гнедой скосил на меня большой добрый глаз, как бы спрашивая разрешения, и затопал по кругу, устланному снопами хлеба, застучал копытами: дук-дук. И малатас покатился, запрыгал за ним, тоже застучал: дук-дук. Вот мы описали первый круг, потом второй… третий… четвертый. Гнедой шагал, склонив голову набок. Дук-дук! За ним катился малатас. Дук-дук! Круг повторялся за кругом, и вскоре перед моими глазами завертелось все: и столбы навеса, и лица. Вдобавок к этой беде шаг у гнедого был неровный, тряский, внутренности так и прыгали у меня в животе. Казалось, еще немного, и они оторвутся.

— Держись крепче, смотри не упади, — донесся словно откуда-то издалека голос старика Байдалы.

Я судорожно вцепился в седло и закрыл глаза, стараясь избавиться от тряски и головокружения. Но безжалостная, неодолимая сила тянула меня к земле, в центр круга. Звуки слились в сплошной фон, в ушах звенело.

— А ну-ка останови лошадь! — прорвался ко мне чей-то возглас.

Я натянул поводья, и гнедой разом остановился. Если бы кто знал, какое наслаждение просто сидеть и не двигаться. И люди, и столбы вернулись на свои места, прекратилась боль в животе.

— Отдохни, отдохни, — сказал старик Байдалы. — Ничего, скоро привыкнешь. Мы в твои годы целыми неделями не слезали с седла. Оставят тебя одного на всю степь, и ты пасешь табуны.

Пока собирали обмолоченное зерно, пока настилали новые снопы хлеба, я получил передышку, немного пришел в себя. К тому же сестра Назира укоротила стремена, подогнала к моей ноге и подложила под меня свернутое одеяльце.

А потом снова меня затрясло, снова копыта выводили свое дук-дук, и тронулся с места ток, пошел вместе со мной по кругу. Но теперь я упирался ногами в стремена, приподнимаясь в седле, и в этом сплошном кружении уже различал лица и голоса. Вот сестра Назира, она ободряюще улыбается мне, машет рукой… а вот глухой Колбай. Жаль, что нет мамы, она с утра у трактористов и поэтому не видит меня.

— Стой! — снова скомандовал старик Байдалы, а бывалый работяга-гнедой сам сошел с круга и остановился в стороне.

Оказывается, подошла новая передышка, а я еще ничего — сижу в седле.

— Молодец, парень, — сказал старик Байдалы. — И нам помогаешь, дай тебе бог долгой жизни, и сам, что называется, стал джигитом. Эй, Назира, передай, милая, матери: пусть устроит той! Ее сын стал настоящим джигитом!

— Ну, Багилаш от нас не отвертится! Вот сейчас мы повесим на ее сына тана[16] и все! — закричала, смеясь, одна из женщин по имени Нурсулу; она наполняла мешки зерном.

— Эй, подружки, пошарьте в карманах. У кого найдется тана? — подхватила другая, Калипой ее звали, и эта затея пришлась всем женщинам по душе.

Они восклицали, перебивая друг дружку:

— А монета с дыркой подойдет?

— А у меня есть несколько бусин! Годятся?

— Годятся, годятся! И монеты давайте, и бусины!

Женщины окружили меня и, смеясь и перешучиваясь, стащили с коня. Я краснел, сопротивлялся, но они все-таки нашили на ворот и подол моей рубахи несколько тана. После этого заставили меня повернуться раз-другой.

— Какой красавец!.. Ну, теперь твоей маме уже точно придется устроить той! — сказала Нурсулу.

— Ой, подружки, то-то у меня со вчерашнего дня чешется подбородок. Значит, наедимся вдоволь у нашего бригадира! — сказала Батика.

Они бы, наверное, еще долго крутили-вертели меня, да выручил старик Байдалы, подошел, разогнал женщин:

— Хватит, милые мои. Оставьте парня в покое. Да и за работу пора!

Когда я вечером буквально сполз с коня и встал на ноги, мне показалось, будто рост мой уменьшился, будто меня утрясло до такой степени, что теперь я поднимаюсь всего лишь на вершок от земли. Земля шаталась под моими ногами, перед глазами все плыло, хотелось тут же лечь и никогда больше не подниматься. Но я боялся опозориться перед женщинами и стариком Байдалы. И перед глухим Колбаем, который, заметив мои тана, на этот раз все понял и похлопал меня по плечу. Они назвали меня джигитом; теперь ничего не поделаешь, нужно держаться, как и подобает джигиту. И я небрежно сказал обеспокоенной сестре Назире, что чувствую себя великолепно, и, собрав все силы и стараясь ступать ровно, легко, отправился в аул.

Я зашагал по дороге, прямо на заходящее ярко-красное солнце. За моей спиной блеял козленок, но я решил, что ослышался, что это звенит в моих ушах. Но вот шум тока затих, а козленок будто бы все тащился за мной и жалобно блеял. Я не выдержал и оглянулся. Ну, конечно же это был не козленок, а девочка Мари.

— Канат, подожди!.. Ну, постой же!.. Давай вместе пойдем! — просила она блеющим голосом, а сама шла не торопясь, ставила ноги так, будто считала шаги.

— Если хочешь вместе, быстрей шевели ногами! — ответил я, сердясь.

— А мне быстрей нельзя, — сказала Мари, чуть ли не хвалясь этим.

Обычно эта Мари носилась по улице как ветер. Только успеешь заметить ее в одном конце аула, как она уже смеется и что-то звонко кричит в другом. А тут ей, видите ли, быстро нельзя! Известные девчоночьи выкрутасы — вот это что! Но настоящий джигит не будет игрушкой в руках у какой-то девчонки, и я повернулся и вновь зашагал по дороге.

— Канат, миленький… Куда же ты?.. Подожди меня, — сразу же захныкала Мари.

— Я же сказал: иди поживей! Лично мне некогда.

— А я тебе сказала: мне быстро нельзя. Ты же ведь не глухой? Правда?

Может, ей и в самом деле что-то мешало, а между аулом и током в одном месте разлеглась заросшая камышом и черным рогозом лощина, по которой девчонки боялись ходить одни. Делать нечего, я подождал Мари.

— Ты что? Заболела? — спросил я, когда она подошла…

А Мари оглянулась на ток и таинственно зашептала:

— Я сейчас что-то тебе скажу, только тс-с… никому… Ой, какие у тебя на рубахе тана! Как ордена! А почему мне не повесят такие?

Вот и послушай ее, а я-то, простак, уже подставил ухо. Ну, типичная девчонка, и все тут!

Мари на год младше меня и учится ниже классом, но по росту она уже меня догнала. И я знаю, за счет чего. Ноги у нее такие же длинные, как у цапли. Мари все зовут «дочкой артиста». Отец ее, говорят, был настоящим артистом. После того как он ушел на войну, Мари вместе с матерью и младшим братишкой переехала в наш аул. От наших девчонок она отличалась своими городскими замашками. Ты с ней как с человеком, а она жеманится или кокетливо закатывает глаза. Мы, мальчишки, грозились когда-нибудь намять ой бока, чтоб не ломалась, но, признаться, в душе нам нравились ее манеры, казались очень красивыми. Не то, что у наших неотесанных девчонок. И Мари, видно, чувствовала, что нравится нам и потому угроз не боялась. Да и за что ее колошматить, если еще ко всему у нее был очень веселый, неунывающий нрав. Что бы ни случилось, ей все нипочем! Смеется, и только! Помнится, этой весной мать взяла ее с собой на окот овец, и

там Мари завшивела. Когда она вернулась в школу, учитель Муканагай остриг ее наголо. Другая девчонка на месте Мари, наверное бы, ревела телкой, а она хоть бы что. Щелкнула себя по круглой голове и захохотала, закричала: «Ура-а! Теперь я мальчик! Я давно хотела стать мальчиком! А то все девочка да девочка. Надоело!» Она и одеваться с тех пор стала по-своему: заправит платье в длинные трусы, и не отличишь от мальчишки.

Вот так и сегодня она была одета. Только странно как-то шла, еле передвигала ногами, словно у нее болел живот. Да и руками она за живот держалась.

— Да что у тебя болит? — спросил я, теряя терпение.

— Ничего не болит. Вот сейчас дойдем до лощины, и я тебе что-то скажу.

Но я на этот раз и бровью не повел, всем видом показал, как мне не нужны ее секреты.

Мы спустились в лощину по узкой тропе. Я шел впереди, Мари семенила за мной, то и дело хватая меня за плечо. От испуга, конечно. Девчонка есть девчонка, как ни ряди ее в штаны. А нас, точно настоящий лес, окружал густой и зеленый тростник. Он был так высок, что скрыл бы с головой и коня, не то что нас с Мари.

— А знаешь, Канат, здесь, говорят, водится дикая кошка, большая, с тигра величиной, — зашептала Мари.

— Ну и что? Нашла кого испугаться, — презрительно ответил я, а у самого затряслись поджилки: сам-то я об этом до сих пор не знал, ну то, что в тростнике водится такая огромная кошка.

— Да, испугалась. Я девчонка, а девчонки всегда боятся, — пояснила она, забыв, что с недавних пор сама считает себя мальчишкой.

Когда мы углубились в заросли, она снова заставила меня поволноваться, сказав:

— Ой, Канат, дай твою руку. Здесь я вчера видела такую змею… метров… тридцать длиной.

— Да хоть бы сто, — сказал я, храбрясь.

Наконец мы миновали лощину и по крутому склону поднялись наверх. Здесь нас опять окружала безопасная, открытая степь.

— Даже не верится, мы живые! Я думала, сердце разорвется от страха. Посмотри, как стучит, — и Мари, не выпускавшая моей руки,

положила ее на свою грудь.

Под моей ладонью застучало что-то маленькое и бойкое.

— Ну, а теперь я хочу тебе рассказать… — начала она в третий раз и, хотя вокруг, на целый километр, не было ни живой души, огляделась. — А тебе можно верить? — и пристально заглянула мне в глаза.

Я увидел перед собой ее расширившиеся глаза, прозрачные, светло-коричневые, с темными крапинками, и пожал плечами. Я не набивался в хранители чужих тайн, не хочешь — не верь.

— По-моему, глаза у тебя честные, ты никому не расскажешь, — сказала она с обидной снисходительностью и таинственно прошептала: — Слушай, я украла пшеницу.

— Ты? — удивился я.

— Тихо! Не кричи. Ну, конечно, я, кто же еще! Насыпала за пазуху — видишь, сколько? Ну, теперь ты понимаешь, почему я не могла быстро ходить? Смотри никому не проговорись. Если узнает уполномоченный из района или Нугман-ага, меня посадят в тюрьму.

— Ладно, не проговорюсь, — пообещал я, продолжая удивляться.

Я видел Мари на току, она все время крутилась возле своей матери. Когда же она сумела это проделать?

— А мама твоя знает об этом? — и я указал взглядом на ее пазуху, не решаясь произнести слово «хлеб».

— Ты что? Да она мне сразу голову оторвет, если узнает! У нее характер ой-ей-ей, как у твоей мамы!

— А зачем ты тогда взяла?

— Ты еще спрашиваешь? Ну, разумеется, чтобы есть. Вот мы с братишкой проголодаемся, пожарим зерна и съедим. Если хочешь, и ты приходи. Только сегодня поздно. А завтра пожалуйста.

— Ладно, подумаю, — ответил я уклончиво.

Когда мы вошли в аул, солнце уже скрылось в своем гнезде и быстро начинало темнеть. В домах затопили печи, дымы вырывались из труб, подпирали низкое небо, точно столбы, и растворялись в его глубине. И в небе там-сям вспыхивали звезды, точно искры, вылетевшие из труб.

— Канат, хочешь серу? — спросила Мари.

— Земляную? Давай.

— Я в обед собрала. Если будешь ее жевать каждый день, у тебя станут белыми зубы. Как у меня.

Мари показала ровные белые зубы. При свете уходящего дня они напоминали два ряда жемчужин. Они были очень красивы, зубы Мари. А сама она опять кокетливо щурила глаза. Для меня лично.

— Хочешь, возьми мои тана! — предложил я в безотчетном порыве.

— Что ты, Канат?! Взрослые дали их тебе!

— Ну, тогда возьми хотя бы одну. Какая тебе больше нравится. Не бойся, никто не заметит!

— Если одну… Синенькую?.. Нет, красную!.. Или лучше вот эту, белую!

Она наклонилась к вороту моей рубашки и, коснувшись на миг горячим дыханием, перекусила нитку, которой была пришита белая бусина.

— Спасибо, Канат-ай!.. Ну, я пошла домой?

Мари повернула к дому, а я почему-то стоял смотрел, как она уходит. И едва она исчезла за дверью, как тут же на меня с новой силой навалилась усталость. Странное дело: я о ней и забыл, когда болтал с Мари.

Придя домой, я сразу повалился на постель, даже не посмотрел на ужин. Такого со мной еще не было. Я лежал, прикрыв глаза, наслаждался покоем.

Сквозь дремоту до меня долетали звуки нашего дома. Вот скрипнула дверь, и бабушка сказала:

— Тише, он спит. Устал наш жеребеночек.

В узкую щелочку, оставленную между веками, я увидел мать. Она подошла ко мне, погладила по голове и вдруг улыбнулась. Наверное, впервые с тех пор, как пришла похоронка.

— Ты видела, с чем вернулся твой внук? — спросила мама, продолжая улыбаться.

— Откуда? Он сразу лег спать. И слова не сказал. А что у него? — спросила бабушка, встревожась.

— Тана у него на воротнике, а вот и на подоле. Это же бусина Нурсулу! А эта Батики!

— Дите мое дорогое, радость моя! — растрогалась бабушка. — Весь в отца своего! Я бы жизнь тебе отдала, мой верблюжонок! Дорогу

твою собой устлала! — И она тоже склонилась надо мной, продолжая называть самыми нежными, самыми ласковыми на свете словами.

А я притворялся спящим, посапывал для пущей убедительности, довольный тем, что доставил такую огромную радость и бабушке и маме. Мама гладила меня по голове, и от ее жестких, но теплых рук мое тело наливалось прямо-таки богатырской силой. Казалось, нет сейчас в мире такого дела, которого я бы не смог не совершить ради того, чтобы она улыбнулась хотя бы еще раз. Я еле удерживался, чтобы не ответить на ласку, и продолжал притворяться спящим, мысленно говоря: «Бабушка! Мама! Подождите немного, я еще себя покажу!»

Кто-то неожиданно ущипнул меня за нос.

— Ой, хвастунишка, ой, притвора! Вы думаете, он спит? — сказала сестра Назира.

Обласканный, упоенный своими заслугами, я и не заметил, как она вошла.

— Оставь его, дай ребенку поспать, — осадила мама сестру Назиру.

Я чувствовал, что еще немного — и мой рот расползется в улыбке, и потому зачмокал губами и перевернулся на бок, лицом к стене.

— Уберем хлеб и, если будем здоровы, зарежем козочку, устроим небольшой той. Позовем Нурсулу, Батику и других женщин, — сказала мама.

— А я откормлю козочку от желтой козы, — подхватила бабушка.

— Подумаешь, один день потрудился, старшим помог, а вы уже готовы кричать на весь аул: ах, у нас какой мальчик, прямо герой! — вмешалась сестра Назира.

— Не забывай: это наш старый обычай, — с укором напомнила мама.

«Вот, вот, вечно сестра суется. Ей-то что?» — с досадой подумал я.

— Хороший обычай, — согласилась сестра. — А Канат здесь при чем? Если он что заслужил, так это хорошей взбучки. Нет чтоб самому явиться на ток да помочь взрослым, так он бегает почтальоном от Ырысбека к Зибаш. Сводник — вот он кто!

— Назира, думай, что говоришь! — рассердилась мама.

— Не верите, спросите у него самого.

Я чуть не задохнулся и от стыда, и от возмущения. Значит, когда я устраивал ее встречи с Токтаром, то сводником не был?! А тут почтальон? Ну, погоди, сестра Назира, я тебе это припомню.

— Хватит болтать, — сказала мама ужасно усталым голосом, — пойди потолчи пшеницу для супа!

Сестра Назира молча вышла в прихожую, и вскоре оттуда донесся стук пестика в ступе.

Потом бабушка и мама заговорили о колхозных делах. Кому-то может показаться, будто у бабушки нет других интересов, кроме нашего домашнего очага. Но это не так, ее очень волнует все, что происходит за стенами родного дома. Вот и сейчас она принялась расспрашивать маму об урожае, каким он ожидается в этом году. Мама отвечала, что урожай в этом году будет не большой, не малый, средний, в общем, урожай, но если собрать его без потерь, то хватит и для сдачи государству, и останется колхозу на семена.

— А на трудодень-то сможете что-нибудь дать? — спросила бабушка, и я почувствовал, что она затаила дыхание, ожидая, что скажет мать.

— Не знаю… Ох, трудно, очень трудно… — И мама горестно вздохнула. — Будь она проклята, эта война!.. Словом, у соседей сгорели хлеба. Видно, выручать их придется нам. Внести и соседскую долю. Сегодня Нугмана вызвали в район. Наверное, по этому поводу.

— О аллах, создатель наш, будь милостив, — попросила бабушка и деловито спросила: — Чем косите? Машиной?

— На равнине, за ручьем лобогрейкой. Да нет хороших запчастей. Пройдет круга два, и стоп — поломка! А кузнеца ремонтировать нет, — пояснила мать, переходя на тот же хозяйский тон.

— А чем Карл не кузнец? Тот маленький немец?

— Он, бедняга, старается от всей души. Да ведь мальчик еще. Починит деталь, а она скоро ломается опять.

— Еще не умеет варить железо, — авторитетно определила бабушка. — Какой кузнец был Акаттай! Всем кузнецам кузнец! Где он теперь воюет!.. Ай, что мы сидим, ну-ка ложись. Тоже устала, а вставать утром рано.

— Да некогда ложиться, сейчас обратно пойдем на ток. Нужно отправить на станцию шесть телег зерна, а возниц не хватает. Я и

забежала-то на сына посмотреть. Встретила старика Байдалы, тот и говорит: твой Канат работал как лев. Ну и подумала: здоров ли, может, надорвался.

— Здоров, крепкий мальчик растет, — сказала бабушка. — Ты и Назиру с собой заберешь?

— Пусть поможет погрузить зерно. Поспит там же, на току… Ладно, надо идти. Что-то к ночи поясницу ломит. Видно, к холодам. Эй, Назира, ты растерла пшеницу?

— Растерла, — сказала сестра Назира, появляясь в комнате.

— Сейчас пойдем… Вот беда, кто поведет две телеги? Ума не приложу. Этот нужен, и другой нужен. От работы не оторвешь.

— На одной телеге поеду я, — сказала сестра Назира.

— Я уже думала. Да только на станции нужно мешки таскать на себе да ссыпать зерно в окошко амбара!

— Интересно ты рассуждаешь, мама. По-твоему, я еще ребенок, который еще ни на что не способен. Да если хочешь знать, я не один, а два мешка подниму.

— Какая же ты упрямая, — вздохнула мама. — Оденься потеплей.

— Я поеду на станцию? — обрадовалась сестра Назира.

— Там посмотрим. Зайти, что ли, к Ырысбеку, с ним поговорить? Здоровый мужчина, хоть бы пальцем пошевелил — помог родному колхозу. И Зибаш вдобавок с толку сбил, сегодня не вышла на работу. Вот бы и отправить их вдвоем… Пойду, попытаюсь.

— Багилаш, будь с ним осторожна, — забеспокоилась бабушка. — Говорят, кровь у него на войне почернела, как бы не покалечил тебя!

Как только мама и сестра Назира вышли из дома, я сел на постели и спросил:

— Бабушка, может, мне с ними пойти?

— Значит, ты и вправду не спал? Ну, иди с ними, проводи. Ты же знаешь характер твоей матери. Если что, тяни ее за подол, уведи от беды.

Маму и старшую сестру я догнал у дома Нурсулу. Мама стучала в темное окно и звала хозяйку.

— Кто там? Это ты, Багилаш? — откликнулась Нурсулу сонным голосом.

— Я, я! Выйди ко мне на минутку, — попросила мама.

Нурсулу появилась в дверях, застегивая на ходу безрукавку и сладко зевая. Если на свете и вправду водятся женщины-батыры, то Нурсулу наверняка из них самая сильная. Я не раз видел ее в работе. Коса и лопата летали в ее руках легко, словно воздушные. Помню, грузили зерно, — что там старик Байдалы, глухой Колбай в свои тридцать пять и тот не мог за ней угнаться. Злился, пыхтел, а ничего не получалось. Говорят, на праздниках, до войны, она выходила бороться с мужчинами и нередко бросала их на лопатки. А с тех пор, как джигиты поуходили на фронт, так и повелось: где работа потяжелей, туда идет Нурсулу.

— Женщины, что случилось? — спросила она басом.

— Милая, извини. Я знаю: ты две ночи не спала. Но я хочу поговорить с Ырысбеком, пусть хоть немного поможет. У одной, боюсь, не получится, — пояснила мама.

— Я пойду с тобой. Пора за него взяться, — сурово сказала Нурсулу.

— Возьмем с собой и Батику, — решила мама.

Теперь они уже втроем перешли к дому Батики. Я, пока еще стараясь быть незамеченным, крался следом за ними.

— Кто там? — спросила Батика, услышав стук в окно.

— Это мы, джигиты! — пошутила Нурсулу. — Выходи выбирай: кто тебе по сердцу!

— Ну, уж не с таким басом, как у тебя. И к тому же ты — простая колхозница. Что с тебя возьмешь? Если уж выбирать, так джигита-бригадира, — ответила Батика, открывая дверь.

— Надеешься на поблажку? Напрасно, такой бригадир тебя первой на работу прогонит. Чтобы заткнуть сплетницам рот, — возразила Нурсулу.

Женщины еще немного позабавились над своей шуткой, потом мама посвятила Батику в суть дела.

— Правильно вы задумали, — одобрила Батика. — Нагоним на него страху! Ну, держись, Ырысбек!

Тут остроглазая сестра Назира заметила меня и сказала маме:

— Вот он, твой спящий герой! А я что говорила?

— Канат, зачем ты встал? А ну, сейчас же домой! — грозно прикрикнула мама.

— Меня бабушка послала. На помощь, — сказал я, хныча и по-прежнему держась на безопасном расстоянии.

— Помощник нашелся! Я что сказала! — не унималась мама.

Я уже собирался подчиниться, да заступилась Нурсулу:

— Не кричи, Багилаш, пусть идет с нами. А еще лучше — пусть позовет Калипу и Саруе. Больше женщин — больше шума!

Я помчался по спящему аулу, разбудил Калипу и Саруе и привел их в наш отряд.

— Посмотрим, посмотрим, какой храбрый воин Ырысбек, — сказали Калипа и Саруе, боевито засучивая рукава.

Мама повела отряд к дому Ырысбека. В его окнах горел свет, и это возмутило Нурсулу:

— Конечно, не спит. Чем же тогда ему днем заниматься?

Мы подошли и заглянули в окна: Ырысбек, как всегда, лежал на спине и наигрывал на домбре, а Зибаш сновала перед очагом, готовила ужин.

— Стыда у них нет, — не унималась Нурсулу. — Ишь, нашлись Козы и Баян. Раздеть бы их догола, привязать спиной друг к другу да в яму с холодной водой.

— Нурсулу, здесь ребенок, — строго сказала мама.

— Зло берет, когда видишь таких, — прогудела Нурсулу, оправдываясь.

— Сделаем так: вы подождете в прихожей, а я войду одна. Может, обойдется без скандала, — сказала мама.

Мы ввалились в прихожую и остались там, а мама прошла в комнату. Я тут же припал к дверной щели и увидел и Ырысбека, и Зибаш, и мою маму.

— Добрый вечер, — сказала она, стараясь быть вежливой.

Ырысбек только бросил на маму недовольный взгляд и снова забренчал на домбре. А растерянная Зибаш засуетилась вокруг мамы, лепеча:

— Ой, тетя, это вы… проходите сюда… присаживайтесь.

— Ничего, я и здесь постою. Не в гости пришла, а по делу, — сказала мама, видно уже потеряв выдержку. — Ты что же думаешь, если будешь лежать под боком нового мужа, то тем самым победишь герман[17]. Почему не пошла на работу?

— Тетя, я только сегодня… сегодня…

— Ты сегодня, другая завтра? В такое-то время, когда не хватает людей!.. А ну, собирайся и запряги быков. На станцию зерно повезешь! И ты, Ырысбек, свет мой, поднимайся, повезешь зерно на другой подводе. Довольно на шее сидеть у стариков и женщин. Стыдись!

Зибаш принялась одеваться, боязливо поглядывая то на маму, то на своего нового мужа. А тот и бровью не повел, словно мама не к ним обращалась, только лениво сказал:

— Зибаш-ай, давай ужин и стели постель. Поедим да спать будем ложиться.

— Сейчас… сейчас… — вконец растерялась Зибаш и начала раздеваться.

Мама повернулась к Ырысбеку и прикрикнула:

— Я, кажется, ясно тебе сказала: а ну-ка, вставай!

— Зибаш-ай, покажи этой женщине дверь. Войти она вошла, а как выйти — не знает, — спокойно произнес Ырысбек.

— У, негодяй, — прошептала над моей головой Нурсулу.

Я никогда не видел маму такой разъяренной. Резкое слово она могла любому сказать или отшлепать нас, своих детей, за дело. Но чтобы мама подняла руку на другого человека, такого за ней не водилось. А тут она шагнула к Ырысбеку и огрела камчой.

Ырысбек оцепенел на мгновение, затем вскочил как ужаленный и бросился с кулаками на маму, огромный, дрожащий от злобы. Но мама отступила к стене, вторично стеганула Ырысбека камчой и позвала холодным, спокойным голосом:

— Эй, женщины! Держите его!

Женщины, только и ждавшие своего часа, ворвались, толкая друг друга, в комнату, и раньше всех, конечно, Нурсулу.

— Только посмей ее тронуть, мы тебя тотчас растеребим, словно шерсть! — грозно набросилась она на Ырысбека. — Думаешь, кровь портят только на фронте? У нас, здесь, тоже черная кровь! У нас здесь тоже война! Только враг далеко, не можем до него добраться и убить. А ну-ка, подруги, свяжем его по рукам и ногам!

Ырысбек ошеломленно попятился назад, бормоча:

— Вы что? Что вам надо?

Затем его лицо перекосилось, будто он собирался чихнуть. Ырысбек закрылся широкой ладонью и зарыдал.

— Она подняла на меня руку! Она ударила меня! Два раза ударила! Камчой! Как я унижен! — говорил он плача, и между его толстыми пальцами лились настоящие слезы. — Да, да, я унижен! А вы что же ждете? Рвите меня на куски! Топчите! Возьмите легкое мое, пробитое фашистской пулей, и бросьте его диким собакам! О злая судьба, зачем ты оставила меня живым? Чтобы потом унизить меня? Несчастный я, несчастный!

Женщины не ждали такого и растерянно замолчали. Я тоже такого не ожидал от своего бывшего главнокомандующего.

— Не надо, Ырысбек. Тебя не хотели обидеть, — заволновалась Зибаш, погладила его по плечу.

— Да, да, — согласился Ырысбек, вытирая слезы, — они все дорогие мне женщины. Родные, как сестры-близнецы. Багилаш! Нурсулу! Батика! Калипа! Саруе!

И вдруг он оглушительно захохотал, затрясся от смеха, согнулся в три погибели, схватившись за живот.

— Ну, женщины!.. Ну и молодцы!.. Как вы меня…

Теперь мы и вовсе растерялись, не зная, как все это понимать. А Ырысбек, повеселившись вдосталь, как бы устав, сел на постель и приветливо сказал:

— Присаживайтесь, милые женщины, суженые моих братьев! Проучили вы меня, спасибо за науку!.. Куда пошлете, туда и пойду. Скажете: сядь на арбу, сяду на арбу! Скажете: ступай на ток молотить хлеб, и буду молотить! Багилаш, слово джигита: сделаю все, что прикажешь, любую работу! И ведь надо же, там, на фронте, себе говорил: вернусь в родной аул, буду трудиться не покладая рук. А вернулся и стал, выходит, собакой!.. Дорогие, простите меня! — с чувством произнес Ырысбек. — И поужинайте с нами, а потом мы вместе с вами пойдем на ток. Зибаш, поставь скорее ужин!.. Садитесь, женге[18] не стойте, не побрезгуйте нашим дастарханом!

Женщины удивленно переглянулись, не ожидая такой легкой победы, и стали усаживаться вокруг дастархана.

— Пока Зибаш накрывает, я вам поиграю, — сказал Ырысбек и потянулся за домброй.

— Да, ты уж нам поиграй, — попросила Нурсулу, устраиваясь поудобней. — А то играешь только для себя и своих… — Она взглянула на меня и не сказала, кого имела в виду.

Ырысбек настроил домбру, откашлялся и пояснил:

— Эту песню я сочинил, когда лежал на поле боя, сраженный фашистской пулей. Перед моим взором проходили картины родной земли, лица моих аульчан. Ваши лица, женге! Я думал: неужели никогда больше их не увижу? И от этой мысли мне было больней, чем от смертельной раны.

Женщины жалостливо вздохнули, Батика и Калипа вдобавок провели ладонями по глазам. А Ырысбек ударил по струнам и затянул печальную песню. Он пел о том, как, попрощавшись со своим народом и родной землей, отправился бороться с чудовищем-врагом, как шел сквозь ливень пуль и палящее пламя, как, подобно тигру, бросался он на фашистов и был внезапно ранен, и остался лежать на поле битвы, истекая потоками крови, и как привиделись ему лица дорогих людей, и он сожалел о том, что не всегда их ценил, отдаваясь пустой житейской суете.

Из глаз Ырысбека, как и в день приезда, вновь хлынули ручьями слезы. Но мне показалось, будто он украдкой следит за тем, какое впечатление производит его песня на нас. Я тоже посмотрел на лица женщин. На них было написано самое искреннее сострадание к певшему.

— Бедный! Как, наверное, тяжко ему было! — вздохнула Саруе.

Ее слова как бы добавили масла в огонь, женщины не удержались и всхлипнули.

Прощайте, женге, будьте всегда молоды!
Вы давали мне мед, когда я просил всего лишь воды!
О жизнь, ухожу я рано, как жаль,
Что никто не узнает про мою печаль, —

почти торжествуя, закончил Ырысбек и положил ладонь на струны, как бы успокаивая, останавливая их.

На минуту в комнате воцарилась значительная тишина, затем женщины горячо заговорили:

— Спасибо тебе, Ырысбек!

— Будь счастлив! Чтобы ты больше никогда не знал горя!

— Пусть будет светлой ваша жизнь с Зибаш!

От их давнишнего возмущения не осталось и следа.

Мне снова почудилось, будто Ырысбек мне заговорщически подмигнул, а женщинам он проникновенно ответил:

— Спасибо, женге, за то, что вы разделили со мной мою боль! Но не будем больше поддаваться переживаниям… Зибаш, ну где же твой суп!

Зибаш поставила посреди дастархана большую деревянную миску, наполненную до половины супом с лапшой. Ырысбеку женщины налили в отдельный тостаган, заботливо сказали:

— Ты мужчина, тебе нужно больше. И на нас не смотри.

Только мы принялись за еду, как за окнами послышались громкие шаги, и в дверях возникла сумасшедшая Бубитай, худая, грязная, в разорванном платье. Она обвела нас безумным взглядом и злорадно произнесла:

— Пируете? А меня не позвали на той? Так я пришла сама!

Сказав это, Бубитай села на пол у порога и забылась.

Все притихли, перестали есть.

— Несчастная женщина, — сказала Нурсулу.

Бубитай встрепенулась, зашарила по своим лохмотьям.

— Где же мои конфеты? Пойду пить чай!

Из прихожей донесся шорох, потом за спиной Бубитай нерешительно появилась ее племянница Тоштан.

— Ой-ей-ей, она опять за мной пришла! — завопила сумасшедшая и бросилась в глубь комнаты, прямо к Ырысбеку.

Перепуганный Ырысбек отскочил к Зибаш, сидевшей у печки.

— Тетя не слушается, бегает от меня, — виновато сказала Тоштан.

— Ага, этот суп поставили для меня? — спросила Бубитай, заметив тостаган Ырысбека.

— Для тебя поставлен, для тебя. Ешь, Бубитай, — торопливо сказал Ырысбек.

Бубитай набросилась на суп, жадно его глотала, опасливо косясь по сторонам, словно кто-то мог отнять ее добычу.

— Тоштан, детка, иди сюда, покушай, — сказала моя мама и протянула девочке ложку.

Тоштан с неменьшей голодной поспешностью хлебала суп, отвечая на вопросы женщин.

— Ты не боишься оставаться с тетей вдвоем? — спросила моя мама.

— Вначале боялась, теперь не боюсь.

— А она слушается тебя?

— Если не слушается, я бью ее хворостинкой. А когда ложимся спать, связываю тете руки.

— Свет мой, зачем? — ужаснулась Калипа.

— Иначе она задушит меня. Примет за кого-то другого и задушит. Так уже было два раза.

Бубитай выскребла ложкой остатки лапши, поплевала по сторонам, бормоча какие-то заклинания, поднялась и, ни на кого не глядя, наступая на ноги сидящим, направилась к дверям.

Тоштан тоже встала и пошла за Бубитай. На пороге она задержалась и сказала с мольбой моей маме:

— Апа, можно я немного поработаю на току? А то скоро зима, нам с тетей есть будет нечего.

— Конечно, свет мой, приходи, поработай. А колхоз вам с тетей поможет как семье фронтовика.

Тоштан благодарно улыбнулась и скрылась за дверью. В комнате установилась тягостная тишина.

— Ну и напугала меня Бубитай, страшней, чем на фронте, — засмеялся Ырысбек, старясь развеселить гостей.

Но его шутку не поддержали. Женщины угрюмо молчали.

— Ырысбек, дай-ка мне табаку, — наконец промолвила Нурсулу.

Ырысбек протянул Нурсулу свой фронтовой кисет, с какой-то надписью, вышитой по-русски, и тут же к табаку потянулись Саруе и Калипа:

— Поделись с нами, Нурсулу.

Женщины свернули самокрутки, и комната наполнилась густым, едким дымом, от которого запершило в горле, защипало глаза. Я закашлял.

— Тю-ю, задымили, — сказала моя мама, разгоняя руками дым, — можно подумать, в комнате мороз.

— Если не в комнате, то в душе уж точно все леденеет, — ответила Саруе.

— Не сердись, Багилаш. У нас, может, последняя радость осталась — вот этот вонючий табак, — сказала Нурсулу. — Или, по-

твоему, мы и ее не заслужили?

— Бог с вами, курите, — сказала моя мама и спохватилась: — Мы тут сидим, а время идет. Ничего, докурите по дороге. Зибаш, когда соберетесь с Ырысбеком, приходите на ток. А я пока прослежу, как грузят мешки. Взойдет луна, тронетесь в путь.

— Хорошо, тетя. Придем! — горячо сказала Зибаш.

Когда мы вышли из дома, Батика удивленно сказала:

— Женщины, что с нами случилось? Шли к нему как гроза, а пришли и обмякли.

— Только и смотрели в рот этому бездельнику, — проворчала Нурсулу.

— И ты, между прочим, первая. «Ах, спой нам, Ырысбек»! — ехидно напомнила Батика.

— Ох, женщины, до чего же нас довела война. Увидели мужчину, да какого? Лгуна и лентяя! И обо всем позабыли, — вздохнула Калипа.

— Может, он нас обманул, а мы развесили уши? — встревожилась Саруе. — Ведь этот Ырысбек настоящий артист. Не знаешь, когда он правду говорит, когда играет.

— Он слово дал и, как джигит, слово сдержит, — вступилась Нурсулу. — И пусть только попробует обмануть, я его, окаянного, так тресну, что он у меня к стенке прилипнет!

— Только уж, пожалуйста, не убей, — засмеялась моя мама и вдруг что-то заметила: — Стойте, женщины! Чувствуете? Ветерок!

Женщины замерли. С гор дул прохладный мягкий ветерок, он принес в аул запахи яблоневого леса. Женщины молчали, видно, каждой ветер напомнил о чем-то своем, дорогом.

— Дует. При таком ветре в самый раз веять зерно, — сказала моя мама вдруг будничным тоном. — Идите, подружки, спать.

— А ты куда? — спросила Нурсулу.

— Я же говорила, мы с Назирой на ток.

— Пойду и я с тобой, — решила Нурсулу. — Дети спят, не хочу их будить. Да и не заснешь уже. Вместо того чтобы ворочаться с бока на бок, лучше помогу тебе. Батика, а ты подоишь утром и мою корову.

Я тоже собирался пойти на ток — вместе так вместе до конца, но сестра Назира взяла меня за руку и, словно ей больше всех было нужно, сказала:

— А тебя, Канат, я отведу домой. И бегом! Понял?

И потянула меня за собой. Наш топот на пустынной улице собрал всех собак. Они бросались на нас с разных сторон, пытаясь схватить за ноги. Я втайне надеялся, что сестра Назира побоится и повернет назад. Но она бесстрашно бежала вперед, отмахиваясь палкой.

С тех пор я каждый день приходил на ток и, забравшись на гнедого, возил малатас. Голова моя вскоре привыкла к постоянному круговерченью, перестала кружиться, и к трясучему ходу коня я приспособился быстро, привставал слегка в стременах в такт с лошадиным шагом. Сидишь себе на гнедом, подпрыгивая под его «дукдук», да гордо поглядываешь по сторонам, а взрослые говорят: «Маленький, а помощь от него большая».

Слыша такое, другие ребята тоже потянулись на ток. Вначале пришли Батен и Самат и тоже сели на коней с малатасом, потом появились Асет и Садык, а за ними и уж все остальные. Ажибек и тот не утерпел, и хотя работать не любил, пришел добровольно. Его, как старшего по сравнению с нами, посадили на молотилку. Он бросил нам торжествующий взгляд и весь день работал азартно, стараясь всем показать, что он не такая мелочь, как мы. А вечером, сходя с молотилки, Ажибек чуть не упал, ноги его от усталости подкосились.

— Ну и ну, — произнес он, смеясь и удивленно качая головой. — Это же не работа, ад — вот что это! И ведь никто меня не заставлял, сам пришел, ну не дурак ли, а? А все из-за тебя, недотепа! — И он шутливо стукнул меня по затылку. — Ты что же, не видел, что здесь творится? Но ничего, что-нибудь придумаем. Где наша не пропадала!

Он в самом деле что-то придумал, и с тех пор его молотилка меньше работала, а больше стояла. На второй день Ажибек не смолотил и десятка снопов.

— Ой-ей-ей, вот беда! Опять испортилась молотилка! — извещал он то и дело и после шел на сено, плюхался на бок и блаженствовал, пока старик Байдалы и глухой Колбай, подступив с двух сторон, чинили машину.

После ремонта Ажибек возвращался на место, и минут пять спустя все повторялось снова: Ажибек кричал «Беда!», валился на сено, а старик Байдалы и глухой Колбай, чертыхаясь, возились с молотилкой.

Вечером, когда мы все вместе возвращались в аул, Ажибек снисходительно сказал:

— А вы, недотепы, все кружитесь да трясетесь? Не знаете, что придумать, а? Ладно, я вас научу, нет сил смотреть на ваши муки. Сделайте так: расслабьте винтик, который скрепляет ремень. И тот через десять шагов сам упадет в солому. Пока взрослые будут копаться, искать винтик да ставить его на место, вы успеете отдохнуть. И так можно несколько раз. Не послушаете меня, превратитесь в безумных баранов. Ты видел, как вертится безумный баран? — спросил он Батена.

— Видел, — прошептал испуганный Батен.

— Он кружится, кружится на одном месте, пока не упадет. Вот так и будет с вами, если не послушаете меня, — предупредил Ажибек.

Его слова напугали и нас. На другой день мы попытались сделать так, как советовал Ажибек, — расслабить винты, но у нас ничего не вышло. Те были привинчены будто навеки, и три малатаса, как и прежде, до самого вечера молотили хлеб.

А дня через два старик Байдалы разгадал хитрые уловки Ажибека и предупредил его, угрожающе подняв лопату:

— Еще раз ослабишь болты — убью!

— Только попробуйте ударить, знаете, что с вами уполномоченный сделает, товарищ Алтаев? Посадит в тюрьму! — ответил Ажибек, однако молотилку больше не портил.

Однажды, во время короткой передышки, ко мне подошла Мари. Она вместе с другими девочками помогала сыпать зерно в мешки да выполняла всякую мелкую работу, которая была не чета моей.

— Возьми, еще для тебя собрала, — шепнула Мари и вложила в мою ладонь кусочек земляной серы.

На щеках у нее темнели синяки. Заметив мой удивленный взгляд, Мари, вздохнув, пояснила:

— Это мама оттаскала меня за щеки. Братишка ей все рассказал. Про пшеницу. Она еще отстегала меня хворостиной. Даже больно сидеть, — добавила Мари с невольной гордостью. — Тебя когда-нибудь били?

— Я никогда не брал пшеницу.

— Да, ты не брал, — подтвердила Мари и снова вздохнула.

Мне было жаль ее почему-то, ведь сама-то Мари в общем-то не очень переживала.

— Эй, малец, садись на коня! — крикнул старик Байдалы, закончив настилать новые снопы пшеницы.

— Канат, дай я за тебя разок повожу, — попросила Мари.

— Пожалуйста, — сказал я и придержал стремя.

— А ну-ка, ребята, бросьте баловать! — прикрикнул старик Байдалы. — Мари, свет мой, здесь тебе не театр. Иди делай свою работу!

Мари бросила обиженный взгляд и ушла к своим девчонкам.

— А ты что перед девчонками лебезишь? — сердито спросил старик Байдалы, подсаживая меня на коня.

— Да вы в его возрасте вообще взяли жену. Сами говорили об этом, — сказал Ажибек, подтрунивая над стариком.

— То вы, а то я. Лучше подотрите носы, сорванцы! — вконец рассердился старик Байдалы.

— Если вам верить, то при баях все было лучше, чем в наше время. Вот возьму и расскажу уполномоченному из района, — пригрозил Ажибек.

— Голова твоя тыквой! Да разве я баев хвалил? Будь проклято старое время! — разозлился старик Байдалы. Но в голосе его слышался испуг. — И от кого только родилась такая собака? Твой отец был умным человеком, вся округа смотрела ему в рот, каждое слово ловила! А мать не обидела бы и овцу, не то что человека, травинки бы у нее не отняла. А ты на кого похож?

— На товарища Алтаева!

— То-то и видно, — скривился старик Байдалы.

— Ага! А вы считаете, что он плохой? Пойду скажу ему об этом…

— Ну, ну, ты не так меня понял. Я ведь тоже хочу тебе только доброго, — сказал старик Байдалы торопливо.

— А-а, нагнал я на вас страху? Вместо двух глаз сразу стало четыре? — победно сказал Ажибек.

Старик Байдалы только махнул рукой и побрел на другой конец тока, бормоча что-то под нос. А вскоре мы услышали знакомый возглас Ажибека:

— Сломалась, опять сломалась! Беда!

Но оказалось, что Ажибек просчитался, рано начал праздновать свою победу. Он не заметил, как на току появился уполномоченный из района. Товарищ Алтаев всегда возникал неожиданно, будто появлялся

из-под земли. Мы считали, что он на другом, самом дальнем участке колхоза, а он тут как тут. Можно было подумать, что он одновременно находится везде.

Увидев, что молотилка остановилась, уполномоченный сразу устремился к Ажибеку.

— Кто ремонтировал машину? — спросил он, грозно сверкая глазами.

— Да ведь я закрутил… — несчастно пробормотал старик Байдалы.

Аксакал, как и все, очень боялся этого уполномоченного. Тот ходил вечно суровый — брови нахмурены, губы твердо сжаты. Один пустой рукав выгоревшей добела гимнастерки заправлен за ремень. Руку он, говорят, потерял на фронте, в ожесточенных боях на Волге.

Я слышал, как женщины сетовали между собой:

— Другие уполномоченные были как люди. Сидят себе в доме председателя да попивают чай, а этот ни себя не жалеет, ни других. Так и следит, точно мы все жулики.

Он и вправду никому не давал покоя ни ночью ни днем. То туда, то сюда посылал Нугмана и маму мою и сам будто бы находился в непрерывном походе, даже шинель носил повсюду с собой, повесив ее на локоть целой руки. И только дом не очень-то надрывающегося на работах Ырысбека он почему-то обходил стороной.

Отругав старика Байдалы, уполномоченный уселся на горку соломы и оттуда точно с кургана смотрел за работой, ощупывал каждого взглядом. Когда же настало время обеда и женщины собрались в аул, уполномоченный с криком «стой, всем оставаться на месте!» скатился со своего командного поста.

— А теперь пусть тот, кто украл зерно, вернет его на место! Или я обыщу каждого сам! — пригрозил уполномоченный, загораживая собой дорогу.

И женщины, краснея, стыдясь друг друга, стали вытряхивать зерно. Горсть из кармана, полгорсти из шерстяного чулка.

Товарищ Алтаев еще строже нахмурил густые брови, еще крепче сжал узкие губы и дрожащим от возмущения голосом произнес:

— Товарищи! Сейчас у нашего народа единая цель — разбить фашистских оккупантов, срубить их под самый поганый корень! И Красная Армия под руководством партии гонит врага все дальше и

дальше, прочь с нашей советской земли! Но, товарищи, это дается нелегкой ценой! Я сам был на фронте и знаю — какой! Там не только пуля твой враг. Чтобы добыть победу, нашим славным бойцам приходится мерзнуть в окопах, ходить в атаку по пояс в холодной воде и не смыкать сутками глаз!

— Горемычные, как же им там достается, — вздохнула Батика, и другие женщины тоже завздыхали, жалостливо, тяжело:

— Бедные…

— Скорей бы это закончилось.

— Вот-вот! — злорадно подхватил уполномоченный. — А здесь далекий тыл. Не свистят здесь пули, нет снарядных разрывов. И от вас требуется всего лишь одно: отдать все, что у вас есть, в помощь бойцам Красной Армии! Не так ли?

— Конечно, так, — подтвердил старик Байдалы.

— А что делаете вы? Все наоборот! Крадете хлеб у тех же героических воинов! Вот вы, женге, — уполномоченный указал на Калипу, — кто у вас воюет на фронте?

— Муж и брат.

— А вы у них отнимаете хлеб, без которого нет скорой победы!

— Я горсточку взяла, всего лишь одну, — прошептала Калипа, глядя в землю, словно отыскивая щель, в которую можно провалиться от смущения.

— Дома у нее трое детей, — вступилась было Саруе.

— А муж и брат ради кого дерутся на фронте? Не ради наших детей? — жестко усмехнулся уполномоченный.

— Какой позор! Лучше бы мы с голоду подохли, — в сердцах сказала Калипа.

— Вы горсточку взяли? Всего? Да, это немного, почти ничего, — продолжал товарищ Алтаев. — Но горсточку взял и я, и она, и она. Вот эти ребята по горсточке взяли. Взял каждый житель аула! И что же останется у вас на току?

Женщины, потупившись, молчали, соглашаясь с уполномоченным. А тот, видя их согласие, распалялся еще сильнее, начал обвинять:

— Ага, вы все понимаете? Тем хуже для вас! Вы преступницы перед Родиной! Перед мужьями и братьями! И я вас всех предупреждаю: если кто-нибудь еще возьмет хоть одно зернышко, мы

будем его судить как расхитителя народного добра. А теперь приступайте к работе. Сегодня вы будете трудиться без перерыва! Только ударный труд искупит вашу вину!

Женщины послушно разошлись по рабочим местам. Никто из них ни словом, ни даже взглядом не возразил.

Глухой Колбай все это время продолжал сгребать пшеницу лопатой, не зная, как обычно, о том, что случилось с его бригадой.

— Ну, видимо, пора прерваться и пообедать, — громко, как говорят все глухие, сказал он, разгибая спину.

— Не будет сегодня обеда. И все из-за женщин, — буркнул старик Байдалы.

— Что-о? — спросил Колбай, не расслышав.

— Из-за женщин не будем обедать! — крикнул Ажибек в ухо глухому.

— Кто это сказал? — удивился Колбай.

— Уполномоченный сказал, товарищ Алтаев, — с притворной почтительностью пояснил Ажибек.

— А разве мы железные? Может, он сам и железный, а мы нет. Ребята, слезайте с коней. Будем есть пшеничный коже[19]. Эй, Дурия, женщина, дай нам коже!

Дурия, веявшая зерно, опасливо посмотрела на уполномоченного и не решилась оставить работу.

— Я кому говорю? Ты подойдешь или нет? — гаркнул глухой Колбай.

— Налей сам. Ты ведь знаешь, где стоит, — сказала Дурия, поглядывая на уполномоченного.

— Что-о? Что она говорит? — не понял глухой Колбай.

— Она говорит: возьмите сами и ешьте, — весело перевел Ажибек.

— Она так говорит? — изумился глухой Колбай. — А для чего мне тогда жена, если она не может подать еду?

— Ей уполномоченный не велит! — проорал Ажибек, продолжая дурачиться.

— Уполномоченный? Дурия, кто тебе муж? Он или я? Пусть он командует теми, у кого нет мужей. А ты должна слушать меня!

Дурия снова нерешительно покосилась на уполномоченного. Товарищ Алтаев отвернулся, словно не слышал, о чем шла речь. Тогда

Дурия сходила под навес и принесла глухому Колбаю торсук — сосуд из коровьего желудка. Мы, ребята, послезали с коней, расселись вокруг угощения.

Глухой Колбай позвал старика Байдалы, но тот ответил, что сыт, хотя было видно, как ему хочется коже, но он не смеет нарушить приказ районного начальника.

— Привык он баев бояться, теперь и перед уполномоченным дрожит, — сказал Ажибек. — Вот Колеке никто не испугает, пусть даже сам сатана за его душой придет. Ему только страшен Ырысбек, — последние слова он произнес совсем тихо, для нас, но глухой Колбай что-то почуял, вопросительно посмотрел на Ажибека, словно спрашивал: а ну, что ты сказал?

— Я говорю: Колеке, если разозлится, может прогнать уполномоченного обратно в район. Пусть не командует чужими женами, — громко соврал Ажибек.

Глухой Колбай засмеялся, польщенный, и потрепал Ажибека по щеке.

— Душа из тебя вон, не смей дразнить человека, — рассердилась Дурия.

Ажибек испугался, решив, что теперь ему не дадут ни капли коже, и начал оправдываться:

— Я не дразнил, ей-богу, правду говорю! — И затараторил: — Олла-билла, чтобы мне никогда не толстеть, не расти, не ходить на уроки, счастья не знать! Пусть мою долю коже съест собака. Чтобы мне совести не иметь и стыда… — он перечислял клятву за клятвой, мы не успевали за ним считать.

Дурия не выдержала и рассмеялась:

— Остановись, Ажибек. Не то останешься без всего, — и налила ему коже в освободившийся тостаган Колбая.

Ажибек залпом осушил тостаган и удовлетворенно щелкнул себя по выпяченному животу.

— Уф!.. — И льстиво сказал: — Ну и красива же наша Дурия!

Дурия грустно улыбнулась. С тех пор как Ырысбек выставил ее за дверь, так близко я увидел ее впервые. За это время она похудела, осунулась, в уголках губ и глаз появились морщины. В ауле поговаривали, будто глухой Колбай иногда бьет ее, мстя за свое унижение.

Товарищ Алтаев поднялся на ноги и, не глядя в нашу сторону, пошел в степь. Когда он скрылся в лощине, к нам тотчас подошел старик Байдалы и присел рядом на корточки.

— Милая, у тебя что-нибудь еще осталось? Вдруг есть ни с того ни с сего захотелось, — сказал он, отводя глаза.

Дурия молча взболтала торсук и налила ему коже в свободный тостаган.

— Байеке, а вам нельзя пить это коже, — сказал Ажибек.

— Почему нельзя? — удивился старик Байдалы, потеряв бдительность и не думая о подвохе.

— В этом коже краденая пшеница. Если выпьете такое коже, возьмете грех на свою душу, — пояснил Ажибек, делая вид, будто его очень тревожит судьба старика Байдалы.

— Голова твоя тыквой! Сколько можно терпеть от тебя?! — рассвирепел старик Байдалы и замахнулся на Ажибека, но тот ловко отскочил в сторону.

Все рассмеялись, кроме самого старика Байдалы да Колбая. Тот, по-прежнему запертый в свою глухоту, беспокойно вертел головой и спрашивал:

— Что он сказал, а? Что он говорит?

Но, благодаря глухому Колбаю, бригада все-таки смогла перекусить и перевести дух.

А потом вернулся уполномоченный, такой же суровый и вечно оскорбленный недостаточной сознательностью наших аульчан, и сел на свою горку соломы.

Вечером моя мама заглянула домой на часок, выпить чашку кипятка с солью. Пока бабушка разжигала самовар и готовила еду, мама сняла шерстяной пояс с больной поясницы, села спиной к печке и тотчас, закрыв глава и склонив голову набок, захрапела.

— Страдалица ты наша… устала, — сказала бабушка, сердобольно качая головой.

А мама так и спала сидя, со склоненной к плечу головой, и сладко похрапывая. Вокруг ее запавших глаз нездорово темнела кожа. Резче обозначились морщины на лице. Даже мне она казалась маленьким и жалким и совсем беззащитным человечком. Меня, как и бабушку, так и тянуло погладить ее по голове, говоря: «Страдалица ты наша».

Бабушка приготовила дастархан, но будить маму не решилась.

— Пусть немного поспит, — сказала она и погрозила нам пальцем. — Не вздумайте шуметь, я вас…

Мы-то и сами готовы были молчать хоть час, хоть два, хотя нам это и стоило неимоверных усилий.

Но маме все равно не дали поспать. На улице раздался топот коня и замер возле нашего дома, затем в окно постучали рукояткой камчи, и послышался голос уполномоченного из района:

— Дома бригадир? Пусть выйдет!

Мама вздрогнула, проснулась и, повязывая на ходу шерстяной пояс, поспешила на улицу. Ну, а меня разве удержишь дома в такую минуту? Я мальчишечьим своим чутьем угадал, что сейчас что-то будет, и выскочил следом за мамой.

Темнота скрывала лицо уполномоченного, но по голосу его, по тому, как нервно переступал под ним конь, было ясно, что он сильно не в духе.

— Женге, я поймал вора! Идемте со мной, — сурово сказал уполномоченный.

Он повернул коня и направил шагом к дому Нурсулу; мама послушно последовала за ним, я пошел за мамой.

Дверь Нурсулу была распахнута настежь, из дома наружу вырывался свет. Сама хозяйка стояла у порога, у ног ее, рассыпавшись по земле, лежала большая охапка бурьяна.

— Вот! — сказал товарищ Алтаев, показывая камчой на бурьян. — Здесь десять килограммов зерна, никак не меньше!

И точно: среди серых стеблей бурьяна желто поблескивали колосья пшеницы.

— Не верите? — усмехнулся уполномоченный. — Потрите в руке!

— Вижу и так, — вздохнула мама и повернулась к Нурсулу: — Где ты это взяла?

— Да шла через поле, ну, там, где уже скосили озимые, не выдержала и собрала, — рассказала Нурсулу, виновато глядя под ноги.

— Ай, зачем же ты сделала? Ведь знаешь, нельзя сейчас подбирать колосья, — строго сказала мама.

— Они бы все равно на земле остались, — пробормотала Нурсулу. — А детям нечего есть. Думала, подберу и ребятам пожарю, перед тем как на работу идти.

— И все равно, Нурсулу, так не годится, — сказала мама с упреком.

— Что же теперь делать? — нерешительно спросила Нурсулу. — Может, отнести на ток?

— Больше не бери колосья. А это оставь себе, твоим детям надолго хватит, — сказал мама. — Товарищ Алтаев, Нурсулу больше не будет. Она обещает нам. Правда, Нурсулу?

— Что вы несете? — резко оборвал ее уполномоченный. — Нечего ее покрывать! Сейчас же составьте акт! Вот вам карандаш и бумага, — он нагнулся и протянул бумагу и карандаш маме.

— Она не подумала, она ошиблась. Простите ее ради детей, — попросила мама.

— Вы что? Не хотите составить акт? Значит, вы с ней заодно? — закричал уполномоченный; конь его прянул в сторону.

— Свет мой, должность у тебя большая, но сам ты еще очень молод, не умеешь обращаться с людьми. — Мама тоже повысила голос. — Кто будет убирать урожай, если мы всех женщин отправим в тюрьму? Для голодных детей они подбирают колоски. А себя ничуть не жалеют, работают и ночью и днем, хотя мы ничего им не платим, даже зернышка на трудодень! Неужто мы скажем этим женщинам после всего: пусть ваши дети с голоду дохнут!

— Вы — коммунистка, а говорите такие слова! — возмутился уполномоченный.

— Я — коммунистка! — гордо подтвердила мама. — И потому и говорю такие слова! Если мы не можем помочь этим людям, значит, мы не меньше их виноваты!

— Вы только и думаете о еде. Впрочем, разговаривать с вами, видимо, нужно в другом месте, — процедил уполномоченный сквозь зубы.

— Не надо, Багила, не спорь с ним, — сказала Нурсулу.

— А вы!.. — крикнул ей уполномоченный. — А вы пойдете со мной. Я отведу вас куда надо, вместе с… вашим бурьяном!

Нурсулу собрала бурьян в охапку, взвалила ее на плечо.

— Я же тебе сказала: оставь это дома! — напомнила ей мама.

— Иди, Багила, не спорь с ним. Пусть уполномоченный-джигит утешит свою душу. Враги оставили его без руки, но плату он, видно,

хочет получить с нас, вдов и сирот, — с горечью сказала Нурсулу. — Куда прикажете нести, господин?

Уполномоченный заскрипел зубами, сдерживая себя.

— Оскорбляете? Ничего, я стерплю. На фронте было потяжелей. Несите похищенное зерно в контору!

Нурсулу зашагала по улице. Уполномоченный поехал рядом, едва не касаясь стременем ее плеча. Мама пошла за ним, решив не бросать Нурсулу в беде. Я по-прежнему тянулся за ней как хвост.

Уполномоченный привел Нурсулу в контору и запер там вместе с колосками, навесив на двери огромный замок.

— Вы не имеете права!.. Кто вам дал право держать ее взаперти без суда?! — гневно спросила мама.

— Но и нельзя оставлять на свободе того, кто ворует, — убежденно ответил товарищ Алтаев.

— Да разве это воровство?

— Я же сказал: с вами мы будем говорить в райкоме. А сейчас занимайтесь своими делами и не мешайте мне исполнять свой долг. Распустились здесь, в тылу!

Было ясно, что упрямого уполномоченного маме не переубедить. Она взяла меня за руку, и мы пошли домой.

— Ничего, все будет хорошо. Попугает он Нурсулу и простит, — сказал мама, успокаивая себя.

Однако уполномоченный взялся за дело по-настоящему. Составил акт, вызвал милицию из районного центра, и та увезла Нурсулу. Рассказывали, как Нугман заступался, просил оставить ее, но милиция будто бы ответила ему: «Нельзя! Кого-то следует наказать, чтобы другим стало неповадно. Иначе завтра в открытую начнут воровать». А уполномоченный вроде бы и самого Нугмана обвинил: «Слабость проявляешь, председатель. Потакаешь расхитителям народного добра». И еще очевидцы говорили, что двое детей Нурсулу и ее старая мать долго бежали за полуторкой-грузовиком, на котором увозили арестованную в район, а потом упали в дорожную пыль и лежали до тех пор, пока их не подняли моя мама и другие женщины и не увели домой.

А через день-два я, забежав в контору за мамой, оказался свидетелем разговора мамы с Нугманом.

— Ничем уже не помочь Нурсулу, — говорил председатель. — Время сложное, тяжелое. Есть приказ: ни зернышка не оставлять в земле! Все для фронта! Все для победы!

— Но ведь колосья остаются, — возразила мама. — Почему же судят того, кто их подобрал, а те, по чьей вине они остались, ходят как ни в чем не бывало, ничуть не виноватые?

— В конце концов их тоже накажут, — сказал Нугман.

— Кого? — спросила мама. — Мальчишек, которых посадили на старые машины?

— Что ты, Багилаш, мы должны сказать им спасибо, — смутился Нугман.

— Вот видите. А Нурсулу, наверное, будут судить.

— Будут, — вздохнул председатель.

— Тогда пусть судят весь аул! — крикнула мама. — Мы все подбирали колоски. Одни чаще, другие… хоть раз да подбирали. Выдать одну Нурсулу, а самим остаться в стороне?

— Багила-ай, оставим этот разговор! — взмолился Нугман.

— То есть как оставим? А дети Нурсулу? Ее больная мать? Что будет с ними? О них вы подумали?

— Думаю. Уже голова кругом идет.

— Тогда поезжайте в район, поговорите с главным начальством.

— А что я скажу? Отпустите человека, укравшего зерно?

— Да не украла она! Колоски это! Колоски! О господи!.. Не хотите сами, пошлите меня.

Нугман помолчал и тихо сказал:

— Завтра поеду в район.

В эту ночь мама осталась дома, на ток не пошла. Повязала на лоб чистую тряпку и еще с вечера легла в постель, охая и вздыхая, ну совсем как больной человек. Мне тоже было не по себе. Я долго не мог уснуть, полночи думал над словами мамы. В самом деле, не песок же, не глину ест аул. В какой дом ни зайди, увидишь жареную пшеницу, талкан, а у кого-то и хлеб печеный найдется. Откуда люди берут зерно, если за трудодни ничего не платят? Я не видел, чтобы мама или сестра Назира доставали зерно из чулка или кармана, но ведь мы что-то едим каждый день, иначе бы все в нашем доме перемерли от голода. Значит, и вправду нужно судить весь аул, и в том числе и сестру Назиру, и мою маму? Я на миг представил, как приехала милиция из района и увезла

весь аул, и у меня похолодела спина. Нет уж, мама не думает, что говорит. Пусть уж лучше осудят одну Нурсулу. Жаль, конечно, ее, и двух малышей, и престарелую мать…

Мама перевернулась на другой бок и тяжко вздохнула: «О-ох!»

Нугман сдержал свое слово — уехал еще на рассвете в районный центр и вернулся только на другой день, когда солнце уже перекочевало на запад. Не заходя в контору, он сразу приехал на ток. На него было страшно смотреть: бледный как простыня, глаза ввалились, стали бесцветными, безжизненными, как осеннее небо. Ни слова не говоря, Нугман тяжело слез с коня, так же молча привязал его под навесом и лег на солому вверх лицом, прикрыл глаза рукой.

Доже мы, дети, и те поняли, как плохи дела Нурсулу. А мама взяла торсук с кислым молоком, склонилась над Нугманом:

— Выпейте, председатель.

Нугман опустил руку и сел, сказал виновато:

— Не вышло! Ничего не получилось. Дело передали в суд.

— Но ты сказал, что это не воровство? Что у нас остается очень много колосьев на поле? — спросила мама.

— Не мог я этого сказать, Багила. Плохо бы стало нашим мальчишкам. Это же они сидят на косилках. Ты говорила сама. Вон у соседей, двух таких же мальчишек… В общем, не мог я! Сама должна понять, — сказал Нугман, словно извиняясь.

Вечером из степных глубин налетел сильный ветер, принес пылевую бурю. Все вокруг, и дома, и земля, и небо, смешалось в тучах черной пыли. Она забивала нос, разъедала глаза. Люди метались точно серые призраки, накрывая зерно всем, что попадало под руку, будь то кошма или палас. А если не было и этого, срывали с себя одежду и тоже набрасывали на кучи зерна.

Потом на смену пылевой буре пришел холодный проливной дождь.

— Это и есть черная буря казана[20], — пояснил старик Байдалы. — Если затянем с уборкой, пропадет урожай. Теперь жди непогоды!

За эти дни мы приноровились к своим малатасам и к молотилке, и наша работа пошла поживей. Теперь косилка и лобогрейка не успевали снабжать ток пшеницей. Того, что привозили на одной арбе и

волокуше, нам хватало часа на три, а потом мы распрягали коней и сидели без дела. Мама почти все время проводила в поле, оставив за себя старика Байдалы.

Однажды на ток снова нагрянул товарищ Алтаев и, увидев наше безделье, напустился на старика Байдалы:

— Почему стала работа? Это что? Саботаж?

Старик Байдалы пустился было в объяснения, но уполномоченный не стал даже слушать, закричал на него:

— Распустились вы здесь, в тылу! Почему не подвозят хлеб? Где бригадир? Сейчас же найти бригадира!

— Канат, возьми своего гнедого да съезди позови свою мать. Она где-нибудь у комбайна, — сказал расстроенный старик Байдалы.

Я вскочил на гнедого и поскакал. Да только гнедой мой скакал боком, как привык по кругу трусить. Да и я сам кособочусь, разучился прямо сидеть на коне. Мы с гнедым перевалили через два холма и вышли прямо к стоявшему комбайну.

Еще издали мое ухо уловило удары металла о металл. Тракторист Есенбай и комбайнер Иван, оба черные с головы до пят от какой-то мази и пыли, сидели на траве и что-то чинили. И тот, и другой из нашего аула, только работали они теперь в МТС. Есенбаю уже за пятьдесят, он смуглый, с лохматыми, иначе не скажешь, усами, нависающими над верхней губой. Иван прямая ему противоположность — глаза у него голубые и волосы, наверное, светлые-светлые, если их хорошенько отмыть, да и возрастом он годился Есенбаю в сыновья. Моя сестра Назира и та его на год-полтора старше. И все же Есенбай старался работать в паре с Иваном. Вот так же вместе весной они пахали в нашем колхозе, а теперь прибыли убирать урожай. Про Есенбая и Ивана говорят, что их сближает любовь к шуткам и общая болезнь, дескать, они очень любят копаться в своих машинах. Стоит сломаться какой-нибудь одной детали, и они с ней возятся целый день. Так, мол, и работают: сделают один круг и потом до ночи копаются в машине. Наш учитель Мукан-ага даже песенку сочинил про них, которая так и называется: «Болезнь копания»:

Иван и Есенбай,
Под ними комбайн

Из железа и стали,
Машины, говорят, устали!
Полгектара урожая
Всю неделю убирают!
Их «болезнь копания»
Гробит все старания!..

Песня получилась длинной-предлинной, я всю не запомнил. Но когда мы с мамой услышали ее в первый раз, мама сказала, что Есенбай и его комбайнер не так уж и виноваты. На заводах сейчас выпускали танки для фронта, и запчасти к другим, мирным машинам приходится делать самим, своим, домашним способом, ну а проку от таких частей немного. Ну, а то, что они всегда веселы и не падают духом, это, может быть, и хорошо.

Вот и сейчас Есенбай и Иван стучали, лязгали инструментами, что-то перебирали, протирали. Увидев меня, Иван улыбнулся во весь рот и спросил:

— Эй, с чего это вы оба окривели? И твой конь кривой, и ты сам кривой!

Есенбай поднял голову, посмотрел на нас с гнедым и тоже засмеялся:

— Кривой на кривом, куда путь держишь?

Нет, они ничуточки не переживали из-за того, что их комбайн в этакое горячее время без дела стоял. Видно, не зря народ пел песню Мукан-ага. Ишь, какие довольные! Только и думают, кого поддеть, над кем посмеяться. Но я сдержался и сказал, что разыскиваю маму.

— Ах, маму?! — весело воскликнул Есенбай. — Твоя мама на вершине горы Балканы, где молодой заяц убегает от фазана, а фазан от твоей мамы… — В такт своим словам тракторист стучал молотком по какой-то металлической штуковине.

Иван тоже не заставил себя ждать, подхватил вслед за Есенбаем:

— У фазана хвост длинный, а сам фазан весь красный. У мамы твоей железное ружье. Она прицелилась в фазана и — паф! — попала прямо в глаз. Ну, понял?

— Ничего он не понял, — сказал Есенбай, веселясь. — Фазан — это Манар, а заяц — Карл. И твоя мама охотится на фазана и зайца.

Я повернул гнедого и поскакал дальше.

— Только не промахнись! Не забывай, ты криво скачешь! — напутствовал меня Иван, и они снова застучали железом.

Мама и вправду оказалась возле лобогрейки Манара. Перед ней, вытирая руки травой, стояли Манар и кузнец Карл, одногодки комбайнера Ивана. А мама, наклонившись к ним с коня, размахивала камчой, словно собиралась отхлестать и одного и другого, и вовсю ругала:

— Окаянные! Или работайте как следует, или убирайтесь отсюда! Всыпать бы вам покрепче да отправить в свое ФЗО! Пусть посмотрят, кого воспитали! Это же надо: три круга за весь день!

— Так ведь только что починили, — сказал Манар, продолжая вытирать руки и ничуть не обижаясь. И вообще я еще ни разу не видел, чтобы Манар сердился. Лицо у него всегда спокойное, приветливое, не помню, чтобы он слово грубое бросил, даже нам, мальчишкам.

— Опять скажете: нет деталей? А что валяется у тебя во дворе? Небось спрятал, а потом — нет запчастей? Не так ли?

— Да ведь это совсем от другого детали. От старого мотоцикла, тетя, — пояснил Манар терпеливо.

— Ну, а что у вас сегодня сломалось? — грозно продолжала мама.

— Косогона не напасешься. Ломается все время.

— Если нарочно ломать, тогда уж точно не напасешься!

Но тут за Манара ответил кузнец. Он, худенький, малого роста, чуть повыше меня, да и голос у него писклявый, заикающийся. Карл первым из немцев, приехавших к нам в начале войны, научился говорить по-казахски, освоился и вообще стал своим человеком в ауле.

— Для ко-осогона хорошее дерево н-н-надо, а это ни-ни-ни-никуда не годится, — сказал Карл, нервничая и еще более от этого заикаясь.

— Чем же оно плохое? — еще пуще рассердилась мама.

— Не-не крепкое, быстро л-л-ломается.

— Ладно, я разберусь… Да сколько, в конце концов, можно вытирать руки? Не девушка, поди! Манар, пускай машину. И чтобы этот участок сегодня скосил! А ты, Карл, останешься здесь на всякий случаи. Не успеете к вечеру, ночью будете косить! Понятно?

— П-п-понятно.

После этого мама занялась моей особой:

— Канат, что случилось? Почему ты здесь?

Я коротко рассказал о том, что произошло на току.

— Ладно, поехали, — сказала мама, сразу осунувшись, и повернула коня.

Я тоже потянул повод. Манар мне улыбнулся и подмигнул, а Карл вполголоса спросил:

— К-канат, колесо еще у тебя?

Я утвердительно кивнул и поехал за мамой.

Карл и Манар собирали по всему аулу разный хлам. Что ни попадется на глаза из железа, все тащат к Манару, в сарай. Мне они говорили, будто хотят построить настоящую легковую машину. На днях Карл увидел в нашем дворе старое колесо от мотоцикла и попросил ею насовсем. Он умолял, чуть не в ногах валялся, а на меня что-то нашло, я заупрямился и не дал колесо, эту рухлядь.

Я догнал маму и поехал рядом, колено к колену. Мама хмуро молчала, готовясь, наверное, к неприятной встрече с уполномоченным. Ну а я, чтобы не скучать, тоже начал думать. И поскольку только что расстался с Манаром и Карлом, стал думать о них.

Это были удивительные друзья; между ними, говорили взрослые, и волосинку не проведешь. Я слышал рассказ сестры Назиры о том, как Манар познакомился с Карлом. Они встретились впервые в тот день, когда на станцию приехали немецкие семьи. Председатель послал за ними подводы, и на одной из них отправился Манар. Он стоял возле арбы на пристанционной площади, ждал, когда к нему посадят людей. Характер у него был мягкий, почти девчачий, эта мягкость так и была написана на его узком нежном лице, но, странное дело, никто не дразнил его за это, и даже наоборот: всех так и тянуло к нему. И вот, когда Манар ждал у арбы, к нему подошел привлеченный его излучающим доброжелательность лицом мальчик-немец, пролопотал что-то на своем языке и улыбнулся. Манар тоже улыбнулся, и эти улыбки мгновенно связали их дружбой. Но тут же выяснилось, что мать Карла собирается жить совсем в другом ауле, тогда Манар и Карл уговорили ее, один словами, другой выразительными жестами, и она пересела на арбу Манара. Приехав в аул, мать и сын поселились не где-нибудь, а рядом со своим новым другом. Манар жил вдвоем со старой матерью. Старушки тоже

подружились, и забавно было видеть со стороны, как они, не зная языка, оживленно беседуют с помощью знаков.

С тех пор Манар и Карл почти не расставались, повсюду ходили вместе словно приклеенные. Нет, никто не видел, чтобы они праздно шатались по улице, не зная, куда деть свободное время. Друзья вечно что-нибудь мастерили, строили что-то. А в том, что у Карла золотые руки, вскоре убедился весь аул. И произошло это так. Еще прошлой зимой ушел на фронт единственный в колхозе кузнец Ахат, и кузница месяца два стояла закрытой. Но однажды старик Байдалы открыл ее двери. Пришла пора возить на фермы сено, и надо было подправить полозья саней. Старик Байдалы и двое его помощников, тоже почтенные, пожилые колхозники, раздули в горне огонь, но дальше этого работа у них не пошла. Никто не знал, как следовало на самом деле варить и ковать железо. Старики стояли вокруг горна и отчаянно спорили: «Я говорю: нужно так» — «А я утверждаю: не так, а вот этак». И они бы спорили, наверное, без конца, и сено еще долго лежало в стогах, ждало возницы, но, к счастью, мимо проходили Манар и Карл. Любопытство и громкие голоса заставили их заглянуть в распахнутые двери кузницы. Послушав спорящих, Карл, ни слова не говоря, положил раскаленное железо на наковальню, взял в руки молоти начал править полоз. Да так ловко натянул полозья и прибил их гвоздями, что старики диву дались, глядя на то, как легко взлетает тяжелый молот в его худых, еще не окрепших руках. Придя в себя, старик Байдалы, бывший тогда бригадиром, тут же попросил Карла взять на себя обязанности кузнеца. И мама, ругая меня за лень, обычно ставила в пример Манара и Карла, расхваливала на все лады: и какие они заботливые, и умелые, и как любят труд. И было непривычно слышать, как она сегодня и так и этак отчитывала их, кричала, размахивала камчой. Какая муха ее укусила?

Когда мы приехали на ток, уполномоченный налетел на маму с такой неистовой яростью, что я испугался, что он вот возьмет и прямо отсюда отправит ее в тюрьму.

— Где хлеб? Почему не косят? — кричал товарищ Алтаев, размахивая единственной рукой. Пустой рукав его гимнастерки выбился из-за ремня и взлетал, точно подбитое крыло.

— Товарищ Алтаев, лобогрейка сломалась, — устало отвечала мама.

— А почему сломалась? Нарочно, да? Нет, тут пахнет вредительством! Вы не хотите работать! Вам наплевать, что идет война! Я вас под суд! Всех под суд! Вы у меня руками — руками будете косить! И чтобы сегодня же были снопы.

Раньше мама никому не позволяла себя обижать, а если кто и пытался обидеть, быстро отбивала у того охоту кричать на людей. Но тут она и слова не сказала, только стиснула зубы, почернела лицом, снова села на коня и уехала в поле. А вскоре на ток поползли арбы и волокуши со снопами нового хлеба.

В этот день мы вернулись домой далеко за полночь. Еще к вечеру с гор подуло холодом, и у нас с сестрой Назирой, босых, одетых легко, совсем по-летнему, зуб на зуб не попадал. Мама отправилась вместе с нами, чтобы поесть и погреть поясницу. Дома она сняла пояс и приложила к спине бутылку с горячей водой. В комнате было тепло и спокойно. И когда к нашему дому подкатила арба, перестук ее колес прозвучал для моих ушей словно грохот сказочной колесницы.

— Тетя! Тетя! — завопил за дверью Манар истошным голосом.

— Господи, опять что-то случилось! Ну, негодники, ну, негодники, — посетовала мама и, наскоро повязав пояс, вышла на улицу, и тотчас мы услышали ее полный ужаса голос: — Что ты говоришь?! Господи, что ты говоришь?!

Мы с сестрой Назирой выбежали из дома. Темная фигура матери склонилась над арбой, возле нее маячил Манар.

— Как же это случилось, Манар?.. Как это случилось? — горестно повторяла мама.

На арбе кто-то мучительно застонал.

— Карл, голубчик… Карл, миленький… потерпи. Сейчас мы что-нибудь сделаем, — ласково попросила мама.

А Манар, всхлипывая, рассказал, что они расстались с Карлом. Тот сказал, что будто бы пойдет на ток и там будет ждать. А Манар решил, хоть и темно, скосить еще три круга. Он прошел два круга и повернул на третий, и тут кто-то вскрикнул из-под косы.

— Он, наверное, здесь хотел подождать, пока я закончу… Мы собирались потом к Шымырбаю, дыни поесть… Он ждал и заснул… А я не знал… Я не знал… — Тут выдержка отказала Манару, он зарыдал во весь голос.

Бабушка вынесла лампу и вместе с мамой осмотрела Карла. Меня не подпускали близко к арбе, но все же я успел увидеть окровавленное тело, лохмотья, в которые превратилась иссеченная одежда, и невольно попятился к дверям. Мама тоже не выдержала и отвернулась.

— Нужно срочно съездить за доктором, — сказала мама. — В таком состоянии его в больницу везти нельзя. Мальчик не выдержит. Кого же послать? — спросила она как бы самое себя. — Ясно, я сама поеду в Канар. Манар, отвези пока, голубчик, Карла домой! Назира, разбуди кого-нибудь из немцев. Пусть они подготовят мать. У бедняжки больное сердце. Как бы и с ней не случилось беды. А ты что стоишь? — обратилась она ко мне. — Ступай сейчас же в дом. Побудь с маленькими. Они уже, наверное, перепугались одни.

Уходя в дом, я услышал, как вновь застонал пострадавший и как мама сказала:

— Потерпи, дорогой… я сейчас поеду за доктором.

— Несчастный, — сказала бабушка. — Видно, ему на роду страдать суждено.

— Бабушка, вы опять за свое? — услышал я голос Назиры и закрыл за собой дверь.

Маленькие уже повылезали из постелей и ревели в в три голоса. Болат и Марат басовито, а сестренка Жанар вторила им тоненьким, пронзительным голосом. Я начал их успокаивать и так и этак, и уговаривал, и стыдил. Замучился, не зная, что еще с ними делать. Хоть плачь вместе с ними.

— Если не перестанете, волк постучится в дверь, — сказал я, прибегая к последнему средству. — А медведь уже смотрит в окно. «Кто здесь плачет?» — спрашивает.

Но маленьким хоть бы что — ревут в три ручья. Тогда я подошел к двери, незаметно для них постучал и спросил того, кто будто бы стучался в наш дом:

— Кто там?.. Говоришь, ты, безумная Бубитай?.. Нет-нет, я не открою дверь. Нет, нет, не проси! У нас никто не плачет… Да, никто. Это плачут дети Нурсулу.

И братья, и сестренка тотчас замолкли, вытаращили глазенки, испуганно уставились на дверь.

— Канат, там сумасшедшая Бубитай, да? — спросил Болат, который был чуть постарше остальных.

— Она! Услышала ваш плач и пришла. Раз они плачут, говорит, заберу их с собой.

— Канат, мы не будем плакать, скажи ей: пусть уйдет, — взмолился Марат.

— Эй, сумасшедшая Бубитай, уходи! Наши дети плакать не будут! — крикнул я, глядя на дверь.

И сам испугался, бросился к братьям и сестре, залез к ним под одеяло. А вдруг безумная Бубитай и вправду таится за дверью?

— А днем сумасшедшая Бубитай к нам приходила, — зашептал Болат, прижимаясь ко мне горячим боком. — Бабушка дала ей поесть. А потом прибежала Тоштан и увела тетку домой.

— Канат, повернись ко мне, — тихо захныкала Жанар, обнимая меня за шею.

— Канат, скажи Болату: пусть он возьмет мою руку, — попросил Марат, боясь говорить громко.

— Болат, ты ведь уже большой…

Мы прижались друг к другу тесней и так незаметно уснули.

Но всю ночь мне снились кошмары. За нами, ребятами, гонялся с ружьем Ырысбек, грозясь расстрелять, и я прятался в куче кизяка, сложенной перед дверью. Потом появился окровавленный Карл, он смеялся и пел как ни в чем не бывало и обнимался с Манаром. Я видел во сне сражение: отряды солдат, исчезающих в пороховом дыму, а когда их вовсе не стало, из клубов черного дыма появился толстый волосатый человек и пошел на меня, зловеще поигрывая ножом глухого Колбая. Я в ужасе, но бежать не могу — ноги мои словно приросли к земле. Открываю рот, чтобы позвать на помощь маму и бабушку, и вместо крика слабенькое, сдавленное шипение. Я просыпаюсь, дрожа от страха. Рядом со мной сладко посапывают малыши. В комнате сумрачно. Со стола тускло светит керосиновая лампа. Я ищу глазами бабушку, но она еще не вернулась. Мы одни. И я проваливаюсь в очередной страшный сон.

На этот раз мои враги бездомные собаки — дети Караканшык — Кокинай. Они носятся по улице, свирепо оскалив клыки, гоняя людей по домам. Я, таясь, выглядываю в окно, — мне нужно пробраться к маме на ток, передать что-то важное, но перед домом меня караулит, щелкает зубами огромный черный пес, тот легендарный черный щенок

Караканшык, о котором нам рассказывал старик Байдалы и о котором мы некогда так мечтали. И я плачу навзрыд…

Я проснулся от чьих-то шагов. Лампу уже погасили, на стене лежал серый рассвет. Я перевернулся лицом к окну и увидел бабушку. Она, кряхтя, стелила на полу коврик, готовилась читать утренний намаз.

— Бабушка, а где мама?

— Мама на ток пошла… Мученица! Сегодня опять не спала… Не хочет о себе, так хоть бы о детях своих подумала.

В голосе ее сложное чувство: тут и жалость к невестке, и возмущение, и обида. И точно: днем мама забежала попить горячей воды, и бабушка сразу на нее напустилась:

— У тебя что? Кроме колхоза нет никого? Ни детей, ни семьи?

Мама поморщилась, словно у нее разболелся зуб и вот его задели. И промолчала.

После несчастного случая с Карлом лобогрейка и косилки протянули кое-как дня полтора, а потом и вовсе остановились. Некому было сварить ломаную деталь и тем более отковать ее заново. Нугман самолично уехал в район на поиски кузнеца, дня три пропадал и вернулся один. Кузнец, которого он отыскал, обещал приехать «как-нибудь на днях». Когда будет свободен.

Но хлеб не хотел больше ждать. Взрослые опасались, что еще немного, и колос начнет осыпаться на землю. Они взялись за косы и начали косить вручную. Нас снова позвали на помощь. Всех, кто мог обращаться с серпом или хотя бы собирать колоски, освободили от школьных уроков и послали в бригады.

Вот уже который день мы жнем на Куренбеле, самом дальнем участке колхоза. У каждого из ребят своя постоянная норма, совсем как у взрослых. Мы вытянулись в цепь, а те, кто был послабей или не имел серпа, шли следом за нами, убирали скошенный хлеб. И так с утра до вечера, почти не разгибая спины.

Над нами низко висело бесцветное, мутное, будто подернутое дымкой небо. По утрам было холодно, промозгло. По телу бегали знобкие мурашки, а короткие волосы на голове от холода торчали дыбом. Но к полудню пробивалось солнце, выходило над нашими

спинами, отогревало, а потом начинало жечь. И сразу поднималась подсохшая пыль. «Жжу-жжу… Сыр-сыр…» — звучали косы и серпы, срезая стебель, шуршали падающие хлеба. «Жжу-жжу… Сыр-сыр…» Перед глазами мельтешили тонкие стебли, колосья почти по-кошачьи таращили свои жесткие усы. Спелые, сухие, они так и звенели в руках. И ты будь с ними и ловок, и осторожен. Срежешь не так — обломится колос на стебле, пропадет зерно в пыли. Ладони распухли, горели, их жгло, словно в горсти ты держал большую щепотку соли. В глазах становилось темно и ныла задеревеневшая поясница. Остановишься на секунду-другую, разогнешь поясницу, потрешь ее, и снова вперед, иначе отстанешь от других, не выполнишь норму. И ты идешь, идешь по своей полосе, жнешь, жнешь серпом, только мечтая о той минуте, когда наступит обеденный час, да поглядывая на Ырысбека. Это от него зависит наш отдых. Он самый главный здесь, на Куренбеле. А пока он шагает, лихо размахивая косой, гимнастерка его совсем бела от солнца, ремень застегнут через плечо. «Сыр-сыр-сыр… Жжу-жжу…» Послушно падают перед ним хлеба. Говорят, если Ырысбек захочет, то сможет все.

Но вот он опускает косу, достает из кармана большие трофейные часы и — наконец-то! — протяжно подает команду:

— Отды-ха-ай!

Мы бросаем серпы там, где нас застала команда, и мчимся к своим шалашам, сооруженным из веток, с толстым слоем травы на крыше. Я живу в шалаше с сестрой Назирой. По соседству с нами глухой Колбай и его Дурия, еще дальше шалаши других косарей, замыкает их ряд жилище Ырысбека и Зибаш.

Войдя в свой шалаш, Ырысбек берется тотчас за домбру. Песни теперь он поет веселые, задорные, и чаще всего краковяк:

Русский, немец и поляк
Танцевали краковяк!
Тра-ля-ля, ля-ля-ля,
Трайля-ля, три-ляля…

Он играет, поет и пощелкивает пальцами по корпусу домбры. И кажется, что вместе с ним пляшет его шалаш и наши шалаши

подтанцовывают ему.

Иногда Ырысбек дурачится, заводит песни, посвященные Зибаш:

Прекрасен разлет твоих бровей,
Зибаш!
Милая, накорми меня,
уважь!

Переводя дух в своих шалашах, мы смеемся над шутками Ырысбека, забываем об усталости.

— Ненормальный твой Ырысбек… Сумасшедший какой-то, — говорит сестра Назира, качая головой, но по глазам ее видно, что ей тоже смешно.

Потом мы слышим, как со стороны аула катится, скрипя колесами, арба с быками в упряжке. Она везет нам обед — лапшу, заправленную молоком.

После обеда опять за работу. И опять мутное небо. «Жжу-жжу… сыр-сыр…» — говорят косы и серпы. Шелестят падающие хлеба. Щетинятся кошачьи усики колосьев, и неподвижное солнце над спиной. Жжение в распухших ладонях. Кружение головы. Темнота в глазах… И опять ждать вечера, когда солнце зайдет. И вот оно заходит. Уставшие до изнеможения, плетемся к шалашам и валимся на травяную подстилку. И опять в сумерках прибывает арба с тем же невозмутимым быком в упряжке, привозит ужин — лапшу, заправленную молоком…

Потом приходит мама, измеряет нашу работу, кто сколько сделал за день. На ночь она остается со мной и сестрой Назирой. Спать в шалаше очень холодно. Мы ложимся в верхней одежде, набрасываем на себя старые одеяла и шубы, прихваченные с собой из дома, обкладываемся травой. И если среди травы попадает сухая полынь, чихаем и кашляем всю ночь напролет.

Мама спит беспокойно деля, как говорит бабушка, ночь на четыре части, то и дело встает и уходит из шалаша. Я тоже просыпаюсь, потому что с той стороны, с которой меня согревала мама, ко мне подбирается ледяной ветерок. Я не сплю, слушаю ее шаги. Они удаляются и потом приближаются снова. Мама ходит по нашему

лагерю, словно часовой, и, побродив, залезает в шалаш. Впотьмах плотнее укрывает сестру Назиру одеялом, кутает меня, спящего посредине, и тихонько ложится сама.

— Мама, почему ты не спишь? Все ходишь, ходишь? — шепчу я, не сдержавшись.

— Смотрю, как бы не загорелся хлеб, — отвечает она тоже шепотом. — Ырысбек курит целыми днями. Глядя на него, задымили другие. А хлеб и трава точно порох. Иссушились за эти дни. И стоит только одной искре… А ты спи. Нечего тебе, не твоя забота. Завтра чуть свет подниму.

И она в самом деле будила чуть свет, едва над горизонтом, на востоке, темнота начинала таять, бледнеть. Мама ходила по шалашам и поднимала людей. Кое-кто снова зарывался под шубы, одеяла, бормоча: «Сейчас, сейчас». Но она не пускалась в уговоры, а прямо стегала камчой. И лицо ее было безжалостное, холодное. В такие минуты я сам боялся ее.

Мы вылезали на холод из уютного шалаша, нагретого за ночь теплом наших тел, нашим дыханием. Белый иней, выпавший на траве, колол своими иглами босые ноги, по телу волнами ходила противная дрожь. Хлеба встречали нас плотной враждебной стеной. Но вот в тишину врывались резкие звуки: «вжик-вжик…» Это косари точат косы. Я слежу за сестрой Назирой: управившись раньше всех со своей косой, она направляется к напряженно застывшим хлебам. Ее движения размашисты, уверенны. Коса ходит как маятник у часов. И вскоре Назира вырывается вперед, оставляя других косарей далеко за собой. В первый же день Ырысбек закипятился, пробовал потягаться с моей старшей сестрой. Сказал: «Посмотрим, кто кого! А ну, красавица, держись!» и бросился вдогонку, лихорадочно замахал косой. Да куда там! Задохнулся, посинел. Мы уже было испугались, что помрет.

— Вот это девушка! Батыр! — сказал Ырысбек, придя в себя. — Такой сильной девушке и проиграть не стыдно!

Он стал поглядывать на сестру Назиру, несколько раз подходил к ней, пытался завести разговор, но она отворачивалась или вовсе отходила прочь.

— Глаза у него нехорошие, не люблю я таких людей, — пояснила она мне, хотя я и не спрашивал. У них, у взрослых, свои дела; у нас, ребят, свои.

Однажды, перед обеденным перерывом, Ырысбек снова подошел к сестре Назире:

— Признайся, красавица, уж не заколдованная ли у тебя коса? Дай посмотрю, — попросил Ырысбек и взял, нет, не косу, а Назиру за локоть.

Сестру мою словно бы ужалила змея, она отдернула руку и, попятившись назад, замахнулась косой.

— Уйдите, иначе я вас ударю, — сказала она, покраснев от гнева.

— Назира, милая, ты что? Да я… Да я… — испугался Ырысбек, отступая.

— Я вам не «милая». И впредь не смейте подходить ко мне!

Увидев выражение ее лица, я насторожился, сжал рукоятку серпа. «Нет, дела взрослых — тоже наши дела, — подумал я обреченно. — Если он все же обидит сестру, придется мне выступить на защиту».

Единоборство со взрослым мужчиной ничего доброго не сулило, но Ырысбек, к моему облегчению, повернулся и ушел в свой шалаш. Оттуда тотчас же донеслась визгливая ругань Зибаш, потом женщина вскрикнула. Видимо, Ырысбек ударил ее.

Ко мне подошел Ажибек с чайником в руках. Это был знакомый мне чайник Ырысбека.

— Пойдем на родник, за водой, — сказал Ажибек.

Я сбегал в шалаш и вернулся с нашим чайником.

— А твоя сестра Назира молодец! — сказал Ажибек по дороге к роднику. — С Ырысбеком только так и надо. Стоит ему улыбнуться разок, и он тут же сядет тебе на шею.

— Тогда почему воду ему носишь? — спросил я с удивлением.

— Ты, Канат, ребенок еще. Ничего не понимаешь, — важно, по-взрослому, сказал Ажибек. — Ты думаешь, я для Ырысбека стараюсь? Как бы не так! Я ради Зибаш воду ношу! Жалко мне ее, Канат. Всю ночь эту плакала.

— Он побил ее?

— Зачем ее бить? — горестно усмехнулся Ажибек. — Она и так ему пятки готова лизать. К несчастью.

— А что же она тогда плачет?

— Ырысбека не было всю ночь.

— А где же он был?

— Откуда я знаю? Вон их сколько вокруг — и девушек, и вдов. К какой-нибудь и пошел.

— Зачем?

— А, что тебе объяснять. Ну и бестолковый же ты!

— Да я все уже понимаю, — соврал я. — Значит, Зибаш из-за этого плакала?

— До утра. Уж я ее успокаивал. Не плачь, говорю. Разве мало настоящих джигитов? Она и слышать не хочет. Ревет, и все. Ну, я и заснул. А утром мать твоя о камчой. Уж как стеганула! Во, погляди!

Он повернулся спиной, но через рубашку ничего не было видно, но я на всякий случай уважительно произнес:

— Ничего себе!

— То-то, — гордо сказал Ажибек. — Только ты своей маме скажи. Пусть она лучше со мной не задирается. Я же с ней не задираюсь? Я — человек гордый! Еще раз тронет, возьму спички, зажгу и в хлеб брошу! А потом пусть меня хоть сто раз судят, я не боюсь.

Когда мы, набрав воды, повернули назад, до нас донеслось пение Ырысбека и бренчание его домбры. На этот раз он пел из шалаша, в котором жили Гульсара и девушка-немка Эмма.

Нет другой такой, как Эмма!
Волосы как серебро, лобик белый!
А нежные щечки
Как яблочко спелое! —

заливался Ырысбек упоенно.

— Чтоп ти пропал, Ирисфек, ухоти отсюта! — возмущенно закричала Эмма.

Эмма, высокая светловолосая девушка с голубыми глазами, очень смешно говорила по-казахски. Зная это, она стеснялась и предпочитала больше молчать. А для Ажибека не было лучшей забавы, как раздразнить ее, вывести из себя и слушать, покатываясь от смеха, как она ругается, ужасно коверкая казахские слова. Но вот теперь она, забыв о произношении, кричала на Ырысбека:

— Фон отсюта! Уйти!

— Эммажан, ты прямо какая-то недотрога! К тебе кто в гости пришел? Герой войны! Разве он за это боролся? Легкое, понимаешь, отдал! — протестовал Ырысбек.

Он увидел нас, проходящих мимо, и высунулся из шалаша:

— Ажибек! Ты куда воду несешь, болван? Разве не видишь, где я?

— Надо же, увидел, — прошептал Ажибек с досадой и громко ответил: — Сейчас принесу! — и, повернувшись спиной к шалашу, тайком плюнул в чайник, но ему и этого показалось мало, он предложил плюнуть мне: — Не стесняйся, Канат. Пусть он выпьет эту воду, влюбится в Эмму, она в него! И Зибаш останется одна!

То ли подействовало его заклинание, то ли что-нибудь другое, только этим же вечером Ырысбек перебрался в шалаш Эммы, а Гульсаре пришлось уйти к другим женщинам. Покинутая Зибаш распустила густые черные волосы, плакала и во весь голос проклинала разлучницу Эмму.

Вечером, как всегда, появилась мама и, узнав об этих перемещениях, очень рассердилась, пошла в шалаш к Ырысбеку. Она говорила тихо, но зато голос Ырысбека разносился, наверное, на всю степь.

— Дорогая женеше, я говорю правду, как на духу! — проникновенно разглагольствовал Ырысбек. — Я безумно люблю Эмму! И неужели я не заслужил права быть с той, кого люблю больше всего на свете? За что же я тогда кровь проливал? Легкое отдал!.. Ты спрашиваешь: а как же Дурия? А как Зибаш? Ну, конечно, я их тоже любил! Но ты же сама знаешь: Дурия не стала ждать меня. А Зибаш — грубая женщина, она мне не пара. И потом, как она могла? Муж ее пал на войне, она тут же пошла за другого! Я клянусь, женеше: моей истинной суженой будет одна только Эмма! «Чудо-волосы, личико белое!»

Мама вышла из шалаша растерянная, видно, не знала, то ли верить Ырысбеку, то ли нет. Но зато радости Ажибека не было предела. Весь следующий день он ходил, улыбаясь — рот до ушей. То и дело гримасничал, подмигивал мне. И работал на этот раз не ленясь, серп его сверкал, точно молния, в гуще хлебов.

— Ну как? Здорово получилось? — спросил он меня после обеда.

Ажибек считал новую любовь Ырысбека и Эммы целиком делом своих рук и требовал восхищения.

— А Зибаш? Разве тебе ее не жалко? — спросил я, в свою очередь.

— Поплачет, и пройдет. Подумаешь, кого потеряла. Не велика беда!

— Значит, теперь ты на ней обязательно женишься?

— Тьфу! Ну и дурак же ты! Мне еще ждать четыре года! Даже пять! Я же тебе объяснил, бестолковый!

— А вдруг она не будет ждать и выйдет за другого?

— Если у нее есть хоть немного ума, не выйдет. Ей теперь будто камнем дали по голове. Ну, а я с ней поговорю. Вот только успокоится, и поговорю.

— Канат, что там стоишь? Пора за работу! — окликнула меня сестра Назира, и я так и не узнал, что именно он собирался сказать Зибаш.

Этой ночью мы ночевали без мамы. Вечером вместо нее появился учетчик Бектай, он пришел измерять скошенную площадь.

— Вашу маму вызвали в район, — сказал он нам, когда сестра Назира спросила, что случилось.

Дня два от мамы не было никаких известий, она вернулась на третий. В то утро пошел сильный затяжной дождь. По небу ползли низкие разбухшие от влаги тучи, черные, словно остатки ночной тьмы. Их гнал холодный, пронизывающий ветер, дувший с вершин Джунгара. А там выпал снег, и было солнечно и белым-бело, и сверкающая белизна слепила глаза. Но оттого, что так хорошо там, наверху, нам не было здесь, внизу, легче.

— Ах, постояло бы солнышко еще день-другой, и мы бы закончили уборку, — посетовала сестра Назира, сидя со мной в шалаше, кутаясь в одеяло.

В шалашах было тихо. Коль так уж произошло, люди отсыпались, наверстывая упущенное. Временами кто-нибудь выскакивал наружу и бежал под дождем к пшенице и, собрав для еды колосья, мчался назад. Над землей придавленно ползали запахи костра и жареных зерен.

И лишь в шалаше Ырысбека было шумно и весело. Оттуда по всему нашему маленькому лагерю разносилось пение, мелодия краковяка и смех Эммы.

— Не нато! Это ше стытно! — вскрикивала новая подруга Ырысбека и тут же звонко хохотала.

Так длилось час-другой, и вдруг Ырысбек во всю мочь гаркнул:

— Довольно! Хватит!

Голоса в других шалашах умолкли, словно всем говорившим разом заткнули рот. Вокруг стало тихо-тихо, только раздавался крик Ырысбека:

— Над чем смеешься, дура? Уйди, и чтобы глаза мои тебя больше не видели!

Мы услышали плач Эммы, по мокрой траве прошуршали ее шаги, а крик Ырысбека перешел в стенания:

— О жизнь моя, что стало с тобой? Где ты, цветущее лето? — жаловался он стихами. — Где ты, любимая моя, та, что смеется от души, как дитя? Где ты, веселье мое? Нет вас, вы прошли, точно сон! Так почему я сижу? Что жду? Почему до сих пор не принял яда?.. Ах, чинара моя, ты отдана другому, а я горю жарким огнем, страдаю я! Дурия! Дурия! — И он громко зарыдал.

Люди повылезали под дождь, окружили шалаш Ырысбека, не зная, что делать.

— У него не поймешь: когда он валяет дурака, а когда всерьез, — пожаловался кто-то из взрослых.

И вдруг всех растолкала Дурия, пробилась к входу в шалаш. Глаза ее покраснели, веки распухли, по щекам, мешаясь с дождем, бежали слезы. Она бросилась в шалаш к Ырысбеку, и они начали целовать друг друга и шептать нежные слова, будто не виделись целый век… Взрослые смущенно разошлись, снова попрятались в своих убежищах.

— Он и сам не знает, что хочет, — сердито сказала сестра Назира и, спохватившись, взяла меня за руку. — Идем! Тебе здесь нечего делать!

У входа в свой шалаш, прямо на мокрой траве, сидел глухой Колбай и смотрел вдаль, туда, где скрывались горы. На лице его не было ни злости, ни боли. Одна отрешенность, словно он находился сейчас где-то далеко один одинешенек.

А к вечеру объявилась наша мама, пришла пешком, усталая, промокшая до нитки. Вернувшись из района, забежала на минуту домой и сразу к нам.

— Вся испереживалась из-за вас. Хоть нервы завязывай узлом. Особенно из-за тебя, Назира. Ырысбек совсем шалым стал, — говорила мама, снимая сапоги, тяжелые от налипшей грязи.

— Ну, меня-то не так просто обидеть. Разок двину косой — на всю жизнь отобью охоту, — отвечала моя старшая сестра. — Ну, а вам что сказали в районе?

Мама приблизилась к сестре Назире и начала рассказывать шепотом. Мне не все было ясно в ее рассказе. Но основное я понял: маму сняли с должности, объявив строгий выговор.

— Канат, ступай к Ырысбеку. Скажи: пусть придет, — сказала мама.

Я сбегал за Ырысбеком. Он влез, пригнувшись, в шалаш, сел у входа и почтительно спросил:

— Что скажете, женеше?

— Отправляйся в аул, тебя ждет председатель.

— А что ему от меня нужно? — насторожился Ырысбек.

— Мне он не говорил.

— Ну, раз я ему нужен, пусть сам ко мне и придет.

— Ырысбек, дорогой, он сказал, чтобы ты сегодня же пришел, — сказала мама устало.

— Нет, в такую погоду я никуда не пойду! — упрямо сказал Ырысбек.

— Дело срочное. Он так сказал.

— Ага, он все же что-то говорил? Скажите, и я, может, пойду.

— Это только мое предположение. Судя по тому, что говорил уполномоченный Нугману, тебя прочат в бригадиры.

Ырысбек озадаченно присвистнул.

— Нет, женеше, что угодно, а на это я не согласен. У меня на шее свои заботы висят.

— Дурия, Зибаш и Эмма, — перечислила сестра Назира с усмешкой.

— Ай, красавица, разве человек виноват, если у него такое большое сердце? Он ищет ту, единственную, и не может найти. Это беда, а не вина. Кто знает, может и тебя кто-нибудь ищет, такой же бедняга: когда он придет, ты его не гони, — сказал Ырысбек, глядя прямо в глаза сестре Назире и на что-то скрытно намекая.

— Ладно, Ырысбек, оставь нас. Назира знает, что делать, — сказала мама, сердясь.

— Иду, женеше, иду. Это же надо: Ырысбек — бригадир. Ну и смех, ха-ха! — И он вышел, хохоча во все горло.

Я вылез следом за ним. Ырысбек остановился возле таланта глухого Колбая и громко сказал:

— Колеке! Ты все сердишься? Ругаешь меня? Зачем? Какой от этого прок? Неужели мы будем ссориться из-за одной никчемной женщины? Колеке, ведь мы с тобой джигиты! Пойдем лучше ко мне да попьем вместе чаю! Мы вроде бы родственники с тобой! Выходи! Давай жить в мире! В конце концов у тебя есть твоя Апиш. А у меня и Апиш нет!

Я-то думал: ну, сейчас начнется потеха. Глухой Колбай выбрался из шалаша, точно поднятый медведь из берлоги, и, к моему великому разочарованию, поплелся за Ырысбеком, бормоча что-то под нос. Ырысбек обнял глухого за плечи, и они исчезли в бывшем шалаше Эммы.

А дождь продолжал моросить. По-прежнему было пасмурно, от первого снега, павшего на вершины, все так же несло пронзительным холодом. И мы искали тепло среди одеял и сухой травяной подстилки.

Когда хлеб Куренбела был все-таки скошен, нас вернули на занятия в школу. Там, на Куренбеле, я очень скучал по бабушке и нашим мальцам, а теперь видел их каждый день. Придешь с уроков, и вот они — дома. Теперь я скучал по маме и старшей сестре, — видно, на свете не бывает так, чтобы все складывалось без сучка и задоринки.

Назира возила на станцию хлеб, дорога туда и обратно, да сама разгрузка занимали четыре дня. Вернется сестра, переспит одну ночь дома и снова на станцию. Не чаще я видел и маму. После снятия с должности ее назначили сторожем. По ночам она охраняла ток вместе с глухим Колбаем. Отныне мы с ней как бы ходили по кругу, только каждый по противоположной его стороне. Придет мама утром домой, а я уже отправился в школу. Потом я в дом, а мама, чуточку отдохнув, уже на току, помогает веять зерно.

А бригадиром вместо нее, после того как наотрез отказался Ырысбек, снова стал старик Байдалы. Видно, не зря говорили в старину: «Страшен тот враг, который приходит на твою землю во второй раз». Теперь от старика Байдалы не было спасу. Он подражал уполномоченному из района, употребляя его выражения, и даже перещеголял его, придираясь к людям по разным мелочам.

Он сшил себе лисью шапку, отделал верх синим сукном и ездил по аулу на гнедом скакуне, важно отвалившись набок и положив за

губу щепоть табака-насыбая. Жевал, высматривал нерадивых.

— Вы здесь, в тылу! Вам бы только набить живот! — кричал он то и дело и косился при этом на уполномоченного из района.

Совсем не желая того, он как бы передразнивал товарища Алтаева. Тот краснел и поспешно говорил:

— Байеке, пусть люди пообедают.

Ажибек, изрядно насолив в свое время новому бригадиру, старался не попадаться ему на глаза. Перед нами он хорохорился, кричал, что возьмет у Ырысбека ружье и покажет себя старику Байдалы. Но стоило появиться тому на своем скакуне в дальнем конце улицы, как Ажибек улепетывал во весь дух, не закончив начатой фразы.

Но он и без того потускнел в наших глазах. Произошло это еще на Куренбеле, когда его побила Зибаш. Как-то перед вечером Ажибек подошел к этой молодухе и сказал: «Брось! Не расстраивайся. Подожди, вот я вырасту и сам на тебе женюсь». Зибаш, ходившая до этого с видом утопленницы, пришла в жуткую ярость и, подобрав толстый прут, кинулась на Ажибека. Мы думали, что он убежит от Зибаш. Но та оказалась очень прыткой на ногу, легко настигла Ажибека и вытянула его прутом вдоль спины. Ажибек метался между шалашами, а Зибаш стегала его, зло плача и приговаривая: «Мне только такого жениха не хватало!.. И этот щенок смеется надо мной!» «Я не смеюсь, я серьезно!» — отвечал Ажибек, втягивая голову в плечи, пытаясь увернуться от очередного удара. «Ах, ты еще серьезно, сопляк!» Слезы удвоенным потоком брызнули из ее глаз, и новые удары посыпались на спину Ажибека. Ну разве будешь после этого уважать мужчину, которого на виду у всех взяла до побила слабая женщина? Сам Ажибек пытался выдать это позорное событие за геройский поступок со своей стороны. «Эх, ничего вы не понимаете! — говорил он нам. — Это же я за любовь страдал! Неужели вы думаете всерьез, что я, если б захотел, не справился с этой женщиной? Ну, в крайнем случае, не удрал?»

Иногда после уроков мы целой толпой шли к Ырысбеку. Его авторитет тоже привял в наших глазах. Многие взрослые называли его человеком, который думает только о себе. И мы находили справедливыми эти слова. Но все же что-то тянуло нас в дом Ырысбека. Теперь наш бывший главнокомандующий жил один. Работу

в колхозе он снова забросил и целыми днями сидел дома, рисовал портреты людей по карточкам из паспорта. Старики и старухи шли к нему с фотографиями погибших сыновей, и он рисовал по фотографиям портреты. Потом раскрашивал цветными карандашами.

И получался большой, похожий портрет человека, которого уже не было в живых. За это ему приносили самую вкусную еду. И Ырысбек всегда был сыт и весел, мурлыкал песенки под нос, водя карандашом по бумаге.

Временами он посылал кого-нибудь из нас с запиской к Зибаш или к Эмме. И когда одна из них приходила убирать его дом, Ырысбек снова брал в руки запылившуюся домбру и нежно пел:

Ай, милая Зибаш,
Мужа верного уважь!..

Это означало, что на день-два в его доме снова обосновалась Зибаш. Но вот из окон разносились другие, не менее ласковые слова:

Не родится, как Эмма, такая
Голубоглазая и золотая…

И в дом Ырысбека перебиралась Эмма.

Кто-то, возвращаясь из соседнего колхоза, видел в окрестностях нашего аула черную суку Караканшык.

Мне не хочется верить бабушкиным словам, а бабушка твердила одно и то же, заливаясь слезами: «Чувствовала твоя мама, что умрет в этот день… Ох, чувствовала Багилаш, что ее ждет…» Когда я вспоминаю маму в тот день, каждое ее слово, каждый жест, то еще более убеждаюсь в том, что бабушка ошибается. Не могла мама так себя вести, чувствуя, что где-то за углом ее караулит смерть. Не тот у нее был характер. Уж она бы не ждала своего часа так покорно, словно овца. Нет, бабушке только кажется… Вот и сестра Назира говорит, закрыв руками лицо: «Бабушка, бабушка, ты и тут за свое».

Да и день этот пролетел обычно, ничем не отличаясь от других. Когда мама вернулась с дежурства, я, как всегда, уже сидел на первом уроке в школе и слушал, что говорит Мукан-ага. Вместо того чтобы лечь в постель, мама занялась хозяйством: развесила на улице одеяла и подушки, выбила кошму и побелила в доме стены. Если в этом и было какое-то отступление от правил, то и оно не имело никакого отношения к смерти. До Ноябрьских праздников оставались три дня, и мама давно собиралась прибраться в доме. «Свет мой, зачем ты это затеяла? Ты еле-еле стоишь на ногах», — сказала бабушка. А мама так и ответила: «Нельзя же праздник встречать в неприбранном доме».

После этого она вытащила из глубин сундука свою и отцовскую праздничную одежду и развесила на протянутом под солнцем аркане.

— Я помогала ей как могла, — рассказывала бабушка, тяжело вздыхая, вытирая глаза уголком кимешека[21]. — Вынесла я одежду, обратно вхожу, а Багилаш, царство ей небесное, набросила на себя шаль-букле и, не зная, что я смотрю, вертится и так и сяк перед зеркалом. Да простит меня бог, любила она пококетничать. Что было, то было. Ничего, создатель милостью своей ее не оставит… А шаль эта непростая была у нас. Ты, Назираш, и ты, Канат, небось ее и не видели. Я из-за этой шали их однажды в дом не пустила. Ее, да будет ей земля пухом, и вашего отца, моего дорогого сына Иксана. Они еще в первый год после женитьбы поехали в город, на базар, и там Иксан купил ей эту шаль. Приехали, и невестка говорит: «Вот, мама, обновка, — и крутится-красуется передо мной. А туго у нас было с деньгами, ну я и вспылила. «Ах, думаю, ты еще хвастаешь». Не стала, как говорится, «удерживать себя в своей шкуре» — вылезла, закричала: «Ах, окаянные!» — и, схватив палку, которой выбивала кошму, бросилась на Багилу. А в те времена было не так: невестка боялась даже и взглянуть свекрови в лицо. Ну и убежала она. А мой Иксан, ваш отец, вступился было за Багилу, что-то буркнул. Ну я и его палкой! «Ах, женолюб! Чтоб ты провалился!..» В общем, он тоже убежал, словно от целого роя оводов. Два дня они не казали носа, ночевали в доме Нурсулу… а не обиделись на меня, мои дорогие, два моих сердца! На третий день пришли, стоят передо мной, улыбаются. А во мне какой-то черт сидит, не могу успокоиться. Ударила их палкой по разу, — а в те годы ну и сила была в моих руках! — а они виду не подают, что больно, стоят себе все с той же улыбкой, чистой, как у

детей. Ну, из меня вся злость и вышла. И все равно она с тех пор при мне ни разу шаль не надела. Вынесет на улицу тайком и только там на голову и накинет. Уважала меня, моя птичка!.. Нет ни его, ни ее… осталась я, как высохший корень… Вот я и говорю: чуяла она свою смерть, потому и покрыла шалью себя, прихорашивалась напоследок, солнышко мое… А увидела, что я смотрю, смутилась, покраснела, как девочка. «Мама, мне эта шаль теперь ни к чему. Может, отдать ее Назираш? Как вы думаете, мама?» — «Поступай как знаешь, родная», — говорю. А самой неловко, будто нарочно подсматривала… Царство ей небесное, что ни говорите, а чуяла она…

И все же в тот день я увидел ее. С тех пор как мы вернулись с Куренбела, шел дважды снег, вода в арыках и ямах покрылась корочкой льда. Вначале лед держался только по утрам, хрустел, как стекло под нашими ногами — «хруст-хруст». И таял к обеду. Однако с каждым днем он держался все дольше и дольше, становился прочней, звенел под подошвами «дзинь-дзинь», когда мы скользили по нему. Но на этот раз лед лопнул подо мной, и я, идя домой из школы, очутился по пояс в яме с мутной водой. Ребята хохотали, хлопали себя по бедрам. Я выбрался из ямы и побежал домой мокрый, хоть выжимай. Моя новая телогрейка и ватные штаны, казалось, вобрали в себя половину воды, той, что была в яме.

Я надеялся, что мама уже ушла на ток и все обойдется, и потому, увидев ее в дверях нашего дома, разревелся от неожиданности и страха. Но мама на этот раз не стала ругаться, а поспешно стянула с меня мокрую одежду и вскоре я походил на капустный кочан, засунутый в сухой теплый пиджачок, перешитый из отцовского пиджака, завернутый в черное отцовское пальто с воротником из мерлушки. Я быстро отогрелся, и особенно от того, что это были отцовские вещи, как бы частица его самого; как бы он сам, уйдя из жизни, все же оставил мне тепло своего тела. А может, он вовсе и не ушел? Может, черная бумага врет и он жив, и по-прежнему воюет на фронте? Мне хотелось спросить об этом у мамы, но я побоялся. Спрашивать об отце — все равно что царапать еще не зажившую рану.

— Как прошли сегодня уроки? И вообще как ты учишься в школе? Видишь ли, у меня совсем нет времени следить за тобой, — виновато сказала мама.

— Да и не надо. Я учусь… ничего, хорошо, — промямлил я, пряча глаза в воротник пальто, мысленно умоляя ее не расспрашивать поподробней.

А то ведь она дотошная у нас: «Сколько пятерок, сколько четверок?.. А тройки, а двойки?» И если уж начнет выпытывать, что да как, не миновать мне взбучки. Потому что, честно говоря, в классном журнале на моей строке стояли исключительно тройки… Но снова все обошлось.

— Учись, сынок, хорошо, — сказала мама, и только.

И начала собираться на ток, перевязывать свою поясницу. А уже уходя, бабушке сказала:

— Дай Канату ведро зерна. Пусть отнесет в дом Нурсулу. Мать и дети ее, поди, сидят голодные.

Она захлопнула за собой дверь, а раннем утром, еще до восхода солнца, по аулу проскакал глухой Колбай, вопя:

— О горе, люди! О горе!.. Потерял я Багилу!.. Нет больше Багилы! — и осадил коня перед нашей дверью, принес нам страшную весть.

Мы повыскакивали из постелей. Дом тут же наполнился людьми — набежали старики, и старухи, и дети. Поднялся шум и гам.

Позже глухой Колбай не раз рассказывал о смерти мамы. В этот поздний час дежурил он, Колбай, а мама прилегла подремать на мешках с пшеницей. Глухой не слышал ни скрипа колес, ни шороха шагов. Только вдруг из тьмы ни с того ни с сего появились подводы. Какие-то люди с повязками на лицах выбили из его рук ружье, повалили на промерзшую твердую землю, мигом связали по рукам и ногам и засунули в рот вонючую тряпку. Он лежал на боку и видел, как поднялась Багила и вскинула ружье, но ее тут же сбили с ног чем-то тяжелым. Избавившись от сторожей, бандиты принялись грузить зерно на подводы, и тогда Багила поднялась с земли и вцепилась в одного из грабителей. Ее били снова и снова, но каждый раз она снова, шатаясь, поднималась с земли, пока ее не свалили замертво. И, как уверяет Колбай, точно в этот момент из ночной черноты донеслось грозное рычание и на середину тока одним гигантским скачком вылетела огромная черная собака. Бандиты поспешно ударили лошадей и помчались прочь, захватив то, что успели бросить на подводы. А

собака стояла над телом Багилы и лаяла вслед ее убийцам. «Я сразу узнал ее, Караканшык, — говорил глухой Колбай. — Эх, подоспей она чуть пораньше!»

---

notes

Примечания

1

Баурсаки — кусочки теста, жаренные в масле или сале.

2

Сорпа — мясной бульон.

3

Чапан — национальная одежда казахов, похожая на халат.

4

Тундук — дымовое отверстие.

5

Байгус — бедняга.

6

Перестановка букв:
— Что будем делать?

7

— Не знаю.

8

Юрта старшего сына, отделившегося от отца.

9

Народная конная игра — козлодрание.

10

Искаженное «военком».

11

Персонажи из народного эпоса.

12

Персонаж из народного эпоса.

13

Отверстие в куполе юрты.

14

Искаженное «газет».

15

Так он произносил слова «коммунист» и «бригадир».

16

Тана — амулет.

17

Искаженное «германцев».

18

Женге — жена старшего брата.

19

Холодный суп, заправленный кислым молоком.

20

Казан — месяц октябрь.

21

Кимешек — головной убор для пожилых женщин.